

КОГДА БОГИ МОЛЧАТ

Михаил Соловьёв

МАЛАЯ ВОЙНА



Публикация
и комментарии
В.В. Агеносова

Ассоциация исследователей российского общества
(АИРО-XXI)

ПРОЕКТ Стивена КОЭНА и Катрины ванден ХЮВЕЛ



Серия АИРО — «Первая публикация»

Международный совет издательских программ и научных проектов АИРО

- Геннадий БОРДЮГОВ Руководитель
Андрей МАКАРОВ Генеральный директор
Сергей ЩЕРБИНА Арт-директор
- Карл АЙМЕРМАХЕР Рурский университет в Бохуме
Петр АКУЛЬШИН Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина
Дмитрий АНДРЕЕВ МГУ имени М.В. Ломоносова
Дитрих БАЙРАУ Тюбингенский университет
Дьердь БЕБЕШИ Печский университет
- Владимир БЕРЕЛОВИЧ Высшая школа по социальным наукам, Париж
Бернд БОНВЕЧ Рурский университет в Бохуме
Харуки ВАДА Фонд японских историков
- Ирина ВАРСКАЯ-ЧЕЧЕЛЬ Интернет-журнал «Гёфтер»
Людмила ГАТАГОВА Институт российской истории РАН
Пол ГОБЛ Фонд Потомак
Габриэла ГОРЦКА Центр «Восток–Запад» Кассельского университета
Андреа ГРАЦИОЗИ Университет Неаполя
Никита ДЕДКОВ Центр развития информационного общества (РИО-Центр)
Роберт ДЭВИС Бирмингемский университет
Алан КАСАЕВ РИА «Новости»
Стивен КОЭН Принстонский, Нью-Йоркский университеты
- Андрей КУЗНЕЦОВ Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Джон МОРИСОН Лидский университет
Игорь НАРСКИЙ Южно-Уральский государственный университет
Норман НЕЙМАРК Стэнфордский университет
Дональд РЕЙЛИ Университет Северной Каролины на Чапел Хилл
Борис СОКОЛОВ Русский ПЕН-центр
Такеси ТОМИТА Сейкей университет, Токио
- Татьяна ФИЛИППОВА Институт востоковедения РАН и Институт российской истории
Марк ЮНГЕ Рурский университет в Бохуме

Михаил СОЛОВЬЕВ

КОГДА БОГИ МОЛЧАТ

МАЛАЯ ВОЙНА

(Записки советского военного корреспондента)

МОСКВА

2017

СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»
ОСНОВАНА В 1994 ГОДУ

СОЛОВЬЕВ Михаил.

Когда боги молчат. Малая война (Записки советского военного корреспондента). Публикация и комментарии В.В. Агеносова. – М.: АИРО-XX, 2017. – 336 с. – ISBN 978-591022378-7.

Михаил Соловьев (Голубовский; 1907–1979), по его собственным словам, писатель с «пестрой биографией», послужившей прообразом биографии героя романа «Когда боги молчат» Марка Сурова, «от детства потрясенного революцией человека». Как и автор, Суров в 12 лет вместе со старшими братьями воевал в Первой Конной. Учился в МГУ, и имел возможность наблюдать накал внутривластной борьбы, жертвой которой стала выведенная в романе Надежда Аллилуева. Работая на Дальнем Востоке, Марк Суров видел как энтузиазм молодых строителей Комсомольска-на-Амуре, так и бездушное к ним отношение. Бюрократизм руководителей, жестокость чекистов, лагеря ГУЛАГа вызвали первые сомнения молодого человека в оправданном высокими целями насилии.

Полноценное художественное воплощение этих перипетий составило первый том романа, предлагаемый читателю.

Вторая часть книги содержит личные воспоминания М.С. Соловьева-Голубовского о малоизвестной Финской войне.

Книга подготовлена к изданию и снабжена комментариями Заслуженного деятеля науки России, академика РАЕН, проф. ИМПЭ им. А.С. Грибоедова В.В. Агеносова.

Издание представляет интерес как для интересующихся историей читателей, так и для ценителей художественного слова: литературный талант автора несомненен.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Таинственный свидетель истории с «пятнистой биографией»	7
<i>В.В. Агеносов. О романе «Когда боги молчат»</i>	11

Михаил Соловьев

КОГДА БОГИ МОЛЧАТ

Часть первая

МЕЖЕВАНИЕ

I ПОСКРЕБЫШ (Краткое содержание)	27
II РЕВОЛЮЦИЯ	28
III НАДЛОМ	43
IV СЕРОШИНЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ	64
V ЗЕЛЕННЫЕ	87
VI ПЕРЕВАЛ	120

Часть вторая

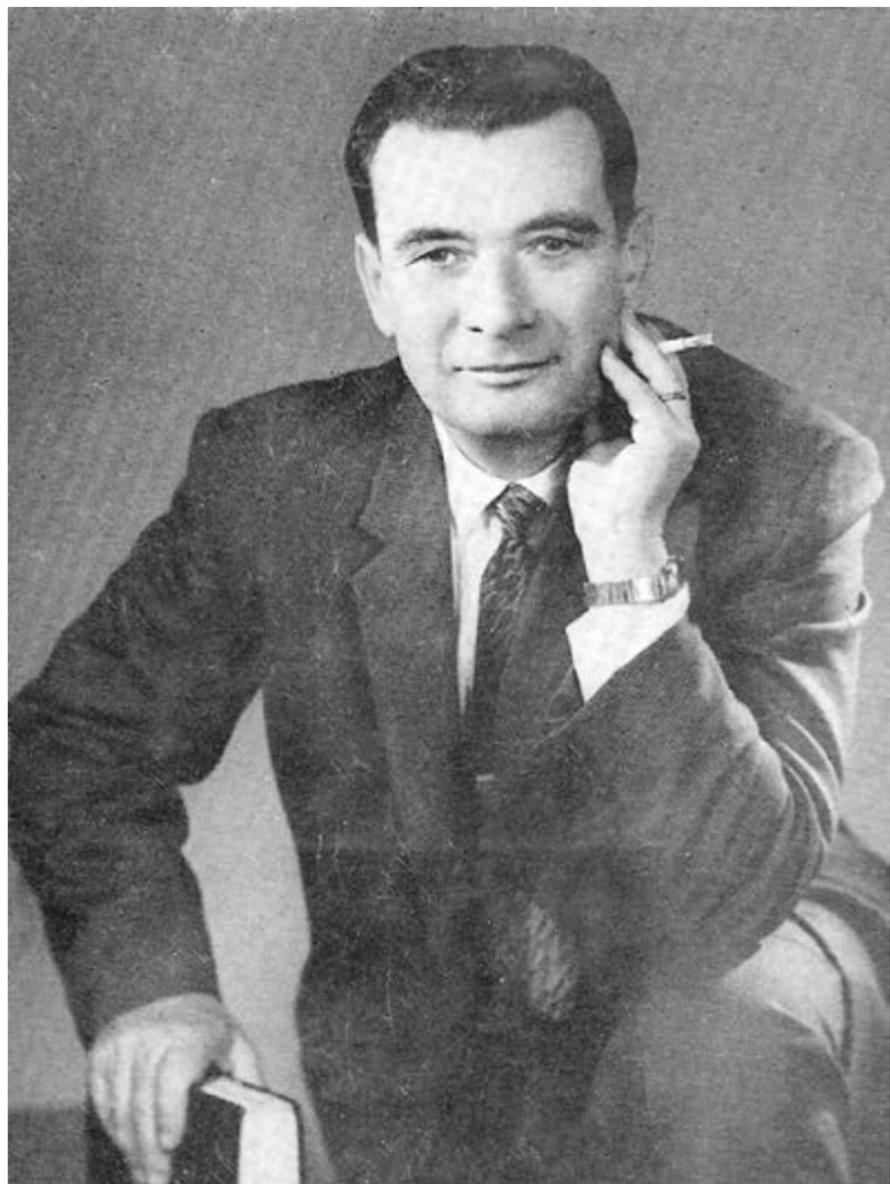
ВЫСОКАЯ НИЗЬ

VII ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ	124
VIII КОЛИБРИ ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ	154
Записки для памяти геолога Петра Сергеевича Новикова	210
IX ИСХОД	237
X ОДИНОЧЕСТВО	284

<i>В.В. Агеносов. О книге «Записки советского военного корреспондента»</i>	300
--	-----

Михаил Соловьев

МАЛАЯ ВОЙНА	302
Ухабы бытия	302
Финская война	303
У линии Маннергейма	311
В замороженном мире	316
Пермский полк	320
Жизнь и смерть Сергея Стогова	326



ПРЕДИСЛОВИЕ

Таинственный свидетель истории с «пятнистой биографией»

Имя Михаила Соловьева (Михаила Степановича Голубовского) до недавнего времени было неизвестно не только отечественному читателю, что вполне естественно (эмигрант, сотрудник американского радио), но даже и писателям послевоенной эмиграции. Ни в одном исследовании русской литературы этого периода не упоминаются ни его двухтомный роман «Когда боги молчат», переведенный на многие языки, ни вышедшие в нью-йоркском издательстве имени Чехова «Записки советского военного корреспондента». Третья и последняя книга писателя «Смеющийся Курос» («The Smiling Couros», 1965), существующая только в переводе на английский язык, таинственна, как и дальнейшая биография писателя.

Обладая, по его собственным словам, «пятнистой биографией», Соловьев тщательно запутывал будущих исследователей, давая самые разные, порой противоположные, сведения о себе.

Достоверно известно, что он родился 15 марта 1907 года в селе Петровском на Ставрополье в многодетной семье крестьянских революционеров. Отец погиб в Гражданскую войну. Из пяти его братьев четверо были героями Гражданской войны: старший брат Степан, убегая из белогвардейского плена, отморозил ноги; Василий был красным командармом, генерал-лейтенантом, в Великую Отечественную воевал под Москвой, дошел до Берлина. Иван выбрал карьеру профессионального военного и дослужился перед войной до подполковника. Григорий был убит в 1932 году кулаками. Михаил уже в 11 лет вместе с 13-летним братом Иваном вступает в сформированную в 1918 году 1-ю Ставропольскую рабоче-крестьянскую дивизию. В 1920-м воевал в составе Первой Конной.

Как участник Гражданской войны учился со стипендией имени Фрунзе сразу по двум специальностям (журналистика и история) в МГУ, после окончания которого отправился на Дальний

Восток. Если исходить из автобиографического романа «Когда боги молчат», то Михаил участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре. Известный исследователь послевоенной эмиграции И.Р. Петров считает, что пребывание Голубовского в Дальне-Восточном крае подтверждается двумя его книжками¹. Видимо, некоторое время будущий писатель работал в аппарате Верховного Совета. Затем перешел в «Известия» спортивным репортером. Официально это называлось «заведующий сектором физической культуры и культурных развлечений». В 1932–1936 годах он – военный корреспондент «Известий» и офицер Красной Армии. После процесса над редактором «Известий» Н.И. Бухариным был в числе многих сотрудников газеты выслан из Москвы. Однако вскоре его вернули в число армейских корреспондентов. Участвовал в Финской войне.

В начале Великой Отечественной войны был старшим лейтенантом, командиром казачьего разведывательного эскадрона в корпусе Доватора. В сентябре (или октябре) 1941 года оказался в плену в лагере военнопленных под Яропольцем. По его словам, из лагеря военнопленных его выкупили в ноябре 1941 года serдобольные русские женщины.

А уже весной 1942-го Голубовский стал редактором бобруйской газеты «Новый путь». Печатался под псевдонимом Бобров.

Вопрос об участии будущего писателя в РОА весьма запутан. Сам он в письме 1950 года старшей политической деятельнице Е.Д. Кусковой пишет, что не грешен. Что по его требованию ИРО² изучила картотеку власовского движения, и там его имени нет³. Вместе с тем из романа известно, что он встречался с Власовым. Однако, Голубовский, видимо, понял, что сотрудничество Власова с немцами дискредитирует идею освободительного движения и попытался создать некую иную структуру, органом ко-

¹ Козловский Ю., Голубовский М., Петухов П. Работа сельских советов Дальне-Восточного края. – М.: Сов. строит-во, 1932.

Голубовский М. Десять лет проведения ленинской национальной политики в Дальне-Восточном крае. – М.: Сов. строит-во, 1933.

² ИРО – Международная организация по делам беженцев (англ. International Refugee Organization IRO) была учреждена ООН 20 апреля 1946 г. для оказания помощи беженцам, появившимся в результате Второй мировой войны.

³ Опубликовано И.Р. Петровым. <http://labas.livejournal.com/1051170.html>

торой была редактируемая им независимая от власовского движения газета «Руль» (Минск). По сведениям И.Р. Петрова, в мае 1945 года Бобров был арестован американцами вместе с 12 другими чинами РОА.

Конец войны встретил в Австрии в лагере Парш под Зальцбургом, где издавал журнал «Огни» и редактировал газету «Почта Колумба»⁴. За 1946–1949 годы было выпущено (по данным указателя В.М. Шатова) 798 номеров. В Зальцбурге же издал книгу «Сонник» не очень высокого качества.

Позднее переехал в США, жил в Александрии (штат Вирджиния), где вместе в приемным сыном держал переводческое бюро.

В 50-е годы занимался активной общественной деятельностью: входил в руководство леводемократического Союза борьбы за свободу России (отвечал за издательскую деятельность), в Совет Освобождения Народов России, Совет Союза Андреевского флага. За десятилетие 1954–1963 опубликовал роман «Когда боги молчат», «Записки советского военного корреспондента».

В 1965 году выходит необычный мистический роман М. Соловьева «The Smiling Kouros». В пяти главах («визитах») незнакомец рассказывает историю необычной любви как героев романа, так и статуи юноши Куроса, ищущего свою Кору. Несмотря на то, что действие происходит в современной Греции, основные персонажи носят античные имена: Пенелопа, ее подруги Титина и Тотула, сестра Пенелопы – Анна. Роман был написан на русском языке, но русский текст не сохранился. Имеется только английский перевод Г. Стивенса (H.C. Stevens).

Что делал М. Соловьев последующие 16 лет покрыто тайной. Умер он в апреле 1979 года. Более точная дата неизвестна. Похоронен Вашингтоне.

Сочинения

Записки советского военного корреспондента. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.

My Nine Lives in the Red Army. – Нью-Йорк: David McKay Co. Inc, 1955.

⁴ Сведения о ди-пийском периоде жизни М. Соловьева предоставлены мне Р.В. Полчаниновым.

Когда боги молчат. – Нью-Йорк, 1963.
The Smiling Couros. – Б. м., 1965.

Публикации

Генеральский инкубатор. *Возрождение*, Париж, 1953, № 27.

Если завтра война... *Возрождение*, 1950, № 12. (Под псевдонимом Марк Бобров).

Зряшное письмо. *Возрождение*, 1951, № 13. (Под псевдонимом Марк Бобров).

Из советской литературы. *Возрождение*, 1952, № 22. (Под псевдонимом Марк Бобров).

Предлагаемое издание включает в себя первый том романа «Когда боги молчат» с небольшими купюрами, замененными набранным курсивом кратким содержанием опущенных глав, и главу из «Записок советского военного корреспондента» о Финской войне.

Каждой части предшествует краткая характеристика полного содержания романа и «Записок».

Составитель выражает глубокую благодарность руководителям программы АИРО-XXI «Первая публикация» Г.А. Бордюгову, А.Г. Макарову и С.П. Щербине, увидевшим историческую и литературную ценность сочинений М. Соловьева и принявшим решение об издании этой книги. Искренняя признательность помогавшим мне материалами и поисками сведений Д. Голубовской (Германия), профессору-историку Р.В. Полчанинову, поэтессе Е.А. Димер и ее зятю проф. Джо Кинири (США), научному сотруднику РГБ М.Е. Бабичевой; профессору Уральского федерального университета А.В. Антошину; литературоведам и историкам русской эмиграции А.Н. Кравцову (Австралия) и И.Р. Петрову (Германия). Особая благодарность художнику и поэту В.Д. Руденко, оформившему обложку книги, и моему другу историку В.И. Кузьмичеву за техническое содействие в подготовке книги.

В.В. Агеносов

В.В. Агеносов

О РОМАНЕ «КОГДА БОГИ МОЛЧАТ»

Создав эпическую картину жизни большой семьи Суровых, «людей хлебоборбческой природы, но не хлебоборов», Тимофея, его жены тетки Веры и их 19 детей, Соловьев ставит в центр повествования самого младшего «поскребыша» Марка. Ему к началу революции и Гражданской войны всего 11 или 12 лет. Это позволит писателю, как он сам скажет, «посмотреть, что выйдет из этого, от детства потрясенного человека, и куда он дальше пойдет». «Поглядеть, что выйдет из человека в новую почву, в революцию, корнями вросшего, ничего, даже воспоминаний, за революционными пределами не имеющего, и бедой, трудом, ударами закаленного, и нормального родительского водительства лишеного, и совсем в одиночестве среди людей войны оказавшегося».

Каждый этап жизни Марка связан с той или иной исторической вехой жизни России. Писатель воссоздает сложную и противоречивую эпоху в конкретном ее воплощении.

И поскольку книга, предлагаемая читателю, выходит в издательстве Ассоциации исследователей истории России, то обратимся, в первую очередь, именно к историческим событиям, свидетелем и участником которых стал Марк Суров.

Старшее поколение нашей страны, возможно, помнит формулировку учебника по истории СССР о «триумфальном шествии советской власти» по России. Сегодня горячие головы, напротив, утверждают, что Россия не нуждалась в революции, этом, якобы, инородном для русского народа событии. Роман М. Соловьева опровергает обе эти точки зрения. Достаточно зажиточное южное хлебоборбское село после Первой мировой войны, в которой по-

гибли трое детей Суровых и множество их односельчан, совсем не хочет продолжения старой власти. Революцию хлеборобы воспринимают как начало новой справедливой жизни. В романе с легким юмором показан мирный процесс перехода власти к Совету. «Никто, – говорит писатель, – за власть не борется, никто не сопротивляется, даже передел земли прошел без особых споров и потрясений... То было время, когда люди... мечтой жили, полностью революционному слову верили и думали, что мир великой правды перед ними открывается».

Но силы столь любимого некоторыми современными публицистами самодержавия не могли смириться с новым порядком. И очень скоро персонажи романа, в том числе и семья Суровых, столкнулись с жестокостью защитников старого порядка. Только в «Тихом Доне» и много позднее в «Докторе Живаго» можно найти такую диалектичную оценку Гражданской войны, какую дает М. Соловьев:

«Междоусобное побоище – болезнь заразная: заболеешь, скоро не вылечишься. Казалось попервоначалу, что недоброе братоубийственное дело долго твориться не может, опамытуются люди, ведь братья же, христиане православные, и делить им вроде нечего. Но дальше в лес – больше дров. Дни тяжелые, словно лопасти каменного молотильного катка, катились, и всё меньше оставалось у людей надежды, что кончится взаимное истребление и брат брату руку подаст. Что-то темное и страшное, от людей может вовсе независимое, тем недобрый дням свой жестокий облик давало, и люди не имели силы темному и страшному препону воздвигнуть».

И он же словами командира зеленых Павла Хлопова объясняет, почему в этой жестокой междоусобице участвовали те, кто еще недавно был горячим сторонником перемен: «Приехал в хутор таким апостолом, что хоть сразу на кресте за коммунистическую веру распинай. А потом стал примечать: новая власть большую нелюбовь к народу имеет, жалости в ней нет».

Стоило красным проявить эту жалость, объявить амнистию борцам с незаконными действиями большевиков – и отряд зеленых складывает оружие и возвращается к мирному труду. Другое дело, что, как выяснится в конце первой книги романа, не надолго хватило у власти имущих гуманизма: при сопротивлении кре-

стьян созданию колхозов вспомнили об амнистированных зеленых и погнали их в Сибирь.

Уже во втором томе романа автор устами одного из персонажей выскажет только сегодня пришедшую в нашу оценку Гражданской войны мысль о том, что понимали ее упрощенно – «на одной стороне трудовой народ, отменяющий неправду и зло старого, а на другой – защитники старого, эксплуататоры, буржуи и прочее в этом роде. Так ли это? Отвечает ли это правде? Это отвечает той простой и единой мерке победителей, которой мы хотели всё мерить, но правде отвечает? ...Отбросив нашу мерку, нам придется признать, что у белого движения была своя правда, и в свете дальнейшего не такая уж и худосочная. Оно было попыткой сдержать наш анархический, опасный бунт, который мог принести и принес России неисчислимые беды... В белом движении не люди голубой крови, а фронтовые солдаты и офицеры сражались, а мы о них – враги трудового народа! В нем было много такого, что способно украсить историю любого народа, а мы – нам не подходит, сгружай на свалку... Защитники мол привилегий. С таким упрощением можно, конечно, жить, даже удобно, но когда увидишь его нутро, становится противно... Победили те, которым наплевать, и установили они железную истину, что всякий, кто был, есть и будет против них – слуга дьявола и подлежит истреблению».

Вновь приведем цитату из романа: «На каком-то крутом повороте пути простая и добрая правда выпала из колесницы русской революции, и тогда, в этот несчастный момент, особые свойства и заслуги человека были отменены, и стал он как бы вовсе и не венцом творения, а пузырем на болоте, о котором люди жестокие еще и скажут, что вонюю тот болотный пузырь наполнен».

И вновь приходится вспомнить, что примерно в то же время, когда создавался роман Соловьева, Б. Пастернак писал о сначала восторженном приятии Юрием Андреевичем Живаго революции, а затем о том, как она быстро, ожесточилась, омертвела, и стала ненавистна его герою.

Значительный интерес представляют для современного читателя главы о московском периоде жизни Марка.

Автор показывает, как уже в первых дискуссиях «взбудораженного поколения взбаламученного времени» формируются страшные

принципы будущих лет, «азарт революционного разрушения... Новое поколение пробудили к жизни, привили разрушительные свойства революции, но созидательных идей не дали. Уничтожив прежние понятия о красоте человеческих отношений, новых не создали. Оставили человека голым на голой земле».

Казалось бы, давно забыт роман Пантелеймона Романова «Без черемухи» (в романе он назван «Без цветов»), но и сегодня актуально звучит вопрос о красоте человеческих отношений и противостоящем этой красоте безнравственном физиологическом удовлетворении желаний.

Казалось бы, кто сегодня помнит об обществе «Долой стыд» времен 20-х годов, пропагандирующем эксгибиционизм, шестые сторонники которого показано в романе. Но сегодня оно возродилось в демонстративном гомосексуализме и гей парадах.

Характерно, что М. Соловьев не только развитием сюжета разоблачил эти явления, но и прямо выразил мысль, что «всевозможные вывихи тех лет больше всего в словах выражение находили, а во всем более существенном молодежь оставалась хорошей и чистой, то это ведь потому, что русская натура всегда была здоровой».

Иное дело влияние на людей практики коммунистического строительства, предполагающей возможность человеческих жертв во имя будущего «Вера в цель, – рассуждает автор на страницах романа, – была шорами, надетыми на его [Марка] глаза; из-за них он [и не он один. – В.А.] только вперед видел, а то, что по сторонам проносится, что позади остается, как-бы вовсе и не замечал».

Несколько страниц романа, посвященных взаимоотношениям Сталина с женой и ее матерью, показывают, как был убежден в праве на жестокость во имя будущего вождем партии. Можно найти некоторые неточности в описании похорон Надежды Аллилуевой и посещения Сталиным ее могилы. (Впрочем, художественски эти не имевшее места визиты описаны с необычайной глубиной и психологической достоверностью.) Но несомненно, что автор романа сумел показать постепенное вырождение партии и искажение великих целей революции.

«Учение партии, – утверждает М. Соловьев, – хоть и приниженное новыми апостолами всевластия, еще жило, но оно уже теряло свое началополагающее значение: началом становилось не уче-

ние, а единодержавная воля. Жестокий прагматизм убивал последние остатки партийности... Вера умирала, фразеология крепла».

Это противопоставление поистине грандиозных планов и их бесчеловечного воплощения убедительно реализовано в сюжетах строительства города на Амуре, добычи необходимых стране угля и леса. Энтузиастов-комсомольцев, съехавшихся со всех уголков СССР на грандиозную стройку совершенно бессмысленно отправляют зимой в тайгу, где нет ни жилья, ни продовольствия и – главное – где до весны нельзя начинать строительство.

Вставной эпизод (записки геолога Петра Сергеевича Новикова) о том, как на добычу найденного им угля были брошены тысячи заключенных, помещенных в нечеловеческие условия, восставших и погибнувших вместе с охранявшими их конвоирами, дважды повторяется. В сценах заготовки леса принудительно отправленными на эту работу колхозниками и опять же заключенными; и в рассказе о восстания заключенных на прииске Холодном. Тем самым «осатанелость» показана не как единичное явление, а как закономерность.

Характерно, что герой романа Марк Суров, уже во многом начавший сомневаться, отказывается признать правду восставших в Холодном, бросает им обвинение в предательстве и угрожает расправой, хотя и видит страшные последствия насаждавшихся на прииске правил.

Будущее, показывает автор романа, всё еще было универсальным оправданием происходящего. Марк уверен: «Оно придет, и если не все их ошибки, срывы, падения оправдает, то всё-таки скажет, что достойны они милости и снисхождения так как, будучи несовершенными и слабыми, взяли на себя подвиг и положили начало векам новых свершений».

Но если Марку Сурову понадобится еще немало времени, чтобы во втором томе романа понять, что цель не оправдывает средства, то М. Соловьев пытается уже в первом томе найти истоки этого заблуждения: особенность русского характера, по мнению писателя, – «однолюбство, иступленная приверженность единоверию и легкость, с какой мы подавляем сомнения, не зная им подлинной цены. Сомнения мы часто принимаем за слабость, тогда как с них всё великое зачинается. Другой стороной нашего однолюбства является нетерпимость к инакомыслящим. Того, ко-

торый не согласен с нами, мы сразу к врагам причисляем, огнем и мечом истребляем, не понимая, не зная, не веря, что свобода не с единства, а с различий начинается, и если действительно о свободе болеть, то прежде своей, чужую свободу нужно уважить».

Значительны страницы, где показано, что лишь немногие понимают необходимость демократии, свободы мнений, пытаются противостоять догматическим требованиям. Так, наблюдая за беспартийным только что освобожденным из ГУЛАГа инженером Виноградовым, настойчиво, хотя и бесполезно, пытающимся опровергнуть приказ Сталина зимой отправить тысячи людей на Амур, Марк приходит к неутешительному выводу, что Виноградов среди членов бюро крайкома партии – «единственный, кто сам по себе, просто человек. Все другие – винты и винтики, объединенные в машину их чувством партийности, дисциплины, сознанием, что так должно быть. Все они были винтами и винтиками машины власти, и каждому винту и винтику положена нагрузка и функция, и каждый обречен на износ и замену.

А Виноградов сам по себе, сила в себе. “А наша сила в чем?”, – мысленно спросил себя Марк, и тут же ответил. В совместности. В партийности. Стадности. Влились в общее. А Виноградов не влился. Его воля вне совместности. В нем самом воля, и она его воля, а не общая».

Лишь немногим партийным работникам, героям романа, при-суща такая самостоятельность мышления (первому воспитателю Марка Пересветову, большевику-подпольщику секретарю крайкома Вавилову, остро понимающему ситуацию, но бессильному ее изменить Сеницыну), но их ждет трагическая судьба.

Итогом первого тома служит авторское начало тома второго: «Россия во тьме задыхалась; мутное солнце обреченности, под которым ей довелось жить, не светило и не грело – мертвое солнце. Просто немислимо придумать, какое зло до войны совершено еще не было и что не было сделано, чтобы русскую народную правду окончательно забить и в глубокое подполье загнать. Вовсе одинокой и беззащитной правда тогда осталась – ведь она в человеке живет, делами его движется, совестью его дышит, а если человек задавлен и страшно, самоубийственно молчит, и страшно, самоубийственно голосует, апробирует и аплодирует, то какая же он правде защита? Одним словом, перед войной тянулись годы,

когда Россия набухла горем, а годы эти предуготовили минуточку – войну.

Объем нашего издания не позволяет напечатать второй том романа. Поэтому ограничимся перечнем поднятых и освещенных писателем вопросов.

М. Соловьев рассказывает о том хаосе, который творился в первые дни войны, и одновременно показывает, как рядовые красноармейцы и их командиры в этой неразберихе совершали подвиги, как ценой многочисленных потерь совершался героический рейд в тыл врага. Не обходит писатель и вопрос о цене подвига. «Как при поражениях, так и при победах, русских солдат гибло больше, чем солдат противника, – подчеркивает автор романа. – О сохранении жизни воюющего человека те, что наверху, думать не хотели, что делает солдатский подвиг вдвойне святым».

Показана в книге и судьба попавших в плен советских солдат и офицеров. Лишь в наши дни стали известны страшные цифры потерь: за первые четыре месяца войны в плен по официальным данным попали 3,3 миллиона человек. Яркие конкретные описания существования в фашистских пересыльных лагерях прямо в поле писатель сопровождает страшным мартирологом: «Сколько людей в тех пересылках было – не считано, сколько в общих ямах-могилах погребено – неведомо, сколько беды лагерные люди хлебнули – не рассказано». Не менее драматично описаны и стационарные лагеря для пленных: «Душегубка, а то, что и в ней люди как-то выживали, нужно признать за одно из чудес войны и за свидетельство подвига, всё еще не описанного». Автор отдает дань уважения советским военным врачам и медицинским сестрам, спасшим тысячи узников, называя их великими подвижниками: «Они... боролись в голоде, в царстве вши, в мире великого отчаяния».

Сегодняшнему читателю все эти факты покажутся знакомыми. Он знает их из повестей Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (1963) и «Это мы, господи!» (опубликован в 1986); из романов В. Гроссмана «Жизнь и судьба» (опубликован в 1988) и В. Астафьева «Прокляты и убиты» (1995). Нелишне напомнить, что «Когда боги молчат» вышли в 1953.

Впервые расскажет автор романа о том, что ответной реакцией на безразличие советских властей к судьбам воинов стало нежелание чудом вышедших из окружений солдат, осевших

в примаках у сельских вдовушек, возвращаться в строй, идти в партизанские отряды.

Есть и еще один аспект войны, до сих пор лишь слегка получивший отображение и осмысление как в научной литературе, так и в художественной. Речь идет о жизни нашего народа в фашистском тылу, под фашистским игом¹.

«В войну... было много такого, о чем не говорится и, Бог весть, будет ли сказано... Много лет с войны прошло, а правде о тогдашней жизни людей, отданных врагу, до сих пор хода не дается», – говорит Соловьев в одном из авторских отступлений и пытается восстановить утаенную правду.

С первых страниц второго тома писатель утверждает, что «немецкая дорога с русскими дорогами совсем не смыкается». Вместе с тем миллионам людей, оказавшихся в оккупации, брошенных на произвол судьбы, нужно было жить. И в свете этого провозглашенная Сталиным тактика сожженной земли (не оставлять немцам заводов, полей, продовольственных складов) была антигуманной по отношению к своим людям. Страдали не столько немцы, сколько оставшееся без средств существования население.

Вначале Марка неприятно поражает, что идет война, «враг кругом шатается, а они [люди] словно от всего в стороне живут и ничего знать не хотят». Но со временем Марк понимает, что «немецкая оккупация растекается по поверхности земли, корней у нее нет. А кругом происходит подспудное, что невысказанно трудно выразить. Живая завязь возникает, житнетворение ничем и никогда не может быть остановлено. Государства воюют, а люди живут волей к житнетворению». Отлученные в колхозах от собственности крестьяне засеивают поля. Рабочие налаживают производство кастрюль, необходимых каждой хозяйке. «Мысль пришла – немец тут вовсе не самое важное. Немецкие войска, автомобили, танки, щеголевато одетые офицеры в высоких блестящих сапогах, немецкая речь – всё это постороннее, а за ним, за этим фасадом, живет совсем другое, и это другое – русские люди, русская земля, небо русское, жизнь русская».

Не менее сложной и неоднозначной оказывается и проблема сотрудничества с немцами. Дважды сталкивает писатель своего

¹ Впервые в советской литературе эта тема получила реалистическое освещение в романе Ю. Слепухина «Тьма в полдень» (1968).

героя со старостами в оккупированных районах. Знакомится Марк и с бургомистрами, и с полицейскими. И начинает понимать, что всех этих людей в предатели и немецкие наемники зачислять – «одна из хитрых неправд войны. Были такие, что людей бедой били, но и такие, что людей от беды защищали». Надо было налаживать жизнь под немцами, обеспечивать население питанием, заботиться о детях и сиротах, о стариках. Надо было кому-то жестко пресекать беспредел выпущенных немцами из тюрем уголовников. Часто жители, а то и партизаны, просили уважаемых и честных людей стать старостами и бургомистрами. Многие из них прятали евреев, помогали сбежавшим из немецких лагерей военнопленным.

И вновь скажем, что только через 17 лет после публикации романа Соловьева в повести В. Быкова «Сотников» встретится аналогичный сюжет.

Автор романа показывает и становление народного сопротивления немецкой оккупации. Другое дело, что перед любимыми персонажами писателя встает проблема, лишь много лет спустя получившая продолжение в «Жизни и судьбе» В Гроссмана: «Простая победа над иноземным врагом – мало для нашего народа... дали немцу пинка, выиграли войну, а дальше?» Герои романа, противостоящие врагу, хотят сказать вернувшейся советской власти: «милости просим. Но только давайте вместе землю в порядок приводить и старое рушить. Мы без вас тут кое-чему научились, давайте теперь вместе. Народ, если он вместе, всё может».

Так возникает сложнейшая и характерная для всей военной прозы второй эмиграции тема «между двух звезд», впервые поднятая в одноименном романе Л. Ржевского (1953), позже – в «Кудрявом дубе» (1958) Б. Ширяева.

«На святой Руси, – рассуждает оказавшийся в тылу врага бывший генерал Высоков, ставший командиром партизанского отряда, – в данный момент пришли в столкновение три силы. Иноземное нашествие – это одна сила. Против него стоит наш народ – это другая сила. Отражая иноземного захватчика, наш народ укрепляет то положение вещей, которое сложилось до войны и враждебно ему... Из этого положения вытекает, что есть еще одна сила, она не выражена, не организована, но она есть. Это сила подспудно живущей, уже давно живущей воли нашего народа к новому».

Так возникает в романе и чрезвычайно диалектично решается тема так называемого Русского Освободительного движения. Уже в наши дни историк К. Александров почти дословно повторил аргумент М. Соловьева о причинах невиданного ранее массового участия 120 тысяч человек в войне против своего государства: «Большевики истребили в России целые сословия, уничтожили Церковь и старую морально-религиозную основу воинской присяги, ввели новое крепостное право и принудительный труд в масштабах страны, развязали массовые репрессии и отказались, тем более, от собственных граждан, попавших в плен»².

Впервые художественно достоверно изображается драматическая судьба генерала Власова и его окружения. С одной стороны, писатель показывает искреннее раскаяние ранее успешного генерала в том, что он и его товарищи по партии творили с народом до войны. С другой стороны, постоянные уступки Власова немцам, нравственные компромиссы, на которые он сознательно идет, приводят, как показывает автор романа, Власова к моральной и физической деградации.

Автор романа пытается доказать, что хотя «борьба Власова ставила утопическую цель – свободную и сильную Россию без Сталина и его клики»³, сама попытка бросить вызов Сталину, независимо от того, достигла бы она успеха или нет, имела несомненное значение. Она показала, что Сталин не смог подавить в русском обществе волю к сопротивлению.

В романе художественно доказано, что заигрывание с фашистами не могло ничего принести России и ее народу. В целом ряде сцен автор показывает, что фашисты даже слышать не хотят о России как самостоятельном государстве. Особенно ярко нарисована сцена в кабинете Розенберга, кричащего: «Россия не страна! Не нация! Не народ! Историко-этнографическая случайность! Ненужная подробность мирового развития! Завоевание и покорение! Кровь и железо!...»

Беспощадно звучит авторская оценка Власова: «Они в Берлине говорили о возможности действовать, а люди в оккупированной России действовали».

² Russia XX, 2010, May 5th / <http://russia-xx.livejournal.com/85946.html>.

³ Там же.

Желание увидеть новую Россию без сталинской «осатанелости», показывает М. Соловьев, объединило вчерашних коммунистов, комсомольцев, репрессированных советской властью людей. Другое дело, что значимость Победы заслонила задачу исправления ошибок прошлого. Народ тогда не получил заслуженной свободы.

Так возникло подробно описанное в романе великое отступление тысяч советских людей на чужбину, в эмиграцию. «Когда прошлое, осужденное и отвергнутое народом, начало снова надвигаться с востока на штыках побеждающей русской армии, люди еще раз отвергли его и выбрали горькую долю беженства... Катились эшелоны с беженцами – на неведомый Запад, в чужие земли, на неведомую судьбу стремились люди. Страх перед новым народоистреблением витал повсюду, разрастался».

По мнению М. Соловьева, «гордость и бунт выражены в этом исходе с родины... не от немцев, а от своих».

«Нет ничего страшнее Бога умолкнувшего и оставившего человека», – говорил Марку мудрый дед Осип. «Но ведь это не Бог отступает, – полемизирует с ним в финале романа Марк, – а человек отступает от Него, убивая в себе порыв к добру, счастье ласкового отношения к жизни; отступает и тем создает эпохи молчащих богов».

Любимые персонажи автора романа, пройдя долгий и сложный путь исканий, заблуждений и открытий не допустили, чтобы боги оставили человека, прекратили его жизнетворчество. В твердом убеждении, что он не умрет, а растворится в будущем, уходит из жизни Марк Суров; погибли все его братья, кроме Корнея, прошедшего всю войну, увенчанного множеством орденов, но главное «частично восполнившего убыль в суровском роду: у Корнея росло три сына и дочь, да вдобавок, сироты Ивана, Борис и Наташа, крепко-накрепко в Корнееву семью и в сердце его заключены были».

До сих пор мы говорили об исторических событиях, охваченных авторским видением. Пора сказать и о мастерстве М. Соловьева.

Автор владеет умением, поставив в центр одного персонажа, построить многосюжетное повествование о судьбах всего рода Суровых.

Фольклорными образами наполнено описание главы рода Тимофея: «природа, отформовав тяжелое тело, избыток сил в бороде ему вогнала... Подстать бороде был и весь Тимофей. Глаза серые, усмешливые. Нос тупой из бородачи, словно птенец голый из гнезда, глядит. Плечи широченного прямого разворота. Ступал легко, размашисто, хоть людям и казалось – где он ногу в чоботе с широким голенищем поставил, земля там прогнулась, а если он, скажем, плечом шевелил, то кому-другому на ум падало, что толкни он тем плечом угол хаты, быть ей без угла».

Воплощением христианской любви является жена Тимофея тетка Вера. Это она уговаривает сына не мстить избившему ее белому офицеру, но она же с палкой бросается на высокопоставленного чекистского чиновника, сказавшего что ее сын обречен. Кочуя от одного сына к другому, тому, кому она нужнее, тетка Вера, как и они, вступит в борьбу с фашистами, и будет ими казнена.

Взрывчатым характером и необычайной смелостью наделил автор Корнея, в нескольких словах охарактеризует веселого гармониста и танцора Гришку, раскрасившего подаренные брату санки.

Соловьеву подвластны и характеры интеллигентов, для которых «жизнь оказалась сложнее, труднее, запутаннее, чем революционная теория»: Виктора Пересветова, Льва Бертского. Писатель рассказывает о них уважительно, ярко, иногда с юмором (красные штаны Бертского).

Сюжеты соловьевского романа увлекательны, динамичны и драматичны. Личная жизнь героев вписывается в те исторические рамки, о которых говорилось выше.

Несколько выпадает из реалистического сюжета романа линия Марка и любимой им девушки Кати, Колибри, как он ее называет. Почти детективная история работы Колибри на советскую разведку, ее похищения японским разведчиком дипломатом кажутся, по крайней мере на первый взгляд, надуманной. Но в философском и психологическом осмыслении пути Марка эта глава имеет очень большое значение. Колибри – воплощение идеи свободной жизни, предназначенности человека для счастья. Марк в период их любви мечется между проповедуемыми Колибри мыслями и оправданием жестокости и насилия во имя высокой цели. «Во имя счастья будущих людей? Но, Марк, уверен ли ты, что

будущие поколения людей примут от вас счастье, забрызганное кровью младенца?»

Марк находил ответ в самоосуждении:

«Много жестокого от нас самих, дорогая. Мы – рабы, алчущие свободы, но не знающие ее, боящиеся. Нет, младенец не должен быть убит. На нашем пути Смердяков. Мы устраним его».

Колибри: «Марк, не в вас ли самих Смердяков? Как устранить его, если он в вас?»

Марк: «Мы научимся свободе, ты увидишь, Колибри, мы научимся. Если не мы, то новое поколение. Оно уже идет».

Колибри была неумолима:

«Новое поколение? Но что оно примет от вас и что понесет дальше? Оно научится от вас понимать свободу, как подавление, передаст свое знание следующим поколениям, и новая цепь неволи протянется в века».

Марк: «Этого не будет! Я верю».

Колибри: «Ты лжешь, Марк! Самому себе лжешь! Ты уже сомневаешься. Что ты делаешь сейчас? Хочешь ослабить удар по людям? Зачем? Прими это, как нужное, неизбежное. Закрой твои уши, чтобы не слышать плача детей и жалоб людей. Стань твердым, тогда ты будешь настоящим большевиком».

Марк: «Я и есть большевик. Мы не можем исключать из социалистического строительства полмиллиона людей. Они нужны нашему делу».

Не случайно на протяжении всего романа, даже когда Колибри ушла из реальной жизни Марка, он ведет с ней мысленный диалог, всё чаще поверяет свои поступки словами Колибри.

Немалая роль в этом споре принадлежит вставной новелле «Записки для памяти геолога Петра Сергеевича Новикова».

Безусловное мастерство Соловьева-художника проявляется в пейзажах, помогающих осмыслить происходящее. По контрасту: идет Гражданская война, льется кровь, а «Вокруг него [Марка. – В.А.] степь лежала, степь без конца и края, до самого соединения с небом. В ней всё так спокойно, так непоколебимо, что с непривычки страшно становилось». По сходству – Марк едет в «неведомое», где его ждут испытания: «Осенний ветер гулял по степи, с лихим посвистом налетал на города и села, выл дурным голосом в тесных улицах, а там, смотришь, уносился ввысь и без-

образничал среди туч – гнал их по небу, сбивал в кучу, а то вдруг начинал разгонять, рвать на шматки. Надоедало ему в вышине забавляться, опять падал на землю и был в трубах домов, гудел над рощами и селениями, на что-то жаловался, кому-то грозил».

Не менее выразительны авторские оценки. Выше уже приводились логические рассуждения писателя. Вот еще одно, полемизирующее с оценкой большевиков в «Балладе о гвоздях» Н. Тихонова («гвозди бы делать из этих людей»): «Настоящий, однако, человек, даже после больших вбиваний в жизнь, всё-таки не мертвый гвоздь; он живой душой поверх своего места глядит и хочет знать – верно ли, в ряд ли с правдой и с мечтой жизнь его поставила? И пока это так, пока человек правду чувствует и мечте не чужд, только по крепости он гвоздью подобен; ну, а если того нет, мечты то есть и правды, тогда, конечно, и человека нет, а имеется человекогвоздь, которому всё равно куда его вбивают – в очередное переписывание истории или, скажем, в живые и кровоточащие души людские».

Но немало в романе и лирических авторских отступлений. Таких: «Ах, какая непотревоженная тишина бывает в зимнюю хабаровскую ночь! Идет человек и чувствует – вокруг она. Холодная, колючая, искристая и такая плотная, что ее грудью нужно проламывать». Или таких: «Если плачет мать, это горе, если плачут миллионы матерей – война. Плачьте, матери!»

Из приведенных примеров ясно, что автор владеет широкой языковой палитрой: от просторечия до философской лексики, от диалектизмов до литературного языка.

Можно и дальше продолжать перечень достоинств романа «Когда боги молчат». Но, как говорится, лучше один раз самому увидеть, чем услышать.

Так что остается пожелать читателю неспешного чтения и открытия нового автора.

Михаил Соловьев

КОГДА БОГИ МОЛЧАТ

КОГДА БОГ МОЛЧАТ



1

МИХАИЛ
СОЛОВЬЕВ

Обложка первого издания романа (Нью-Йорк, 1963). Худ. Р. Гарик

Часть первая

МЕЖЕВАНИЕ

I

ПОСКРЕБЫШ

(Краткое содержание)

В опущенной первой главе рассказывается о многодетной семье Суровых, «людях хлеборобческой природы, но не хлеборобах. Не посторонние селу, нет, но и не совсем свои. Живут тут, а от первейшего и почетнейшего – хлеборобческого – дела отошли».

Глава семьи Тимофей – «человек неторопливый, малословный и чрезвычайно бородастый, как всё одно природа, отформовав тяжелое тело, избыток сил в бороду ему вогнала... Подстать бороде был и весь Тимофей. Глаза серые, усмешливые. Нос тупой из бородищи, словно птенец голый из гнезда, глядит. Плечи широченного прямого разворота. Ступал легко, размашисто, хоть людям и казалось – где он ногу в чоботе с широким голенищем поставил, земля там прогнулась, а если он, скажем, плечом шевелил, то кому-другому на ум падало, что толкни он тем плечом угол хаты, быть ей без угла».

«Старший, Яков, имел руки моластые, закоптелые и чрезвычайно ловкие. Бородой зарос, повадками старался на отца походить, когда того не было – надевал его многократно пропаленный кожаный передник, на младших братьев строго покрикивал, в работе, опять же отцу подражая, присапливал. Сергей – тот совсем другим был, Митька еще больше другим, а за ними много прочих Суровых, и каждый на свой лад, каждый своими повадками отмеченный».

Все они окружены заботой матери – тетки Веры.

Однако любимый – младшенький, Марк, главный герой романа. «Хорошая семья Марку попалась, и рос он в ней, как опара на

дрожжах». «В положенное время справным хлопчиком стал – остроглазым, быстроногим и всегда всякими вопросами заполненным. От отца у него глаза были серые, скулы раздвинутые, нос тупой, а от матери – примета вечная – конопушки на лице и в том же порядке, что у тетки Веры: к вискам погуще. Из-за них его конопатым называли, а то еще меченым поскребышем».

К началу повествования Марку 9 лет.

II РЕВОЛЮЦИЯ

Дворы в селе были обнесены высокими стенами из дикого пластинчатого камня – он неподалеку в холмах гнезвился, да оттуда мужиками для хозяйских потреб и вынимался. Стену из этого никчемного материала соорудить, прямо-таки геркулесовский труд. Иной раз мужик года три около такой чертовой стены потогонил, всё время, оставшееся от неотложных хозяйских дел, в нее вкладывал, а спроси мы, зачем ему та стена в два человеческих роста, удивится. У других такие, а он что, хуже!

Село к неторопливой, вразвалку, жизни тянулось. Хлебороб простоты чаял, каменной стеной от всего мира отгораживался, к городу спиной поворачивался. Привезут, бывало, соль из города – белая, молотая, лучше не надо и на пятак три, а то и все пять фунтов, но упрямый селяк лизнет этот городской продукт и покрутит головой: не та мол соль, не дюже соленая и вроде совсем даже безвкусная. Запрягает он коней, отправляется чумаковать за семьдесят верст к реке Манычу, где соль вековыми пластами осела, ковыряет там пласты, грузит на бричку и домой, медленно поспешая, едет. Дома соль обухом топора дробит, в ступке колотит, камни отделяет, через решето просеивает. Поработает так человек недели две или три, и солью себя на весь год обеспечит. Зернистой, темной, с горчинкой. Или, опять-таки к примеру, самовар. Эта тульская штукавина главным украшением, почитай что, в каждой хате была, в девичье приданое обязательным украшением входила, а пользовались ею редко. Городским чаем по большим праздникам баловались, а так всё больше к калмыцкому склонялись, а ему не самовар, а чугун в печи нужен. В калмыц-

ком чае, как известно, чай мало приметен, а всё больше вишневый лист и вишневая ветка, и если их хорошенько в молоке разварить, курдючного жиру пустить, солью сдобрить, а поверху коровьего масла для разводов дать, то получится как-раз то питье, какое доброму хлеборобу соответствует. Выпьет человек три, а то, скажем, пять или шесть стаканов такого чая, да еще с хлебом, густо присоленным темной и горьковатой маньчжской солью, отяжелеет и, расстегнув пуговицу на штанах, умиротворенно скажет:

«Ну, слава Богу, почаёвничали».

Устойчивая, неторопливая селяцкая жизнь, книжникам непонятная, собственными соками питалась, и хоть многое из того, что город продвигал, хлеборобческий народ принимал, но мог он при нужде и без всего этого обойтись. Что же касается всяких перемен, то к ним мужичье сословие склонности не имело, с подозрением относилось, и поэтому ничего удивительного нет в том, что степной край заметно отставал от событий, происходивших тогда в России, и даже довольно удачно не заметил февральскую революцию. Наезжали всякие агитирующие и разъясняющие люди, селяки их слушали, а сами меж собой поговаривали:

«Нехай они там в городе колобродят, там же голытьба бештанная, а нам спешить – перед Богом грешить».

Ждали, глядели, ничего не меняли, а тут сыновья-фронтовики начали домой возвращаться.

Зима в тот год где-то придержалась, и осень была затяжной и непомерно слякотной. Однажды Марк сидел на каменной стене, что суровский двор от улицы отмежевывала. Небо состояло из лохматых белесых туч, грозило снегопадом, да всё никак не могло растрястись, а ему нужен был снег, и немедленно. Со стены он нет-нет, да на новые санки поглядывал – под стеной во дворе они были, а веревочку от них он в руке держал. Смастерил санки отец, брат Гришка раскрасил их чернилами, но как тут покатаешься, когда зима всё еще на кулачках с осенью бьется, и осень не отступает! Марк уже хотел было в хату идти – уроки учить – да тут бричка из-за угла вывернула, и он остался. Таких бричек он не видывал – высококолесная, в зеленое выкрашенная, а в упряжи кони диковинные. Свои степные кони – поджарые, сухоногие, низкорослые, а тут – огромные, кургузые и совсем

безхвостые, что Марку было вовсе удивительным. В бричке два солдата, подвернули они коней к суровским воротам, один соскочил на землю и замахнулся на Марка кнутом.

«Вот я тебя батогом по тому месту, виткиль ноги растут», – сказал он, скаля белозубый рот.

Марк от неожиданности довольно громко носом хлюпнул, в солдате, замахнувшемся на него, Корнея признал, а в другом – Митьку. Кубарем скатился он со стены, в хату кинулся с вестью. Мать горшок выронила, тут же в слезы ударилась. Корней с Митькой вводили во двор коней с бричкой, а их с флангов тетка Вера атаковала. Бросалась она от одного сына к другому, висла на них, плакала, а отец, стоя рядом, буркливо говорил, что осень мол, а тут она бабскими слезами сырость увеличивает, но сам радостью светился. Из всех щелей другие Суровы повылезли. Гришка и Филька теперь кузнечным делом занимались, а Тарас всё больше у сапожного верстака орудовал, и Иван к нему в помощники прибил. Корней, с отцом трижды обнявшись, младших братьев в ряд поставил, прошелся перед ними, как взводный командир, остался смотром доволен и каждого поочередно обнял, а потом Татьяну облапил, но не удержался, за косу дернул и сказал:

«Ты, Танька, совсем барышней становишься».

Таня от непривычного слова покраснела, собралась было заплакать, да взглянув на братьев сдержалась – засмеют за слезы, не поймут, что не от слова городского и вроде обидного она плачет, а от радости, что братьев видит.

Для Марка наступили хлопотливые времена. Начать с того, что Корней и Митька привезли с собой не только винтовки, но и пулемет. Вещи с подводы разобрали другие фронтовики, что вместе с ними приехали, коней и бричку куда-то угнали, а пулемет поставили в сарае, и Корней приказал младшим братьям стеречь его. От Гришки приказ перешел к Филиппу, от него к Тарасу, от Тараса к Ивану, а от того к Марку. Но как можно и пулемет стеречь, и ничего из рассказов братьев не пропустить? Бежал Марк в сарай, рукавом рубахи смахивал с сизой стали осеннюю влагу, а потом возвращался в хату, в которой братья вели бесконечный рассказ о войне. Корней в первый же день по приезде всё насчет революции разъяснил, и из его слов выходило, что революция по всей России уже произошла и только в их селе ее не было, а что такое революция, так это проще простого: царя по

шапке, всё отменяется, воевать больше не нужно, и Россия отменяется, а будет для всех народов земли одинаковый порядок и мировая революция.

Марк прямо-таки непомерно гордился братьями и казалось ему, что нет и не может быть храбрее, умнее и красивее солдат, чем Митька, а особенно Корней. До призыва Корней был высокотоватым, худощавым парнем; славился лихостью чрезмерной и опасной отчаянностью в уличных драках, что, между прочим, и служило причиной тому, что отец бивал его смертным боем, как ни одного другого сына не бивал. Теперь же Корней вернулся с фронта в ослепительном блеске: унтер-офицер, дважды георгиевский кавалер, трижды ранен и в полковой ревком выбран солдатами, каковой ревком и дал приказ по домам разбегаться, фронт бросать. Сидел Корней, в парадный мундир обрядившись – парадное обмундирование ревком солдатам раздал, чего ему пропадать? – картинка, да и только! Воротник мундира желтый, погоны с золотой буквой К – великого князя Константина полк – шпоры на сапогах и штаны с кантом. В таком живописном виде человек особый вес приобретает, и даже отец, начто уж он Корней знал, первое слово ему за столом уступал и заслушивался его рассказом.

А Митька скромнее, проще был. Парадного мундира у него не было – по дороге они его с Корнеем пропили – и был он в простой солдатской одежде. Сидел так, словно и не покидал на целых четыре года этой хаты, краснел, как и раньше краснел, и отец подозревал, что краску на его лицо Корней своей похвальбой нагоняет. Но брату Митька не мешал, а всё больше на младших детей глядел и на мать, которая печь Варваре с Таней поручила, а сама стояла у двери, слушала и то и дело рушник к глазам прикладывала.

Тимофей долго в ту ночь не спал, не брал сон и тетку Веру.

«Тимоша, а как же без царя? Он же помазанник Божий», – сказала она мужу, неоднократно повздыхав и молитвы все прошептав.

«Вот я о том и говорю», – сердито произнес Тимофей и неодобрительно хмыкнул. И хоть он ничего точного не сказал, тетка Вера поняла – тревожится.

Что царь отстранен от власти, хлебоборбный народ знал, но всерьез это отстранение не принимал. Отстранили городские од-

ного царя, будет другой, цари всегда меняются, но чтоб вовсе без царя – такого не бывало, Корней же говорит – долой царя, и вообще всё отменяется, и даже России не будет, а замест всего мировая революция. Этого не только тетка Вера, но даже Тимофей поначалу уразуметь не мог, хоть и не хотел признаться в том жене.

Скоро и однорукий Семен пришел – он два года в самой Москве жил. Тяжелой была с ним встреча. Увидев левый рукав его шинели, заткнутый за пояс, Варвара плачем зашлась. Дети с ужасом смотрели на рукав, в котором не было руки, жались по углам, боясь к брату подойти. Но мать не плакала. Обняла сына, который со смертью Якова старшим теперь был, и почти весело сказала ему:

«Ничего, Семушка, это ничего, что нет руки. Привыкнут. Проживешь и с одной рукой. Господь знает, кому что дать и от кого что взять».

Действительно, вскоре все привыкли и перестали замечать пустой Семенов рукав, а первой с ним свыклась Варвара.

Хата Суровых стала местом собраний фронтовиков. Никто не знал, что надо делать, как революцию произвести. Кричали до хрипоты, ругались, но к решению не приходили. Что земля должна принадлежать крестьянам, это все понимали, но к чему это, когда земля и без того у хлеборобов, помещиков нет, богатых мужиков немного, и они, вроде, и не против, чтоб землю переделить. Самая большая трудность была в том, что власти, которую можно было бы по-революционному сменить, не находилось. Волостной старшина есть, писарь имеется, урядник сохранился, но у этой старой власти нет желания сопротивляться революции, а из-за этого фронтовики не знали, что им делать, чтоб революцию углубить. А тут еще старый Суров им хода не давал, благо в его хате их сборища происходили. Кричат фронтовики, что сменить нужно власть, а Тимофей спрашивает их – какая же новая власть-то будет? Те отвечают, что вовсе без власти жить можно, а Тимофей начнет перечислять: три десятка сирот на общественном попечении, топку для школ привозить нужно, учителей кормить, больницу Ивана Лукича поддерживать. Кто всем этим будет заниматься, если власть отменится?

Семен однажды поехал в город, вернулся через неделю. Зима уже тогда наступила, но в тот год она была к людям доброй, вьюгами да трескучими морозами не разила. Дня через два после того,

как Семен вернулся, в селе всё-таки произошла революция, и начало ей было дано в суровском дворе, а самыми видными ее участниками поначалу были дети – видными потому, что они на стенке, словно галчата, сидели, за происходящим во дворе наблюдая.

Двор был полон людьми. Фронтовики явились с винтовками и в солдатских шинелях. Корней щеголял в своем парадном мундире, но погоны снял. Шинель он не надел в рукава, а на плечи накинул, хоть это и не вовсе ловко было. Подходили мужики с ближних и дальних улиц. Люди дымили самосадом, кричали, как всё одно самое главное в революции друг друга перекричать. У всех на языке революция, но всё-таки никто толком не знал, как надо поступать. Мужики с надеждой смотрели на фронтовиков – они всё это начали – но вряд ли и тем было ведомо, что делать. Неумение делать переворот, фронтовики скрывали за многозначительными выкриками и намеками, из которых можно было заключить, что им всё известно, всё они могут, и нет для них более знакомого дела, чем революцию совершать.

Но надо было, наконец, что-то предпринимать. Выкатили на середину двора старую бричку. На нее однорукий Семен поднялся. Он рассказал о событиях в городе. Читал прокламацию городского совета каких-то там депутатов. В прокламации говорилось, что надо брать власть в свои руки. Но как ее брать? Власть – штука невещественная, ее и пощупать-то нельзя. Как взять ту власть, за какое место взять и чем взять? Если-бы кто-нибудь сопротивлялся, тогда другое дело, а тут даже никакой захудалой контры не находится, и оттого революция как-то не получается.

После Семена, говорили фронтовики. Самые запальчивые требовали, чтобы революция была похожа на настоящую революцию, а не на черт-те что, а для этого надо немедленно кого-нибудь расстрелять. Худой фронтовик, отравленный на фронте газами, поднялся на бричку. Он говорил, что ликвидировать надо вредный класс. А так как вредный класс это церковный староста Гаврило, отказавшийся отпустить фронтовикам в долг самогонку, которую он гнать великий мастер, то надо Гаврилу изгнать из села, або расстрелять. Богатых мужиков не трогать, но обложить налогом. Солдат исходил в крике:

«Братва! За что кровь проливали? Пока мы на хронте страждали, они дома сидели и Гаврила им самогонку гнал. Революция

должна всех к едреной матери уравнивать. И пусть они, гады, по три ведра самогонки-первача ставят для революционных хронтовиков».

Когда нашумелись, накричались до хрипоты, старики заговорили. Человек с апостольской бородой – узкой и длинной – долго мялся на бричке, прежде чем начать речь. Зажиточный хлебороб Фролов. Пришел в суровский двор с двумя сыновьями-фронтавиками революцию делать. Не сомневался, что переворот нужен, хотел помогать ему. Расправив бороду, зычным голосом обратился к народу:

«Всё от Бога и свобода от Него. По Божескому надо поступать, никого не обижать, чтоб каждому, значит, его место было отведено. Оно по три ведра самогонки поставить вполне возможно, я сам с превеликим удовольствием поставлю, но только в революции не это главное».

Старику не дали сказать, что же главное в революции. Услышав, что он согласен поставить самогонку, воспламененные фронтавики стащили его с брички и начали качать. Бросали высоко, ловили на руки и опять бросали. Разлеталась апостольская борода, при каждом взлете старик крестил побледневшее лицо, а фронтавики кричали:

«Качай его, братва! Мы всегда знали, что сознательный он старик, революционный старик!»

Вместе с фронтавиками кричали и дети на стене – радостное возбуждение, созданное во дворе речью Фролова, передалось и им. Не скоро они угомонились бы, да их внимание отвлекло появление всадника. Он слез с коня у ворот, накинул поводья на колышек и вошел во двор.

«Это к Корнею», – пояснил Марк. – «Они вместе воевали. Тыщу германцев убили, а може больше».

В семье Суровых человека, приехавшего тогда ко двору, знали, и так как он в нашей повести время от времени будет появляться, то тут мы о нем сразу и расскажем. Был он из соседнего села, что в тридцати верстах находится. Фронт сдружил его с Корнеем. Служили они в одном полку, вместе отличились в бою, в один день получили унтер-офицерские нашивки и георгиевские кресты. Вместе и домой вернулись, когда стал распадаться фронт и везде заговорили о революции, а когда вернулись, он стал часто наезжать к Корнею.

Панас Родионов был из батраков. В том хлебородном краю, о котором мы рассказываем, помещиков, не в пример прочим русским землям, было мало – край новый, без них зачинался, без них и жил – но сколько-то их всё-таки развелось. Помещичье сословие больше вокруг губернского города гнездилось, однако же, кое-где в самой степной глухомани усадьбы возникли. Такая усадьба в Панасовом селе была, помещика Налимова имение. Помещик был так себе, средней руки, больше не богатством, а гонором славился, однако же, хоть и средней руки, а хозяйство имел обширное – постоянных батраков десятка два, а то и три держал. Меж них и Панас до войны обретался.

Вот этот-то Панас Родионов и слез с коня у двора Суровых, когда в нем зачиналась революция. Поздоровавшись со всеми, поговорив с Корнеем, он поднялся на бричку и, путаясь в словах, сообщил, что в его селе фронтовики уже создали ревком и взяли власть. Его послали объединиться.

Выслушали люди нескладную речь Панаса и сразу поняли, как надо делать революцию: создать самый революционный комитет, который и будет властью. Быстро, без особых споров, выбрали председателем однорукого Семена. Труднее оказалось выбрать командира красной гвардии. В нее решили объединиться фронтовики для защиты новой власти, хотя они еще и не знали, от кого ее надо защищать. Фронтовики хотели командиром Корнея.

«Он на хронте отличился», – кричали они. – «Два Егория за всякую хреновину не дали бы! Он за трудовой народ раненый!»

«Так то ж он раненый за царя!» – отбивались не-фронтовики. – «Куда его выбирать командиром, когда он буйный, на него удержу нету!».

«Корнея», – ревели солдаты.

«Долой!» – не тише кричали другие.

На стене шла потасовка. Дети разбились на две враждующие партии – одна за Корнея, другая против. Трепали друг друга, сбрасывали со стены. Марк сражался с рыжим соседским парнишкой: Марк, конечно, за Корнея, а рыжий – против.

Шум детей мешал людям во дворе, и Корней, позаимствовав у кого-то кнут, подбежал к стенке.

«Замолчите вы, горобцы!»

Кнут больно стегал по спинам и ногам детей, и драка меж них затихла. Марк потирал руку, на которой кнут оставил больной след.

«Я за тебя, а ты дерешься!» – сказал он басом в спину брата.

Фронтовики победили, Корней был выбран командиром. Тимофей поднялся на бричку и дал обещание, что он присмотрит за сыном.

«Не сомневайтесь!» – сказал он. – «В случае, если Корней будет что-нибудь непотребное творить, я ему, сукиному сыну, голову оторву!».

Все смеялись. И Корней смеялся, но всё же с опаской посматривал на отца. С ним шутки плохи, кулак у него знаменитый.

Шумной, крикливой и свистящей ватагой бежали по улице дети, а за ними тянулась процессия. Впереди тачанка, пулемет на ней. Лошадьми правил фронтовик. Серая солдатская шапка набекрень. У пулемета, положив ладонь на зеленоватую сталь, сидел парадно выряженный Корней, красногвардейский командир. Чеканили шаг фронтовики. За солдатами валили толпой остальные участники революции. Из домов выбегали люди, присоединялись. Какая-то древняя старушка, завидев толпы народа, начала креститься и поспешать за остальными. Старые ноги не слушались, и старушка, всхлипывая и сморкаясь, просила людей:

«Подождите, Бога ради, не поспею я за вами!»

«А куда ты торопишься, бабуся?» – спрашивали ее.

«На площадь. Революцию, говорят, привезли. От царя-батюшки».

Люди смеялись и проходили мимо. До чего ж несознательная старушка!

Процессия вышла к сельской площади. Шли возбужденные, громко перекрикивались.

Шли устанавливать советскую власть.

Волостной старшина – высокий, сухопарый старик – уже давно ждал, что кто-нибудь освободит его от власти. С тех пор, как в городе всё изменилось и старые порядки рухнули, он не знал, что ему делать с этой самой властью и тяготился своим положением. Встречая фронтовиков на улице, он говаривал им:

«Что же вы, братцы? Везде, почитай, солдаты власть взяли, а вы только девок щупаете, да самогонку пьете».

«Подожди, дед!» – отвечали ему. – «Революцию делать, это тебе не вареники есть. Надо всё обсудить, приготовить, и только тогда дать тебе по шапке».

«Вот-вот, по шапке!» – радовался старшина неведомо чему. – «А то ношу ключ от волостного правления, а зачем он мне теперь?»

Старшина был предупрежден, что в селе происходит революция и по этому случаю принарядился и приколот к кожуху красный бант. Послал за урядником, огромным рыжим силачом. С тех пор, как полицейское начальство в уезде исчезло и перестало присылать жалованье, урядник решил, что его обязанности кончились, повесил на стене в своем доме казенную шашку и мундир и занялся делами хозяйства. Когда прибежал посыльный, он так и явился к старосте в мужичьей свитке. Староста замахал на него руками:

«Что ты, что ты! Тут революция происходит, а ты безо всякого торжества пришел. Одевай мундир и шашку, власть сдавать будем».

Урядник хотел вступить в спор, но староста оборвал его:

«Не спорь, слушать не желаю! Надо, чтоб торжественно было. Всё ж таки новая власть. Свисток не забудь».

На колокольне ударили в колокола. С паперти спускался отец Никодим в полном облачении, а за ним церковный хор. Слабый голос дородного отца Никодима тонул в могучем реве хора, которым издавна славилась церковь. Слава та была особого рода, о ней в двух словах не скажешь. Повелось как-то так, что в хор принимались только самые густоголосые, басистые, а тенорам или там всяким альтам хода не давалось, их из хора попросту сживали. Мужики, что в хоре пели, вроде как-бы круговую оборону вели. Регент, человек щедушный и большой семьей обремененный, уже давно капитулировал, на одних басах церковное благолепие старался блюсти. Певцы сами и пополнение себе подбирали. Приходит какой-нибудь из них и говорит другим:

«Павка Грунев с хутора дюже добрый голос имеет. Крикнул, стервец, на жеребую кобылу, так та со страху до времени ожеребилась».

По прошествии короткого времени Павка Грунев в церковном хоре, а по селу люди восторженно говорят меж собой:

«Ну и голос же у сучьего сына! Як рывкнул в Отче Наш, так отец Никодим прямо заплакал. В ризницу ушел и там сказал, что не может обедно служить, когда львы в церкви рыкают».

По случаю революции, хор против регента окончательно взбунтовался.

«Раз свобода, так для всех», – сказали басы регенту. – «Свободно теперь петь будем и ты не тыкай нам в пуза камертоном.

Вполне можем тебя голосом с ног сшибить, вишь, какой ты хлипкий!»

Регент махнул на всё рукой и предоставил исход Божьей воле.

Пели в хоре люди всё больше в летах и с добрыми животами. Они гурьбой валили позади отца Никодима, оставив регента позади, и изрыгали такую волну густого, дробящего звука, что все участники процессии с почтением обнажили головы. Певцы шли, широко раставляя ноги, в коленях их не сгибали. Даже звонарь прекратил было залиvistый перезвон колоколов и, перегнувшись с колокольни, что-то кричал и грозил хору кулаком. Басы в ответ взяли еще одной нотой выше. Звонарь ударил сразу во все колокола. Хор потонул в беспорядочном звоне, но басы решили лечь костями, а не уступить. Их лица стали бурачно-красного цвета, рты перекошились и изображали из себя полунаклонившееся «О». Загудел хор со страшной силой, но вдруг сорвался. Среди хористов начался спор.

«Ты ж нижнюю до должен держать, а тебя черт к верхнему до тянет», – кричали хористы на Куприянова, одного из самых главных и самых сокрушительных басов.

«На биса мини твое ниже до, воно у меня в горле, як малое лягуша в море-окияне», – кричал в ответ Куприянов.

Тем временем отец Никодим окроплял святой водой фронтовиков и народ. Подойдя к тачанке, на которой коленапреклоненно стоял Корней, он покропил его, подумал, и покропил пулемет. После этого процессия двинулась к волостному правлению. Хор опять гремел, но не так, что б очень уж свободно: теперь впереди басов помахивал рукой регент.

С высокого крыльца сошли люди. Старшина с огромным ключом от волостного правления. За ним рыжий урядник в полной форме – при шашке и свистке. Рыжие усы нафабрены, торчат в стороны прямыми стрелами, как в самое лучшее урядницкое время. Сзади волостной писарь, несколько сторожей складов, куда свозилось казенное зерно, и замыкал шествие доктор. Старшина собрал всех, кто получал жалованье от волости, решив, что они-то и есть власть, которую теперь люди хотят сменить.

Тачанка остановилась, остановились фронтовики, а за ними и все остальные. Корней сбросил с плеча шинель, поставил ногу на пулемет и обратился к старой власти:

«Так что, граждане, старая власть смещается и отменяется, а вводится новая, которая, значит, народная и народом выбранная. Ежели вы будете там какую контру строить, то мы вас зараз к ногтю».

Корней не был рожден оратором.

«И чего ты выдумляешь, Корней», – торопливо сказал староста. – «Ну, чего мы будем контру делать? Бери тую власть, ну ее кошке под хвост! Вот тебе ключ, держи!»

Но принимать власть и все ее знаки должен ревком. Семен с членами ревкома вышел вперед. Подрагивая плечом без руки, он принял из рук старосты ключ. Все крикнули ура, громче всех сам староста.

Потом вперед выступил урядник. Он снял португеею с шашкой, начал разоблачаться. Остался в длинных полосатых кальсонах и в холстинной исподней рубахе. Переступал с ноги на ногу – босой и какой-то уж очень нелепый. Женщины отворачивались от огромного детины, отвернувшись, начинали кричать:

«Что же он делает, паскудник! Да он, может, и подштанники снимет и нагишем тут стоять будет!»

«Бабы, молчать!» – начальственно крикнул урядник. – «Должен я казенную имуществу новой власти сдать? А подштанники на мне свои, не казенные».

Выпучив глаза и натужившись до красноты, урядник крикнул через головы людей:

«Клавка, давай одёжу!».

Ответом послужил разрастающийся вокруг смех. Переступая с ноги на ногу, урядник сказал:

«Вот ведь, зараза! Сказал ей, чтоб несла одёжу, а ее нет».

Округлив глаза, он опять закричал:

«Клавка, убью! Давай штаны».

«Да здесь я, чего орешь?» – раздался женский голос совсем рядом с тачанкой.

Молодая разбитная бабенка, жена урядника, уже давно пробиралась к мужу, но попала в гущу фронтовиков, а те тискали ее, мешали передать узелок с вещами. Отбиваясь от них, она, наконец, добралась до тачанки, и урядник начал одеваться, а одевшись, схватил жену за руку и потянул в сторону.

«Стой!» – приказал Корней. – «Ты есть вроде как бы воинский чин, тебя надо разжаловать. Правильно, товарищи?» – обратился он к толпе.

«Правильно! Разжаловать его к хрену!» – миролюбиво откликнулась толпа.

Урядник неохотно, но всё же вернулся. Корней вынул шашку из ножен. Ему доводилось слышать о воинском разжаловании, и он хотел соблюсти правило.

«Стой смирно, я тебя буду разжаловать!» – приказал он.

«Чхал я на твое разжалованье!» – сказал урядник. «Мало я тебя в холодной, сволочь, держал», – добавил он, но Корней на его слова внимания не обратил.

«Товарищи, как принято в нашей доблестной армии, мы разжалуем этого сукина сына урядника в простые мужики. Быть ему, гаду, бессрочно мужиком без права повышения по службе» – крикнул Корней.

После этого он старался сломать клинок шашки, но он был из плотной, плохо гнущейся стали, не ломался. Корней покраснел от напряжения, но не ломалась шашка, да и всё тут. Другие пробовали, сам урядник пробовал – не сломалась.

Наступила очередь писаря. Он положил на подножку тачанки толстую книгу:

«В первой части пишутся входящие, во второй – исходящие!» – сказал он фальцетом.

Начались выборы писаря. Нового писаря из фронтовиков рекомендовал какой-то хуторянин.

«Всенепременно, граждане, выберем его», – говорил он. – «Рост у него прямо писарский, никудышный рост, вроде как бы для мужика стыдный. К тому же, граждане-товарищи, говорит он нудно и все непонятные слова у него наперечет. Как заговорит, так сразу муторно на душе становится».

Выбрали. Новый писарь из фронтовиков произнес с тачанки речь. Понять было можно только то, что он неграмотный, но, несмотря на это, готов быть писарем. Выборы тут же отменили и вернули прежнего.

«А что я должен сдавать?» – спросил доктор, маленький толстяк, которого очень уважали в селе.

«Товарищи, как быть с доктором Иваном Лукичем?» – спросил Семен. – «Оставим его, а то кто ж людей будет лечить?»

«Это как, то есть, оставим?» – вмешался фронтовик, отравленный газами. – «Раз старому режиму служил, долой его! Он, гад ползучий, к старому приверженный, я знаю. Пришел я к нему, а он посмотрел, пощупал и говорит: излечить тебя нельзя, раз ты газами отравленный, но жить будешь, только берегись болезней всяких. Как, то есть, излечить нельзя? Раз наша власть, так мы и вылечиваться желаем. Долой буржуйского доктора! Выберем в доктора Юрку Курова, он на хронте санитаром был и всю науку превзошел».

«Юрку доктором!» – дружно взревели фронтовики.

«Не надо Юрку! Он только своих фронтовых дружков лечить будет, а нас – в шею!» – кричали не-фронтовики.

Юрка Куров, высокий красивый солдат, уже был на тачанке.

«Это вы совсем даже зря толкуете, что одних только фронтовиков», – сказал он, рисуясь. – «Мы всех можем лечить, у кого организма осечку дает. Если выберете меня, буду стараться для народа. Клизму там или втирание от всех болезней – всегда с моим удовольствием».

Путь к докторскому званию Юрке неожиданно преградили женщины. Они не вмешивались, пока сменяли других представителей власти, но словно взбесились, когда дело коснулось доктора, и подняли крик на всё село. Молодая вдова с дальней улицы особенно старалась.

«Не надо нам вашего Юрку!» – кричала она. – «Он – охальник. Как я перед ним голой буду, ежели по болезни надо, чтоб доктор меня всю обглядел и облапал?».

«Ишь, чертова баба!» – кричал Юрка с тачанки. – «Как перед буржуазией, так она разоблачится за мое удовольствие, а перед трудовым народом не хочет».

Бородатый мужик со смешливыми глазами, лысый и курносый, подался вперед и крикнул:

«Чего ты на нее лаешься? Приходи к ней вечером, так она разоблачится так скоро, что ты глазом моргнуть не успеешь».

Лицо вдовы пошло красными пятнами, кинулась она к обидчику, пыталась схватить его за бороду, до визга подняла голос:

«Перед тобой, старый кобель, раздевалась я? Говори, раздевалась?»

«Отстань, баба, отстань от греха!» – пятился мужик, защищая руками бороду. Но тут вплелся еще один голос. Жена мужика, подшутившего над вдовой, поняла происшествие по-своему.

«Ах ты, паскудник старый!» – кричала она, надвигаясь на мужика с другой стороны. – «Люди добрые, посмотрите, к вдовам ходит!»

Она ринулась на мужа, но тот торопливо юркнул в толпу.

«Пустите меня!» – кричала баба. – «Пустите, я ему бороду выдеру, кобелю непутевому».

Ее не пускали, и тогда она повернулась к вдове.

«А ты, паскудница», – кричала она, – «чужих мужиков отбиваешь? Голой перед ними представляешься?»

Вдова кричала в ответ:

«Нужон мне твой мерин выхолощенный! А ты сама потаскуха, к Сеньке-бондарю потайно бегаешь!»

Неминуемо быть бы драке, да помешали фронтовики, криками, шутками, свистом они развели баб по разным концам площади, и торжественная часть революции, прерванная так неожиданно, могла продолжаться.

Выбрать доктора оказалось нелегким делом. Настойчивости фронтовиков, желающих Юрку, бабы противопоставили свою напористость.

«Не желаем раздеваться перед Юркой, да и всё тут!» – кричали они. – «Он, кляп ему в рот, и не доктор еще, а всех девок перелапал».

Какая-то молодайка льнула к мужу-фронтовику, лебезила:

«Проня, невжель, ты хочешь, чтоб я перед тем Юркой без ничего казалась?»

Фронтвик свирепо посмотрел на жену.

«Я тебя, холера, гвоздем в землю вгоню, если застану с Юркой!» – прохрипел он.

Старый доктор был утвержден в своем звании, но всё-таки и Юрку не навовсе от медицины отстранили: ему определили быть при докторе и наказали смотреть, чтобы трудовой народ получал правильное лечение.

Так и совершилась революция в степном селе – шумная, озорная, но всё-таки ничего себе революция, милосердная. Люди доброе начало в себе имели, а ежели и жило меж ними зло, то не такое уж смертоубийственное.

III НАДЛОМ

Думали, что на том и конец. Была одна власть, стала другая; управлял старшина при писаре, а теперь ревком при том же писаре. Никто за власть не борется, никто не сопротивляется, даже передел земли прошел без особых споров и потрясений, чего же еще ждать?

Но где-то, далеко от степных сел, уже собирались тучи. Доходили слухи, что междоусобица не утихает, а всё сильнее размахивается. Беда шла.

Корней редко теперь дома показывался. Вместе с пулеметом, он переселился в волостное правление, в котором постоем стал красногвардейский отряд. С некоторых пор Марку запретили туда являться, а ведь раньше сам Корней приводил его, давал винтовку и однажды даже позволил выстрелить. Хвастался Марк – стрелял из настоящей винтовки – а о том, что плечо после выстрела болело, не говорил. Но это было раньше, теперь же, если он подходил к волостному правлению, Корней кричал ему из окна:

«Уходи, Марк, сиди дома с матерью!»

Это очень обидно, если человека, уже стрелявшего из настоящей винтовки, посылают сидеть с матерью.

Семен, изредка появляясь дома, говорил мало. Кто-то идет, это Марк и Иван твердо знали, но кто, и почему, и зачем идет – неизвестно.

«Идут?» – спросит бывало отец у Семена.

«Идут», – ответит тот и культижкой неоднократно вздрогнет.

Единственно, что было известно Марку и Ивану, так это то, что идут белые, но почему надо бояться этих белых и почему они более белые, чем все остальные, они не знали.

Беду ждали, но пришла она всё-таки внезапно, из соседних областей надвинулась, от казаков – донцов и кубанцев. По весне в степь бело-казачьи войска вступили, мужичий бунт истреблять пришли. Скоро они первую весть о себе и в суровском селе подали. Ночью неизвестные люди наклеили на стены прокламации, а в них говорилось, что вся революционная сволочь будет истреблена. Список, а в нем те поименованы, которые будут повешены,

как только попадут в руки защитников свободы и отечества. Защитниками свободы и отечества люди самых разных дел себя называют, издавна так идет. В списке том три десятка имен содержалось, а меж ними, подряд, трое Суровых – отец и Корней с Семеном. Эту ночь Корней и Семен дома проводили, и о прокламации им на рассвете стало известно. С вестью о ней прибежал из волостного правления дежурный красногвардеец. Семен вышел к нему во двор, спросил, что случилось, да на беду этот красногвардеец ни о чем не мог коротко сказать, чем и славился.

«Выхожу я, значит, до-ветру, слышу вторые петухи поют и собаки гавкают», – рассказывал он Семену.

«Ну?» – торопил его тот.

«Думаю, чего это они гавкают? А потом вспомнил, что Кабановы суку свою с цепи спустили, а она, зараза, всех кобелей собирает».

«Да скажи ж ты, наконец, чего пришел?» – начал сердиться Семен.

«Вот я ж и говорю. Выхожу по малому делу и думаю, что не иначе как кабановская сука концерту дает».

В это время заспанный Корней вышел, услышал о суке и на посыльного ощерился:

«Вот я тебе по сапатке смажу, так ты сразу вспомнишь, зачем тебя послали», – сказал он.

«Я ж и говорю, прокламации в селе на стенках, а ты, Семен, о суке чего-то спрашиваешь».

Семен вырвал у посыльного лист с прокламацией и молча шагнул в дом, а Корней следом. Вдалеке заливались лаем собаки. Посыльный прислушался, смачно плюнул и с заметным восхищением проговорил:

«И скажи, ведь какая стерва, сука кабановская. Малая, худющая, а как кобелей скликает!»

Марк проснулся от шума голосов. Светила лампа, и в кругу желтого света неподвижно лежали огромные руки отца, а сам он сидел у стола в тяжелой задумчивости и к сыновьям как-будто вообще не прислушивался. У Корнея от ярости голос клекотал, и он раз за разом повторял, что он горло кому-то перегрызет, и Марк так ясно представил, как Корней чужое горло грызет, и так напугался этого, что сразу в крик ударился – всех остальных в доме разбудил и тем еще больше сумятицы внес.

Село в тот день было похоже на потревоженный муравейник. Целый день у волостного правления шел митинг. Мужики никак не могли решить, защищаться от белых, которые уже осадили село, где командиром отряда Панас Родионов, или покориться. К вечеру стали приезжать и приходиться красногвардейцы из сел, занятых белыми. Они несли с собой рассказы о расправе. Говорили, что красногвардейцев расстреливают, мужиков плетьюми и шомполами забивают до смерти.

На другой день конные разъезды белых до самых ветряков доезжали, а в селе всё еще митинговали: защищаться или отступить? Все ждали, что скажет ревком. И он сказал:

«Силы неравные. Отступить!»

Ночью красногвардейский отряд Корнея покинул село. Тимофей не хотел уходить, но сыновья, при поддержке тетки Веры, настояли на своем, увезли его с собой. Тетка Вера, обматывая шею мужа толстым зеленым шарфом, говорила ему, от слез задыхаясь, но ходу наружу им не давая:

«Иди, Тимоша, храни тебя Господь! За сынами там приглядишь».

«А как же ты, дети малые как?»

«Не думай о нас. Бог не без милости. Ничего нам никто не сделает».

Опять затихла, нахмурилась суровская хата – ушли в красногвардейский исход, не только отец с Семеном, Корнеем и Митькой, но и троих подростков с собой прихватили. Гришка, Филька и Тарас со старшими отправились, боялся Тимофей, что на них месть белых падет. Из мужского населения в хате теперь были только Иван и Марк, хотя какие же они мужчины, когда старшему одиннадцать, а другому девять? Кроме них, мать, Варвара и Таня, а больше – никого.

Прошел еще день, и в село вошли белые. В отличие от красногвардейцев, эти вооружены на славу, хорошо одеты, пушки есть. Разбрелись они по хатам, присмотрелось к ним село и, вроде, успокоилось. Мало чем отличались белые от красных – такие же фронтовики, такие же русские.

Но и не вполне такие. На другой день пошли по улицам наряды из офицеров и казаков, начались обыски, многих арестовали. К вечеру и к Суровым пришли – офицер и два казака. Хоть их прихода ждали, но когда увидели, что идут, обмерли, а мать и в

эту минуту о детях думала и сказала побелевшими губами, что славу Богу, что Танюши дома нет. С утра она отправила ее на дальний конец села – от греха подальше – с наказом быть у родни, пока ее покличут. Непрошенные, страшные гости вошли, и один казак – рябой и бородатый – живо выкрикнул:

«Здорово дневали!»

Марк в угол забился, неотрывно на офицера глядел, а тот, руки в карманы заложивши, почему-то губы брезгливо кривил. Казаки, возрастом постарше офицера, совсем были похожими на степных хлеборобов.

«Бедновато живете», – сказал второй казак, ни к кому в особенности не обращаясь.

«Одним словом, голытьба», – поддакнул рябой, легонько полестывая по голенищу плетью.

Мать стояла посреди хаты.

«Собирайся, тетка, поведем тебя в штаб», – сказал офицер. – «И все, кто в доме, пусть идет с нами».

Иван – он притулившись у двери стоял – молча выскочил в сенцы, а Марк вцепился в подол материнной юбки. Тетка Вера и Варвара бросились друг к другу, словно вместе они могли оборониться от беды. То прижимая Марка, то отталкивая его, чтоб он вслед за Иваном убежал, мать обрядилась в праздничную юбку, натянула на Марка его ватник, укутала Варвару платком. На вихрастую голову Марка, когда мать наклонялась над ним, падали слезы, они жгли. Офицер и казаки смотрели в окна, не хотели всего этого видеть. Тот, с оспинами на лице, обернулся:

«Не плачьте зазря. Спросят и отпустят», – сказал он.

Он полез в карман широких синих штанов, извлек карамельку и, сдув с нее табак, протянул Марку:

«Ну, не горюй. Такой большой, а горюет».

Потом их вели по улице. Марк не отставал от матери. Старые солдатские сапоги, оставшиеся от Корнея, мешали идти, но он всё-таки поспевал. Мать и Варвара не переставая плакали, а люди смотрели через окна и сокрушенно качали головами: такого в селе еще не было, чтоб женщин и детей водили под ружьем.

За высокой стеной у самого волостного правления стоял кирпичный дом. Окна в нем были с решетками, и назывался он холодной. В прежнее время староста сажал в него злостных недо-

имщиков, а урядник по праздничным дням собирал пьяных и запирал в нем до утра. Такая участь частенько постигала Корнея во дни его довоенного буйства. Но чаще всего холодная путешевала, и дети облюбовали ее для игр. Перелезши через стену, они вели отчаянную игру в шагай-свинчатки, которые очень хорошо скользили на гладком каменном полу этой сельской тюрьмы-холодной.

Когда двух женщин с Марком привели сюда, холодная была полна людей. Они сидели на нарах, на полу, стояли у стен – мужики, бабы, девки и даже дети. Суровых поместили в первую камеру – в холодной их было три. Среди тех, кого привели раньше, нашлись знакомые. Был тут и старик Фролов. В отличие от других, напугавшихся, он был спокоен, успокаивал других.

«Они ведь русские люди, православные христиане, и не станут Бога гневить», – говорил он, поглаживая бороду.

Увидев, что они не одни, Суровы стали поспокойнее. Мать вытерла слезы, и, взобравшись на нары, прислушивалась к людскому говору, Варвара примостилась рядышком. Марк остался на полу. Тут было несколько друзей – их взяли с родителями – а детское горе, как известно, преходяще, и через какой-нибудь час Марк свыкся с ним и затеял с товарищами игру. Холодная не казалась ему страшной, ведь он бывал в ней и раньше, сражался на ее гладком полу.

Часовые передавали арестованным еду – приносили оставшиеся на воле. Тетке Вере принесли хлеб, тарань, две луковицы и шматок сала. Таня собирала передачу, это мать видела, но сама она принесла, или кто другой добросердный – не знала. Едой все делились меж собой, но есть никто не хотел – людям было непривычно в тюрьме находиться.

Вызывали то одного, то другого, и вызванный не возвращался, но освобожден он, или случилось с ним что недоброе, в холодной не знали. На другой день утром вызвали Фролова. Прежде чем уйти, он перекрестился, сказал остающимся:

«Будьте здоровы. Домой пойду, да и вам тут недолго маяться».

Через какой-то час после Фролова позвали Суровых. Повели их в штаб, он в волостном правлении находился, и встретил их там худой, черный и страшноватый офицер. Марку больше всего запомнилось, что у него изо рта одиноко – сиротливо и зловеще –

торчал зуб. Сначала офицер кричал на мать и на Варвару, а те в ответ плакали. Марк понял только, что офицер грозитя поймать всех Суровых и повесить, а Корнея задушить собственными руками. «Невжель задушит?» – пугливо думал он. «Нет, не задушит», – решил про себя. «Корней ему горло перегрызет», – вспомнил он клекотание брата. От своих собственных угроз офицер в ярость приходил. Он схватил мать за руку, потащил в соседнюю комнату. Та, словно обезволев, шла за ним. Варвара и Марк кинулись к матери, вцепились в нее.

«Куда вы ее ведете?» – голосила Варвара. – «Берите и нас с нею!»

Офицер ударил Варвару кулаком в лицо, она упала на пол. Приподнял Марка и изо всей силы отшвырнул. Ударившись об угол подоконника, Марк потерял сознание, но не надолго. Когда открыл глаза, матери не было, а из соседней комнаты доносился ее крик, в котором часто повторялось: «Ой, Боже!» Варвара металась по комнате, кричала, почти безумная от горя:

«Ратуйте! Мамку бьют! Ратуйте, люди добрые!»

Марк бросился к соседней комнате. Тот самый рябой казак, что дал ему конфету, перехватил его, зажал меж колен, не пускал. Марк кусал его, бил по рябому лицу, рвал бороду. Им владело безумие. Он слышал только глухие удары, доносящиеся из другой комнаты, и затихающие крики матери, только их. Всё ожесточеннее, всё зверинее бился он в сильных руках рябого казака.

Потом стало тихо. Мать вышла, держась за стену. Новая праздничная юбка была рассечена, кофта порвана и висела лохмотьями. Тетка Вера глухо стонала, поводила полубезумными глазами. Помнила, что где-то здесь остался сын, бедная, избитая тетка Вера. А Марк снова был в забытьи, страшно скрежетал зубами. Увидев сына на руках у рябого солдата, мать пошла к нему, но казак легонько отстранил ее, сказал:

«Зашелся хлопчик. Жалко, вишь, мать!»

На руки казака капали капли крови – ногти Марка поцарапали его рябое лицо.

Потом шли домой. Варвара поддерживала мать, а Марк, как-то страшно молчащий, путался в больших сапогах и крепко держался за материну руку. Тетка Вера не плакала, только изредка тихонько стонала. Когда отошли от церкви, их догнала подвода. Правил конями всё тот же рябой казак.

«Садитесь, подвезу домой!» – вроде даже сердито сказал он.
Довез.

Дома мать хлопотала над Марком, а он молчал, и глаза у него горели. До боли впивался он пальцами в руку матери. Та прижимала его к себе, твердила:

«Это ничего, Марк, ничего, родной, мне совсем не было больно!»

Так, не отцепившись от сына, мать легла вместе с ним на кровать. Торопливо, словно виновато, гладила она руку Марка и всё шептала, что ей совсем не было больно. Марк слышал и не слышал. В нем что-то надломилось. Жестоко, мгновенно вытолкнула его из детства жгучая боль за побитую мать. Страшный пинок дала ему еще только починавшаяся жизнь его!

Весь следующий день мать лежала. Таня вернулась. Она и Варвара не отходили от нее, прикладывали мокрое полотенце к голове, омывали синие рубцы на ее плечах и руках. Мать была в забытьи. Когда приходила в себя, тянулась к Марку, Тане, Варваре, а увидев их, спрашивала:

«Ваня не вернулся? Спаси его Господь!»

И снова в забытьи, и снова тихий и невнятный шепот.

Ивана не было, и это увеличивало горе матери. Порывалась она встать, бежать ему на помощь.

Переждав еще одну ночь, Марк отправился на поиски брата. Когда он вышел на улицу, ему показалось, что мир вовсе лишен красок: серым и пугающим был этот чужой мир. Знал он, что должен идти вперед, а неведомая сила толкала назад, к хате, где осталась мать.

Направился он в ту сторону, где жили чабаны, дружные с Суровыми. Часто до этого укрывался у них Иван от гнева отца, и Марк думал, что и на этот раз он там. Жили они на дальнем краю села, надо было пройти через площадь. Сторожко приближаясь к ней, увидел Марк такое, что сердце в нем вовсе захолонуло: на телеграфных столбах висели люди. На первом – старик; белая апостольская борода легонько шевелилась по ветру, а связанные за спиной руки, казалось, сейчас поднимутся и совершат крестное знамение. Старый Фролов. Марк побежал и очнулся только тогда, когда его окликнули. Из калитки выглядывала женщина, бывавшая у тетки Веры. Марк подошел к ней, и она за руку повела его в хату. Спрашивала о матери.

В чисто прибранной хате Марка ждала неожиданная встреча. За столом сидел брат Митька. Он кинулся к Марку, поднял его на руки и, кажется первый раз в жизни, поцеловал.

Слух о расправе, учиненный в селе белыми, дошел до Корнеева отряда. Старый Тимофей порывался вернуться в село, защитить семью или погибнуть вместе с нею, но Корней и Семен поперек пошли. Решено было послать Митьку. Что мать арестована, Митька знал, а что выпустили ее – то он от Марка услышал. Выслушав рассказ Марка о том, как били мать, он перекопился в лице, но смолчал, а лишь быстро-быстро свой непокорный чуб рукой заглаживал, и в эту минуту это был совсем другой Митька – не краснел, а страшно, мертвенно побледнел и зубами на всю хату скрипнул.

Когда стемнело, отправились они на поиски Ивана. В доме первого по богатству селяка Громова сияли окна, шла офицерская попойка. Когда проходили мимо, на крыльцо вышел офицер. Свет из открытой двери падал на него. Это был тот самый – черный и страшный.

«Смотри, Митя, это он», – прошептал Марк.

Митька замедлил шаги, впился глазами в крыльцо, и Марк слышал, как он прохрипел.

«Ну, мы тебе припомним, гадина!»

Иван, убежав тогда, всю первую ночь прятался в овчарне у реки, а на другой день, голодный и измученный, пришел к чабанам, и там его приютили.

Братья, теперь уже втроем, пришли ночью домой. Митька зашел в хату, но на короткий час. Дело шло к рассвету, медлить было нельзя, и он скоро ушел в ночь.

Села степные испокон века законопослушными и мирными были – войск видеть им не доводилось, оружия хлебоборбы не держали, и всё их участие в военном деле состояло в том, что в положенное время они новобранцев царю-отечеству посылали служить – тут же мирному житью людей конец приходил, оружаная драчливость и всеобщее потрясение на смену мирной жизни шли. Суrowsкое село теперь на военный стан походило, почитай-что, в каждом дворе казаки постоем стояли, мужиков объедали. Но суrowsкую хату непрошенные постояльцы обходили, ее бедность их от нее отворачивала. А бедность была прямо-таки невыносимая. Другие семьи корову, а то и две сохраняли, запас зерна

или картошки припрятали, а в суровской хате ничего сбереженного не было. Ремесленное дело хорошо кормило семью, но и ремесленников не осталось, и дело их в такое смутное время не требовалось, а припасенные Тимофеем царские и керенские рубли силы не имели. Кормилась швейной машинкой. Тетка Вера с утра до поздней ночи крутила ее ногой. Выполняла заказы молододаек, которые и в такое время всё еще о нарядах думали, но много ли могли эти молодайки за ее труд дать? Принесут хлеба паляницу, или самую малость картошки, или глечик молока – вот и вся плата, да и за то спасибо. Для Марка и Ивана голод и материнно горе двумя главными мучениями были. Чтоб облегчить матери ношу, они с весны в люди подались, на свои хлеба: Ивана знакомый хуторянин забрал и к хозяйству приставил, а Марка чабаны в степь увезли, при овечьих отарах кормиться.

В те времена степная целина вроде как-бы особой овечьей империей была. Многотысячные отары по ней бродили – по весне зелень объедали, зимой корм из-под снега добывали, а в бураны в зимовниках сбивались, переживали беду. Издавна в тех степных местах люди овечьим делом занимались, а когда революционная завируха началась, то хлеборобы на овцу, как на спасителя уповали. Коровье или бычиное племя ко двору привязано, и его не сохранишь – забирают воюющие силы на прокорм а овца в степи гуляет, в отаре хоть и большой, но мало приметной, так как чабанам строжайший приказ дан – прятать овец, на самые дальние и глухие пастбища загонять.

Вот с ними и был Марк. Теперь вокруг него степь лежала, степь без конца и края, до самого соединения с небом. В ней всё так спокойно, так непоколебимо, что с непривычки страшно становилось. Взойдет чабан на курган и замрет, как один из тех чабанов, что весть о рождении Христа первыми приняли. Стоит недвижно, словно в небо вписанный – может шириной степи зачарованный, может полынным духом одурманенный.

В степи есть одинокие дома, окруженные сараями и загонами для овец, это – зимовники. Штаб-квартиры овечьих армий. В одном таком зимовнике можно было в то лето найти Марка. Загорел он до черноты, похудел, стал совсем беловолосым. В округности нескольких десятков верст бродили отары, принадлежащие селу. Всего их было четыре, и при каждой находился чабан с помощником и дюжиной собак, а на зимовнике жил дед Прохор и Марк

с ним. Дед Прохор – главнокомандующий овечьей армии: пастухи, подпаски, собаки и овцы – все были подвластны ему. Прозвали его люди Голосуном за то, что, привыкши к степи, он очень громко слова выкрикивал, а тихо говорить вовсе не мог, но старик был отменный – маленький, кривоногий и добрый до невероятности. Опасался он отпустить Марка в отару, решил держать при себе.

Работы было много, но Марк не жаловался. Дед Прохор посылал его с подводой в отары, а иногда и в село – за солью и табаком. Из отар пригоняли больных овец, и тогда Марк стриг их, мазал какой-то вонючей мазью, вливал в глотки такой же вонючий раствор. Больных овец держали в зимовнике до выздоровления, хотя, впрочем, чаще они подышали. Тогда Марк снимал с них шкуру, а мясо зарывал в землю: дед Прохор строжайше запрещал давать его собакам.

Степь свою целительную силу имеет и первое, что она сделала с Марком – отдалила его от прежних дней, приглушила в нем растерянность, страх, подавленность, что вошли в него, когда мать били, а он в безумие погружался от жалости и любви к ней. Какое прошлое у девятилетнего хлопца, а ему казалось, что у него длинное-длинное позади осталось, и в этом, пожалуй, самое главное: позади. Всё, что с ним раньше было – позади, а тут, ныне, степь неоглядная, и Марк в ней, и будет так сегодня, завтра, всегда; и поедет Марк в село, привезет сюда тетку Веру, Варвару, Таню, и тогда вовсе им всем покойно и хорошо будет. Степь, как могла, исцеляла Марка, незаметно причащала его из дароносицы великого спокойствия, и хоть в его думах мать всё так же первое место держала, страха и боли за нее в нем поубавилось. Может быть, и совсем он успокоился бы, да на зимовнике была чья-то могила и, по причине неведомой и необъяснимой, тревожила она его душу. Когда Марк впервые появился здесь, он сразу увидел за стеной овчарни аккуратный холмик земли. Спросил о нем у деда Прохора, и тот без видимой охоты выкрикнул, что могила это; догнали казаки какого-то красногвардейца у зимовника и забили, а он его за овчарней похоронил.

Сказав всё это Марку, дед Прохор неведомо по какой причине вдруг осерчал и строго крикнул пойти и выровнять холмик. Потом они вдвоем смастерили крест.

С тех пор могила волновала Марка, и нельзя было понять, что ему за дело до нее? Ведь не мог же Марк догадаться. Ведь ничего не сказал ему дед Прохор о том, что произошло.

А было это на другой день после того, как в селе побывал Митька Суров. Не ушел он тогда в степь – вышел на окраину села, а потом назад повернул. Неудержимая сила влекла его к дому Громова. Казалось ему, что офицер, побивший мать, всё еще стоит на крыльце, всё еще курит. Но дом был тих, в окнах темно. У дома часовой. Митька заговорил с ним, притворился пьяным. Ничего о черном и страшном офицере он от часового не узнал. Уйди он сразу после того, как хату свою оставил, и легко миновал бы заставы, но нужно же ему было, на горе свое, к громовскому дому вернуться и драгоценное время потерять! Можно было день в селе переждать, да Митька решил идти, понадеялся на счастье. Свернув с дороги, пошел он прямо по степи, чтобы не попасться на глаза конным разъездам, когда рассветет. Но один такой казачий разъезд заметил одиноко шагавшего человека. Отделились от него двое, поскакали к Митьке. Он продолжал идти – мало ли по каким делам человек по степи ходит! Всадники приблизились. Впереди на большом вороном коне молодой светлосый офицер.

«Стой!» – крикнул он. – «Кто такой?»

Офицер подъехал к Митьке, и они узнали друг друга. Сын Громова, в доме которого ночью шла попойка. Вернулся с фронта и жил в доме отца тихо и незаметно, но пришли белые, и вот – на коне и во всей офицерской красе. Митьку он знал хорошо, так как тот часто работал у его отца.

«Суровское щеня!»

В тоне, каким это сказал молодой Громов, была радость. Медленно, наслаждаясь, он вынимал револьвер из кобуры. Выстрелил. Пуля обожгла щеку Митьке, а дальше всё было, как во сне. Митька прыгнул, потянул его с коня. Тот растерялся, выпустил револьвер. Еще один выстрел. Громов пополз с седла. Казак ударился наутёк. Митька на коне Громова уходил в степь, а за ним, всё больше растягиваясь, казаки. Может быть, и ускакал бы Митька – земля степная твердая, конскому копыту легкая – но поблизости был другой казачий разъезд, перерезавший ему путь. Повернул Митька в одну сторону, а навстречу казаки, повернул в другую – казаки, и тогда погнал он к зимовнику деда Прохора,

словно хотел умереть на виду, словно хотел, чтобы дед Прохор потом рассказал братьям и отцу, как умирал Митька, всегда красневший лицом, а в конце землю своей кровью окрасивший.

Дед Прохор видел погоню и кричал, старый, к Богу крик обрщающая: «Господи, чи Ты не бачишь, что беда человеку? Поможь скорийше!»

Но чуда не произошло. У самого зимовника упал человек с коня, застонал, вздрогнул и крепко прижался к земле – защиты у неё просил.

«Похорони гостя!» – крикнули казаки Прохору и, забрав коня, в степь подались.

Подошел он к мертвому и сразу узнал: Суров Митька. Дед очень сердито, неодобрительно, в небо глядел, творя над мертвым молитву, а сотворив и перекрестившись, сказал сердито: «Ну, воля Твоя. Спорить не приходится». После этого он нагрел чан воды, обмыл покойника и похоронил за овчарней, а когда, по весне, Марк на зимовнике появился, он решил ничего ему не говорить и лишь строго велел за могилой присматривать.

На зимовник стали казаки наезжать – из разных отрядов. Война тогда была беспорядочная и где положено быть белым, а где красным – никто не знал. Фронта не держали, а всё больше по дорогам да вокруг сел воевали. Казаки наезжали, а то, глядишь, разведка красных появлялась и на зимовнике коням отдых давала, но до поры-времени казаки и красные разный интерес имели. Казаки приезжали за овцами, реквизировали для прокорма войск и скоро переполовинили овец у деда Прохора. Но докончили дело всё-таки красные. Однажды поутру остановился у зимовника их отряд, человек с сотню в нем было. За командира учителькин сын из села, он с Корнеем при всеобщем отступлении ушел. Сын этот учителькин до всеобщей завирухи непутевым парнем почитался, даже мать на него рукой махнула. Мать в школе учительницей, а сын всякими непонятными делами занимался и эсэром себя называл. С полицией у него нелады бывали и, когда было ему годов шестнадцать, он от матери ушел и к деду Прохору в подпаски нанялся – к народу его тянуло, а попал от народа к овцам. Но это давно было, теперь же учителькин непутевый сын к зимовнику привел отряд, и дед Прохор, признав его, сразу помрачнел. Марк знал, от чего помрачнел дед – овцы-то, какие остались, от казаков на самые глухие пастбища упрятаны, а этот сын учителькин

в степи, как дома, и если за овцами приехал, то найдет. Сердитым был дед Прохор, а всё-таки руку ковшиком красному командиру подал и в хату позвал. Там гостя непрошенного на ослон под иконой посадил, а сам к стенке притулился с таким видом, словно сказать хотел: «Принесла же тебя нелегкая». Гость весьма весело, дерзко сказал, что приехали они деда Прохора от трудов его праведных освободить и овец у него на прокорм красной гвардии забрать. Слушая, дед Прохор мрачно и очень оглушительно сморкался в кулак, а отсморкавшись спросил, сколько ж овец учителькин сын может забрать, ежели и овец-то не осталось, казачки всех поели. Гость смеялся, сказал, что у Гусьего Яра он видел чьих-то овец, и у Саматной балки их малость имеется, а от его слов дед Прохор вовсе помрачнел, так как-то как раз и были потайные пастбища, о которых только Господь Бог да чабаны знают.

«Ты что ж, хочешь своих потравить?» – спросил дед, не очень веря в свой план. – «Овцы те заболели, может чума накинута и их людям на прокорм дать – погубить людей. Да, промеж того, и не угнал бы ты их. Тут недалеко в степу казаки стоят, тысячи, дай Боже тебе от них без овец уйти. Может, они уже окружают зимовник, так что ты, того, не засиживайся тут. Вон один хотел овец забрать – за овчарней его могилка. Невжель хочешь, чтоб и твоя рядом была?»

Учителькин сын разгадал дедову хитрость. Он скалил зубы на почерневшем от загара лице, очень ласково смотрел на деда. Сказал, что овец он мог бы и без дедова согласия забрать, а если захал на зимовник, так главное потому, что хотел его повидать. К тому же, сказал он, Корней Суров наказывал побывать тут, а то, мол, дед Прохор обидится, что забыли его. Дед Прохор опять сморкался, но ничего больше придумать не мог и тогда вовсе пронзительно крикнул, что за грабеж Бог и учителькина сына, и Корнея накажет, что своих грабить – Бога гневить, а что распиской, которую в это время писал учителькин сын, тот может потереться. Учителькин сын протягивал деду руку на прощанье, а тот свирепо отплевывался и всё повторял, что об грабителю руку он свою пачкать не будет. Двинулся отряд в сторону потайных дедовых пастбищ, а сам дед начал в дальнюю дорогу собираться. Взял запасную пару крепких черевиков, положил в котомку хол-

стинные штаны, принес и вложил туда же банку с вонючей мазью, которой овец лечил. Потом позвал Марка и велел слушать.

«Никак не можно, чтоб забрали овец», – волнуясь и оттого еще громче кричал он. – «С какими глазами я в село возвращусь. Пойду за овцами, может сколько-нибудь сохраню. А ты дождись чабанов, скажи им, чтоб шли в село и сам иди. Моей старухе передай, чтоб не тревожилась, при овцах я не пропаду, а там – что Бог даст!»

Вскинув котомку, старик зашагал в сторону, где рассчитывал перехватить отряд, когда тот овец погонит.

Марк остался один. Свистом созвал собак – с ними не так страшно. Опустевший зимовник казался ему враждебным, чем-то грозил. Окруженный стаей собак, он обошел его. Выкупал у колдца лошадь. Постоял у одинокой могилы – и она принадлежала к его маленькому степному миру, так внезапно рухнувшему.

К вечеру пришли чабаны, двенадцать угрюмых людей. Узнав от Марка, что дед отправился вслед за овцами, они чесали в затылках, с недоумением смотрели друг на друга.

Беспокойно прошла ночь. Грызлись под окнами собаки из отар с теми, что были на зимовнике. Тревожно переговаривались чабаны, непрерывно курили. Надо будет держать ответ перед селом за овец. Может быть, мужики будут их смертным боем бить, а может, и пронесет. Марк о другом думал. Теперь труднее будет матери прокормиться, всё-таки подарки деда Прохора помогли им.

На другой день пастухи входили в село. Сзади ехала подвода с имуществом зимовника и лошадью правил Марк. Уныло брели позади безработные собаки, которым наскучило грызться меж собой. Это всё, что осталось от овечьих отар деда Прохора.

В суровской хате теперь стояли постоем шестеро донцов – люди пожилые. Междоусобная война им, ну, ни на какого беса, не была нужна. В своих станицах дела край непочатый, а тут приходится среди ставропольских хохлов находиться, а до них донским казакам никогда никакого дела не было. Когда казаков не вели в степь, они, главное, занимались тем, что по семьям сучали и свои протяжные песни спивали. Насчет песен один среди них особенно заядл был, его Серафимом звали, и отличался он тем, что в правом ухе серьгу носил, и борода у него курчавилась,

и всем обличьем – персюк, да и только. Спали казаки на соломе, попонами прикрытыми, укрывались лоскутными одеялами тетки Веры. Когда Серафима на песни вело, он садился на ослон у стены, на то место, где Тимофей всегда сидел, и голосом прямо-таки серебряным песню затягивал. И такой тонюсенький был тот голос в глотке волосатого Серафима, и так он жалобно пел, и так долго мог одну ноту тянуть, что тетка Вера всегда при его песнях рядом с ним садилась и рушником лицо закрывала – плакала. О том, что из этой хаты много людей с красными ушло, казаки знали, но это никаких особых чувств в них не вызывало – добрые они были люди и простого взгляда придерживались: ныне все куда-то идут, куда-то их черт несет, а баба что ж, баба ни за что не ответственна. Приносили казаки куски мяса, пшено, хлеб; тетка Вера готовила им еду и не было так, чтоб они поели, а других голодными оставили – всегда и для Суровых долю отмеривали.

Казаков часто в степь уводили – красные из-за Маныча начинали жать – но они возвращались, и опять Серафим пел песни своим за душу хватающим голосом, а тетка Вера, после каждого их похода, всё ждала, что они что-нибудь о сыновьях ее или о муже скажут. Однажды не удержалась, и когда Серафим один в хате был, спросила его, не доводилось ли ему встречаться с кем-нибудь из Суровых, спросила так, словно не было войны и белый казак мог с красным Суровым где-то случаем встретиться и потолковать. Серафим засмеялся, сказал, что, может, встречались, да не признали друг друга. Опять засмеялся и сказал:

«Мы ж друг дружке в морды не глядим. Или они нам зады показывают, или мы им. Как тут признаешь, когда с заду, да еще на полном аллюре, все люди одинаковые, штаны только у них разные?»

Подумал и спросил:

«Промежду прочим, слух меж нами идет, что Корней ваш заговоренный и ни пуля, ни шашка его не берет. Правда то, чи брехня?»

Потом казаков увели, они больше не вернулись. Кругом всё упорнее, всё настойчивее слухи шли, что Корнеев отряд где-то поблизости в степи гуляет и вот-вот село будет брать.

Междоусобное побоище – болезнь заразная: заболеешь, скоро не вылечишься. Казалось попервоначалу, что недоброе брато-

убийственное дело долго твориться не может, опамятуются люди, ведь братья же, христиане православные, и делить им вроде нечего. Но дальше в лес – больше дров. Дни тяжелые, словно лопасти каменного молотильного катка, катились, и всё меньше оставалось у людей надежды, что кончится взаимное истребление и брат брату руку подаст. Что-то темное и страшное, от людей может вовсе независимое, тем недобрый дням свой жестокий облик давало, и люди не имели силы темному и страшному препону воздвигнуть.

Как-то, вовсе даже неожиданно, услышали, что в степи пушки бьют – далеко, а слышно – и тут же паника среди белых началась. От двора к двору весть покатила: красные идут. Они и пришли. На рассвете конная лавина затопила село, и начались тут объятия и поцелуи, радость встречи яркой была, но могла бы быть и ярче, да только в некоторых дворах плач начался, это в тех, в которые не вернется тот, что ушел тогда в степь – сложил он буйную голову. Отряд Корнея крупным теперь стал, не только селяков в себя включал, а и много пришлых – может быть, с тысячу бойцов в нем было – но устоять не устоял. Белые силу собрали и красных опять в степь погнали, но за те несколько часов, что они в селе пробыли, новое горе и в суровскую хату без зова вошло. Привез Корней весть, что отца тиф унес и похоронили его под городом Астраханью, а Митька, в село ими посланный, назад не вернулся и неизвестно, что с ним приключилось. Дед Прохор тогда, за овцами отправившись, по пути заболел, привезли его домой в беспомощности, и он, не приходя в себя, умер, Митькину тайну в могилу унес.

Корней об отце полную правду не рассказал – хотел смягчить удар, да другие раскрыли тетке Вере конец Тимофеева земного пути. Поведали они ей вот что:

В зимний день кружили они по степи, казаками преследуемые. С ними небольшой обоз был, на санях раненных везли, а в нем одной обозной упряжкой Тимофей правил. Кольцо белых становилось всё теснее, всё труднее было уходить от них, и Корней, петляя по степи, привел отряд к реке. Всё быстротой решалось. Корней не дал отрезать и окружить себя, переправился отряд по льду, но обоз оторвался, остался в степи.

Белые хотели хоть обоз перехватить, в догонку за ним шли. Тимофей, стоя в санях, гнал свою упряжку к реке, но тут несча-

стве случилось: ранило одну лошадь, запуталась она в постромках, приковала сани к месту. Перерезал он постромки, да на одной лошади с санями тяжелыми не ускачешь. Односельчанин, который рассказал всё это матери, в обозе был. Увидел он Тимофея в беде, придержал коней и крикнул, чтобы тот прыгал к нему, но не мог Тимофей людей бросить. Обоз переправился, только саней старого Сурова не было.

Узнав о беде, Корней с Григорием, Филькой и Тарасом назад подался, хотел казаков настичь и за отца постоять, да поздно было. С степного кургана видели они, как втягивался казачий отряд в хутор.

Под вечер Григорий, переодевшись в мужичью свитку, прошел через хутор и увидел: отец и четверо бойцов, что в его санях были, висели на деревьях. У дерева валялся зеленый шарф, и Григорий поднял его, на груди спрятал. Ночью с малой силой, добровольно вызвавшейся идти с ним, Корней проник в хутор, и произошла тут ночная сабельная игра. Хуторяне надолго запомнили, как в ту ночь, меж других, носились четверо – двое больших и двое поменьше.словно дьяволы рубились эти четверо с казаками. Сыны Тимофея Сурова справляли поминки по батьке.

В остальном сказанное Корнеем было правдой. Старый Суров был похоронен в астраханских степях, куда отряд привез его мертвым.

Мать, узнав всё это, вовсе надломилась. Почти не плакала – знать слез больше не осталось. Молча сидела.

Смотрела в угол, где у икон лампада теплилась. С утра до вечера, потом всю ночь и весь следующий день сидела она. Отряд Корнея снова в степь ушел, но тетка Вера не слышала, как сыновья с ней прощались. Когда белые открыли стрельбу из пушек, она даже головы не повернула – не слышала. Кто может сказать, о чем она думала? Раздавило ее горе, вот и всё, что скажешь. Дети и Варвара хлопотали около матери, плакали за нее, но она ничего не видела, даже слез своих детей не видела. Только вечером второго дня она встрепенулась – как птица недостреленная. Хваталась за детей, прижимала их к себе. Неуклюжий Иван нечаянно сбил с ее головы платок, Марк взглянул и издал вопль. У тетки Веры были длинные черные волосы. Когда она по вечерам распускала их, они покрывали ее волной почти до колен. Тут же

увидел Марк, что мать – седая. Совсем седая. И старенькая вдруг стала, согнулась.

Отец Никодим, несмотря, что революции не одобрял, о Тимофее после панихиды прочувственное доброе слово произнес, а Митьку велел в безвестии сущих поминать – может, вернется.

Теперь жестокие бои шли. В городе рабочие восстали. Степной край всё больше подпадал под красных. До села доходили громы; пушки степную тишину на части рвали. Через село шли обозы, проезжали конные отряды, проходили пешие. За те полтора года, что война косматым зверем по степи гуляла, люди злее стали, сердцами ожесточились. Теперь грабили мужиков открыто, без жалости, и горе той хате, в которой не накормят обзленного солдата.

Село Суровых лежало на перекрестке дорог, и потому за него обе стороны яростно бились. На самой окраине, на выгоне, куда в другое время люди коров выгоняли, доходило до рукопашных. Но всё труднее было белым стоять.

Ушли они, а на другой день село опять какую-то их часть увидело, теперь уже пленными. Пригнали их под вечер. Полураздетые, окровавленные. Красногвардейцы картинно гарцевали вокруг пленных, картина ж была печальной, никому не в радость.

Прошли те времена, когда захваченных в плен пускали на все четыре стороны; революция требовала крови, пролитая кровь вызвала новое кровопролитие, а круг кровопролития, только дай ему ходу, всех людей без разбора в свой предел включит. Пленных было больше сотни. Марк стоял совсем близко, когда их в тюрьму ввели. Вдруг мелькнуло перед ним сухое – черное и злое – лицо, которое он запомнил на всю жизнь. Тот самый офицер, который тащил мать в другую комнату. А еще через несколько рядов, увидел Марк певучего Серафима, когда-то стоявшего у них на постое.

В хате было людно, шумно, когда он добежал со своей удивительной вестью. Семен, подрагивая пустым рукавом пиджака, рассказывал мужикам о новых порядках, которые теперь будут установлены, договаривался о выборах совета. На нарах, потрясая всё кругом храпом, спал Корней, а с ним заодно какой-то черноусый человек – такой длинный, что его ногам в больших солдатских сапогах не хватало кровати и для них подставили табуретку.

Мать была в хате, чистила картошку, слушала, что Семен говорит.

«Мамо, знаете кого я бачив?» – крикнул ей Марк. Торопясь, он всегда употреблял больше хохлацких слов, чем москальских.

Те, что сидели у стола, недовольно поглядели в его сторону: мешают.

«Замолчи!» – приказала мать.

«Я бачив...», – старался выговорить Марк, распираемый новостью.

«Кого ж ты бачив?» – спросила мать, наклоняясь к нему ухом.

Он прошептал ей, опасливо косясь на Семена: «Я бачив того черного офицера, який... Промеж пленных он».

Мать увлекла Марка в сенцы и там зашептала – напуганная, побледневшая:

«Молчи! Ради Спасителя – молчи! Не пощадят они его, братья-то твои. За зло пусть Господь его судит. Никому не говори, слышишь, Марк? Никому! Крестись!»

«А еще бачив я Серафима», – сказал Марк, перекрестившись.

«Спаси его Господь! Хороший он человек, не обидчик. Все домой, на Дон, порывался».

Мать пошла к печке, наклонилась, и на горестном ее лице заиграл отблеск пожара, полыхающего в печной утробе. Марк был захвачен новым видением. Во двор въехали на конях Филька и Тарас. Иван уже вел в поводу коней братьев. Марк, как всё равно его и не было с матерью, во двор прыснул – братьев встречать. Семнадцатилетний Филька выглядел совсем взрослым. Одет он был в хорошую гимнастерку, подпоясан пулеметной лентой. Ехал на высоком вороном жеребце. Протянул Марк руку, чтобы погладить коня, но Филька сурово оглядел его с ног до головы и ломающимся баритоном сказал: «Не трогай! Убить может».

«Да я ж только поглажу», – заискивал Марк. – «Уже и погладить нельзя!»

Филька ловко спрыгнул на землю, сказал Марку: «Садись, покатайся».

Они были добрыми друзьями, Филька и Марк, а старую дружбу забывать неловко.

Тарас тоже повзрослел, стал суровым и даже как-бы чужим для младших братьев. Ему было пятнадцать лет, а смахивает на

видавшего виды солдата. Очень он стал на отца похожим, но не внешностью – внешностью к тетке Вере ближе – а медлительностью, неразговорчивостью. Похож, но, может быть, и не похож. Отец спокойствие в себе носил, веселости не был лишен, а Тарас словно чем-то тяжелым был наполнен, и на его молодом лбу глупокая морщина поверх бровей легла.

«Тарас сильно об отце печалится», – вспомнил Марк слова Корнея, сказанные им Варваре. – «Плохо то, что он смерти перестал бояться, как будто ищет ее. Лезет в каждую драку».

Тарас молча укоротил стремяна для Ивана, помог ему сесть на коня и пошел к хате, из которой в это время выбежала мать.

Марк с Иваном наслаждались ездой на настоящих боевых конях, даже учинили что-то вроде кавалерийской атаки, при которой Иван умудрился кулаком крепко смазать Марка по губам, после чего Марков интерес к верховой езде сразу поубавился. Поставив коней в сарай и подкинув им сена, Марк с Иваном пошли в хату. Мать готовила к обеду большой стол. За стол уселись все, кто тут был, для Марка же с Иваном места не было и они полезли на кровать. Корней и тот другой, длинный, уже сидели за столом вместе со всеми. Длинного все называли командующим. Занятая своим делом, мать нет-нет, да и поглядывала в окно. Не показывался еще один сын, Гришка.

«Сема, а когда же Гришка приедет?» – робко спросила она у старшего сына.

«Гришка не приедет», – сказал Филька. «У белых пушку отбили, так он чистит да смазывает ее».

Мать пригорюнилась. Не видать ей Гришки, не променяет он свою пушку на тетку Веру.

За обедом молчали, но потом, положив ложки, все сразу заговорили. Марк не очень хорошо понимал, о чем идет речь, как вдруг Семен сказал знакомое ему:

«Пленных взяли больше сотни человек», – сказал он, обращаясь к длинному. – «Я приказал привести их сюда, в село. Тут белые расстреляли красногвардейцев, попавших к ним в плен. Могилы за селом. Как будем с этими?»

Марк открыл было рот, чтобы сказать свою новость, но мать так на него поглядела, что он сразу вспомнил: нельзя говорить, крестом связан.

Корней искоса смотрел на пустой Семенов рукав, а тот безручный рукав трепетал и это, как знал Корней, означало, что Семен волнуется, и это, как всегда раньше, ожесточало Корнея.

«Перестреляем, да и вся недолга», – сказал он. – «Они нас, мы – их, о чем еще говорить?»

«Корней, да что ж это?» – громко сказала тетка Вера и придвинулась к столу. – «Да в своем ты уме? Да как же это ты людей-то убить хочешь!»

«А вот так: они нас, а мы их», – развязно сказал Корней. Может быть, ему немного неловко было, что мать в их дело вмешалась, оттого и развязность эта ненужная.

«Замолчь, Корней, замолчь!» – строго сказала тетка Вера. – «Отца лишили, так некому вас учить. Как такое может быть, чтоб убить людей!»

«Мамо, вы ж знаете. Они наших убивают», – тихо сказал Семен.

Тетка Вера вдруг припала к безручному Семенову плечу, горячо зашептала:

«Семушка, старший ты теперь. Не надо. Кровью за кровь не заплатишь, добром заплати. Ради отца, детей малых ради – не надо. У них дети, жены – не надо».

Длинный с интересом наблюдал эту семейную сцену, а когда тетка Вера забилась в слезах, Семена обнимая, он вдруг сказал:

«А вы знаете, товарищи, я за предложение вашей тетки Веры».

«Я не предложению, я правду говорю», – шептала старая.

«Тем лучше», – сказал длинный. – «Я за правду тетки Веры. Если мы их пощадим, то может быть они наших, попавших к ним, щадить будут. Как вы думаете, товарищи?»

Пленных отпустили, и Семен перед ними длинную речь держал, призывал за оружие не браться, к домашней жизни вернуться. А поздно вечером Корней уши Марку надрал, да так, что потом они у него полымем два дня горели, и всё за того страшного и клыкастого. Проболтался-таки Марк, что он среди отпущенных пленных был. Корней с Тарасом в степь на конях метнулись, хотели догнать, да разве догонишь – ищи ветра в поле! Возвращившись из неудачной погони, Корней ушную выволочку меньшому брату учинил, и Марк понимал, что расстроен человек и даже не обижался, раз за разом повторяя в свое оправдание: «Так то ж мамо заборонили казать вам. Я ж не сам, я ж сознательный, а то ж тетка Вера...»

IV СЕРОШИНЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Фронт переместился в другие земли, междоусобное побоище отодвинулось, да вскорости новая беда нагрянула – голод. Три года белые и красные одинаково люто грабили степной край, и села обесхлебались. Когда закрома были пустыми и голодными брюхами новый урожай ждали, а хлеба колоситься начали, и люди с великим упованием на них глядели, как раз в это время понеслись над степью суховейные ветры, пожгли посевы, и пошел по хлеборобному краю голод гулять.

Тетка Вера из сил выбивалась, чтоб прокормить оставшихся с нею детей, но людям не до нарядов было, и теперь ее швейная машинка стучала очень редко. Дети, уже не малые, понимали, что страшная беда пришла, но как против нее выстоять – не знали. Да и не было у них никакой возможности выстоять, обреченными они были, голоду во власть отданные. В хате с пол-мешка муки сохранялось, картошки малость, цибули две вязанки – и это всё. Хлеб пекли, но страшный это был хлеб, в другое время прямо-таки немислимый. С чего-то решили тогда люди, что курай, трава перекатипольная, питательную силу имеет, и началась за ним погоня. Иван с Марком добрыми добытчиками были, из степи с пустыми руками не возвращались. Секли тот сухой и колючий курай, терли до того, что он в пыль превращался – черная зола от пожарища, да и только. Сначала ее к муке добавляли, а чем дальше, тем меньше муки всыпали и всё больше той пыли, и хлеб из печки выходил порепанный, щелястый, и такой дух был у того, спаси нас Боже, хлеба, какой портянке солдата-пехотинца после длинного похода положено иметь.

Совсем тетка Вера извелась, плакала много, в опустевшей церкви поклонны отбивала и всё на возвращение старших сынов надеялась – придут и спасут. Но не приходили и не спасали, а всё еще свое дело делали – новую власть обороняли. Чем меньше муки оставалось, тем сильнее страх в материных глазах полыхал. Ох, и горько же жилось тогда в суровской хате!

Беда неустрашимая натолкнула детей на отчаянный шаг. Решили они найти братьев, позвать на помощь. Где братья и можно

ли достигнуть их, они не знали – в то беспочтовое время связь меж людьми трудно было держать – только Семен был в месте известном, в Ставрополе. Изредка от него Варвара с великими муками до села добиралась, сухую воблу привозила и куски хлеба, от скупого городского пайка сбереженные. Большой пост Семен занимал, но равнение в беде с городским рабочим людом строго держал – душой за мать и за малых детей болел, а помочь не мог. Что же касается других Суровых, то ни слуху ни духу от них не было, а их то и нужно было найти: Семен в одиночку не спасет, рассуждали малые, а если другие братья узнают о беде, то гуртом отбиться от нее можно.

Однажды поутру Татьяна, Иван и Марк вышли на степную дорогу. Верст тридцать нужно было шагать до того села, в которое железная дорога уперлась и дальше, в суровскую сторону, не пошла. Стояли они за селом, и у каждого страх был: у Марка перед дальней дорогой, а у Татьяны и Ивана за Марка, идущего в ту дорогу. Осень уже была, степь дочерна в тот год солнце да ветры-суховеи спалили, и оттого даль казалась мертвой, страшной.

По-настоящему Ивану нужно было бы в путь отправляться, старший он, но одно обстоятельство на Марка указывало: чоботы. У Марка были хорошие, Тарасом ему подаренные, а Иван вообще обуви не имел, и немыслимо было пустить босого хлопца в такой путь. Марк к дороге был готов. Сумка с запасной рубахой, портянками и ватной кацавейкой у него через плечо висела. Картуз, от братьев оставшийся, на уши твердым околышем опирался. Холстинная рубаха на нем была и штаны из мешка, теткой Верой сшитые так, что синяя полоса, какой тогда мешки отмечались, как бы лампасом у него на левой штанине была, а на другой штанине, понятно, лампаса не было, поскольку на мешке одна синяя полоса, а не две. С опаской поглядывал Марк вокруг, даже привычные глазу ветряки нынче иначе выглядели – словно въезжали они в степь на своих ветровых крыльях, а степь их силком остановила, в себя не впустила. Танька уже девкой была, к семнадцати годам ей тогда шло; понимала она, конечно, что опасно Марка отпускать, но такое горе и такой страх в хате Суровых жили, что даже она поддалась надежде братьев найти, а в них – спасение. Сестра еще раз попробовала, крепко ли пришиты пуговицы на рубахе и штанах Марка, зачем-то сняла с него фуражку и пригладдила волосы, которые она сама же и подстригала.

«Ну, так я пойду», – сказал Марк.

«Боюсь я», – призналась сестра. – «Может не надо?»

«Пропадем мы», – сказал Марк, повторяя слова Ивана. – «И мамо с нами пропадут».

Танька передала Марку хлеб, туго завернутый в белый рушник и крепко-накрепко перевязанный веревочкой. Много дней они втроем откладывали куски, готовя Марка в дорогу. Сколько раз ложились спать совсем голодными, а теперь, когда завернули сбереженный хлеб в рушник, совсем маленький сверток получился, и у сестры сердце от того еще больше болело: не пропал бы Марк с голоду.

Ушел Марк, а брат и сестра долго вслед ему глядели. Только под вечер они в хату вернулись, и скоро плачем горьким хата заполнилась. Вышла мать на степную дорогу, будь птицей, полетела бы в догонку за сыном. Но ноги, от голода пухлые, не догонят ушедшего поскребыша. Позади Татьяна и Иван шли, и горе матери так им души бередило, что Иван схватился за материну руку и крикнул ей, плачем, в себе задавленным, задыхаясь:

«Я догоню его, мамо! Я возверну Марка!»

Как вкопанная остановилась тетка Вера и в детей руками вцепилась. Показалось ей, что и эти двое исчезнут, и так это было страшно, что она даже плакать перестала.

«К Семе в городе Марк покажется, а тот дальше не пустит. Там Варя за ним доглядит, а вы...» Тетка Вера с мольбой прижала руки к груди: «А вы, Бога ради, не спокладите меня. Господь поможет нам пережить».

Но напрасной была материна надежда, не показался Марк у Семена, а растворился в человеческом месиве, что тогда к железным дорогам выплескивалось в поисках спасения. Годы русско-германской войны, а потом годы жестокого братоубийства превратили Россию в джунгли, в которых человек бродил без цели, без надежды. Неделями, а то и месяцами люди ждали поезда, и часто им было уже всё равно, в какую сторону ехать. Дети, родителей потерявшие, а то и брошенные ими, руку протягивали, но редко кто имел что им дать; девчонки за кусок хлеба себя предлагали, и тут же, в пустых и холодных пакагузах, те сделки завершали; какие-то городские специалисты умудрялись и в этом море нищеты найти, что украсть, и люди смертным боем избивали поймавшихся.

Марк медленно пробирался вперед. Если не удавалось попасть в вагон, лез на крышу, примащивался на буферах, а то и на скользкой цистерне сидел, рискуя под колеса сорваться. Начались места более благополучные; у станций меновые базары шумели. Всё шло тогда в обмен – последний кусок мыла, рубаха и кальсоны, табак – всё на обмен годилось, и за всё это базарные скупоты отмеривали хлеб и отваренную картошку – склизкую, а такую желанную. Марк скоро все свои продовольственные запасы исчерпал и по всем тогдашним понятиям на голодную смерть был обречен, а как выжил – уму непостижимо. Просить он не умел, неразумная стыдливость в нем была, воровать обучен не был, и голодать ему довелось так, что пером не опишешь и словами не расскажешь. Но живой был, а это самое главное, и живой всё глубже в Украину погружался – в украинской стороне конная армия тогда постоем стояла.

Сколько жизней человеческих на путях-дорогах тех годов смертью истекло! В людях тогда что-то волчье проявилось – жили и умирали по-волчьи. А потом вша, Боже мой, какую она силу заимела! Железнодорожники, сами голодом изморенные, вошебойки устраивали. Плакат с Лениным повсюду криком исходил: «Борьба со вшой – борьба за социализм». А вша ни перед вошебойкой, ни перед плакатом не отступала.

Что Марк уцелел, факт всему здравому смыслу, можно сказать, противоречащий, необъяснимый. Может материны слезы ему путь размывали, может молитва ее не давала ему пасть, а еще вернее будет сказать, что даже в той беде, какая тогда была, не перевелось добро в людях – доброе было от людей, волчье – от беды. Не раз было так, что когда ослабевший Марк в темный угол вокзала забивался, не думая о смерти, к смерти готовый, чья-то рука протягивалась и поднимала его. То железнодорожники одиноких детей собирали и супом из прирезанной лошади кормили, то воинский эшелон по ложке каши от каждого бойца отнимал и детям отдавал, а то военный комендант, за приметив дитя-доходягу, забирал его к себе в комендатуру, и там мужские руки отмывали его, чаем отпаивали, кусок хлеба ему скармливали и вшу из головы вычесывали.

Такой комендант, человек пожилой и вконец измученный, Марка три дня при себе держал, а потом дал ему кусок хлеба на дорогу и спросил:

«Можешь двадцать верст пешком пройти?»

«Могу», – ответил Марк.

«В двадцати верстах в городе лазарет буденновской армии организован, и там о твоих братьях могут знать. Иди туда, сынок, какая подвода будет ехать, проси подвезти, а не будет подводы, пешком дойди. Отдохнуть не садись, подняться не сможешь. Сил у тебя мало».

«Дойду», – сказал Марк.

К вечеру того же дня он осилил эти двадцать верст.

Пронзительный осенний ветер завывал в телеграфных проводах, гонял по небу плотные серые тучи, как всё одно не ветер он, а сторожевой пес, гоняющийся за разбившейся овечьей отарой. Почерневшей кучей домов стоял небольшой украинский городок из тех, к которым даже железную дорогу не тянули по причине их малоприметности и неважности. На городской окраине, за стеной в два человеческих роста, каменные строения. Монастырь стародавний.

Было уже темно, когда в широкие ворота вошел маленький человек. Никого кругом не было, пусто и страшно. Кое-где через окна домов пробивался свет – какой-то чужой, враждебный.

Ветер, примолкнувший было на час, опять рванул, наполнил булыжный двор шумом и шелестом. Пришедший маленький человек еще глубже вобрал голову в плечи и, словно толкаемый ветром, несмело подошел к тому дому, из которого мутный свет глядел через окна. Стукнул в дверь. Подождал, потом стукнул громче. Щелкнул запор, на пороге невысокий, курчавый паренек в военной одежде.

«Опять ты, паршивец, пришел!» – сердито крикнул он. – «Подожди, завтра я отцу всё расскажу».

Он хотел хлопнуть дверь.

«Постой!» – раздался женский голос. За его спиной женщина в черной косынке. Похожа на монахиню.

«Чей ты, мальчик, и что тебе нужно?» – спросила она.

Маленький человек вступил в полосу света. Марк. Он с надеждой смотрел на женщину. Захлебываясь от торопливости, боясь, что она уйдет, не дослушав, и оставит его в темной осенней ночи, Марк сказал, что он ищет братьев, а они в буденновской армии и комендант со станции послал его сюда.

Женщина взяла Марка за руку, ввела в дом. Курчавый шел сзади.

«Чего же ты не сказал, что пришел со станции? Я ведь думал, что ты из тех стервецов, что тут баловством занимаются», – говорил он.

Марк, теперь уже спокойнее, объяснил, кто он и зачем пришел.

«А в каком полку твои братья?» – спросил курчавый.

«Не знаю».

«Не легко будет найти их», – сказала женщина. – «Армия большая, много в ней полков.

Как твоя фамилия?»

«Суров. Марк Тимофеевич Суров».

На лице женщины появилась улыбка, ее позабавило, что этот малец назвал себя по имени и отчеству. Но улыбка была мгновенной, сразу же и исчезла.

«Постой, да ведь ты из тех. У нас двое Суровых, и оба Тимофеевичи», – сказала она.

В длинном коридоре женщина открыла одну дверь. В свете керосиновой лампы, у круглого стола, сидел Корней. Он читал книгу. Свет с трудом достигал двери, и Корней не мог сразу рассмотреть, кто вошел.

«Кто?» – спросил он, щуря глаза.

«Это я, Марк».

Голос Марка дрожал, ему хотелось расплакаться.

Корней оказался рядом, сжал его плечи ладонями, толкал ближе к свету.

«Не трогай меня, у меня вошей дюже много», – сказал ему Марк.

Дальний угол комнаты тонул во тьме. Видна была койка и на ней смутные очертания человека. Корней проследил за взглядом Марка и лицо его потемнело.

«Тарас это. Нехорошо Тарасу», – тихо сказал он.

Из темного угла донесся совсем слабый, еле слышный голос:

«Невжель Марк? Или мне приснилось?»

Марк стоял и не знал, что сказать. Теперь он видел лицо Тараса – бледное, худое, покрытое испариной. На том месте, где следует быть ногам, пусто. Это было так страшно, что Марк впился ногтями в ладонь Корнея, дрожал.

«Тетка Вера жива ли?» – шелестело с кровати.

«Живая, здоровая...», – еле слышно шептал Марк, не в силах оторвать глаз от того места, где должны быть ноги Тараса, но где одеяло плотно прилегало к кровати.

«А отец? Надо поехать в степь, коня поискать».

Марк судорожно держался за Корнея.

«Что это он? Что он говорит?» – шептал он.

«Тарас опять в беспамятстве», – угрюмо, трудно ответил Корней.

Через четверть часа Марк подвергся ожесточенному нападению. Курчавый санитар повел его вниз, где уже ждала лазаретная сестра, похожая на монахиню. В подвале стоял чан с горячей водой. Санитар заставил Марка раздеться и влезть в чан. Было стыдно, но он подчинился. Пришел Корней, он сильно хромал.

«У вашего брата одни кости да кожа остались, в чем только душу донес!» – сказала лазаретная сестра Корнею, и непонятно было, почему в ее голосе столько укора и к кому он относится.

«Ничего», – сказал Корней, подбадривая Марка взглядом. – «У нас, у Суровых, душа к телу двойным швом пришита, легко не отрывается».

Санитар яростно тер его мочалкой. Мыла не было, его заменяла какая-то зеленая полужидкая масса, которую он не жалел. Не жалел он и сил, словно решил сорвать с Марка кожу. А Марк был во власти только что виденного там, наверху: Тарас без ног. Это очень страшно. Тарас умрет. Так сказал Корней.

Санитар закончил свое дело, и женщина вытерла Марка полотенцем. Почему она плакала, Марк не знал, но думал, что и она Тараса жалеет. Ему самому хотелось плакать, но держался. Санитар куда-то сбегал, принес одежду. «Тарасова», – сказал он.

«А как же Тарас?» – хотел спросить Марк и не спросил. Перед его глазами – плоское одеяло на кровати. Там, где должны быть ноги, совсем плоское одеяло.

Марк был с братьями всего два дня, когда пришел Тарасов конец. Ночью он вдруг громко застонал и позвал Корнея. Братья были у его кровати.

«И чего те пальцы на ногах болят!» – жаловался Тарас. – «Болят и болят».

Марк с ужасом вслушивался в его слова. Пальцы болят, а ног-то ведь нет!

«Ты, Марк, домой поезжай. Не надо с нами быть», – шептал Тарас. – «Мать береги, она для нас всё, а мы – вон какие. Пошлешь его домой, Корней?»

«Пошлю, Тарас. Не думай об этом».

«И не говори матери, что меня видел. Пусть думает – без вести Тарас пропал. Не оставляйте тетку Веру. А коня моего ты себе возьми, Корней. Хороший конь, верный. Отъездился я. И чего так болят пальцы, ноги-то ведь отрезаны! Уморился я очень. Не ругай меня, Корней, что не слушал тебя. Я им за отца платил, за мать. К морю скоро выйдем, а там – плывем».

Тарас опять был в бреду. Кричал. Его глаза были широко раскрыты. Потом и это прошло. Затих он, только тяжело-тяжело дышал. Корней держал руку Тараса, Марк цеплялся за Корнея. Так были они, сцепившись, пока женщина в черной косынке сказала:

«Всё. Тарас умер».

Марк поднял глаза на Корнея, а у того по лицу слезы текли. Лазаретная сестра прижала к себе Марка, хотела, чтобы страх из него слезой вытек, но Марк не плакал, а тихонько стонал, словно закричать хотел, и не имел силы закричать.

Похоронили Тараса на монастырском кладбище, и тут Корней к себе в полк начал спешить, лазарет возненавидел. Врачи не хотели отпускать его, не был он здоров, но что могли они с ним поделать? Нога у Корнея еще не зажила, ему приходилось прихрамывать, а левую руку он всё время держал в кармане. Разрубленная в плече, она всё еще плохо действовала. И всё-таки Корней хотел поскорее к полку вернуться, каждый лишний час в госпитале ему в тягость был.

Через неделю они попрощались с лазаретными людьми. Корней расстался с ними вроде враждебно, словно они в смерти Тараса повинны были. Только монашеского вида сестру он долго и горячо благодарил, а когда все слова у него кончились, он наклонился и руку ей при всех поцеловал. Поехали на тачанке, присланной из полка за Корнеем. Марку надо было быть очень осторожным, чтобы не потревожить руку брата; он видел, как тому трудно подавлять боль, когда он нечаянно ударялся ею о край тачанки.

«Это тебя тогда?» – спросил Марк, заикаясь и кивая головой на левую руку брата.

«Что?» – не понял Корней.

«Ну, рука. Это когда с поляком бился?»

«С каким поляком? Я их много встречал».

«Варвара рассказывала. В газете вычитали».

«В газетах много всякой всячины пишется».

«Расскажи», – попросил Марк.

«Что тут рассказывать? Он на меня, я на него. Он меня шашкой, а я его. Он промахнулся, а я нет. Что же тут интересного?»

«Да, так неинтересно», – признался Марк. При этом он думал, что когда другие рассказывают о Корнее, то получается очень красиво и интересно, а когда он сам рассказывает о себе, то и слушать нечего. «Он на меня, я на него», мысленно передразнил он брата.

«Конь-то Тарасов у кого же теперь?» – спросил Марк.

«Нет Тарасова коня!» – сказал Корней, отвернувшись. Голос его стал сердитым. – «Не знал Тарас, что когда он был ранен, то его конь убит. Нет Тарасова коня. И Тараса нет. Отец, Митька, Гришка, а теперь Тарас».

«Гришка?» – вскрикнул Марк.

Корней снял шапку.

«Ну, и Гришка. От тифа он умер. Не сообщал я матери, не хотел ей горя добавлять».

Значит, нет и Гришки, веселого гармониста и танцора. А мать до сих пор его гармонь бережет. Напряженно подавшись вперед и устремив глаза в сторону от дороги, Корней говорил медленно, с трудом:

«Нет отца. Нет Яшки, Сереги, Митьки, Гришки, Тараса. Мать надеется, что Митька живой, да напрасно это, и его нет. А там еще кого-нибудь не станет, и изведется род Суровых. Тараса вот не сберег. На польскую пушку в одиночку он кинулся, сразили его».

Скупая слеза катилась по щеке Корнея. Не знал Марк, что сказать брату, но жалость к нему наполнила его сердце, и он погладил рукав его шинели.

«Ветер слезу гонит!» – сказал Корней. Он смахнул слезу со щеки и отвернулся.

Через месяц или чуточку больше, когда зима была уже в полной силе, Корней шагал по комнате и в раздражении встряхивал

головой. Марк стоял перед ним, и был он похож на молодого козленка, который уперся рогами в стенку, решив не отступить.

«Ты не понимаешь, Марк, что не могу я тебя таскать с полком. И отправить тебя назад не могу, не доедешь ты. Лучше всего оставить здесь. Я договорился с нашими хозяевами, ты будешь жить у них. Мы недолго будем в походе, через две недели я пришлю за тобой».

«Я не останусь! Не хочу оставаться. И потом, я уже не маленький».

Корней посмотрел на бледное лицо Марка, на котором теперь, как у матери, ясно выделялись конопушки, и вышел из комнаты очень сердитым. Перед ним всё время стояла скорбная фигура матери, и досада играла на его лице. «Я же не виноват, тетка Вера, что дети у тебя такие буйные», – прошептал он, проходя через сенцы, словно его слова могли дойти до матери.

Послал Корней нарочного во второй эскадрон, и скоро тот вернулся в сопровождении высокого бойца с подстриженными усами. Боец был не молод, лет сорока, носил длинную шинель и огромную меховую шапку. Звали его Тихон Сидорович Дороненко, но о том, что Тихон и о том, что Дороненко, мало кто знал, просто Сидорычем называли. Вошел он, с грохотом поставил в угол винтовку.

Скользнув взглядом по Марку, хмыкнул в усы, но ничего не сказал. Пришел Корней, приказал Марку выйти. Когда Марк ушел, он подвинул стул Сидорычу, и сам сел напротив.

«Выручай, брат, ничего не могу с Марком придумать», – сказал Корней. – «Ты знаешь, что нас опять посылают в поход. Взять его с собой опасно, мал он, тринадцати лет еще нет, может погибнуть зазря. Филиппа я отправил учиться, но что делать с этим, самым малым? После Тараса, боюсь я за братьев. Всё-таки, как будто, и я виноват в смерти Тараса».

«Причем здесь ты, Корней Тимофеевич? Ты почти мертвый лежал, когда Тарас на вражью пушку кинулся», – очень спокойно сказал Сидорыч.

«Всё-таки надо было удержать Тараса. В обоз перевести».

Сидорыч мотнул головой сверху вниз и веско, рассудительно сказал:

«Не удалось бы. Тарас не из таких был, что в обозе ездют. Понимаю, что тяжело тебе, но только ведь на войне без крови не

бывает. Ты о Тарасе не думай. Он был настоящий герой, а таких земля долго не носит».

Вскоре Корней и Сидорыч вышли из дома. Корней нашел глазами Марка, он в это время стоял в толпе бойцов, и подозвал к себе.

«Раз ты не хочешь оставаться здесь, то передаю тебя во второй эскадрон в полное распоряжение Тихона Сидоровича», – сердито сказал он. – «Отныне он твой бог и командир, и что прикажет тебе, то ты и должен исполнять. Не будешь слушаться, не взыщи, накажу по всей строгости. Не посмотрю, что ты мне брат».

Полк готовился к походу. Гражданская война окончилась, но не совсем. Остатки ее живучими были, не отмирали. Больше всего другого, советская Россия тогда замирения хотела, но замирение новых вооруженных битв требовало. Как и во всякое другое смутное время русской истории, разгульные силы ход на русской земле имели. Всевозможных батьков и атаманов развелось множество, и каждый Россию на свой лад спасал, в мутной воде смуты рыбу ловил. Был атаман Григорьев, был батько Бульба, была даже атаманша Маруся, но из всех них Махно на первое место нужно поставить. Убогий этот Нестор отцом анархии прозывался, анархию матерью порядка называл и лихие дела под черным флагом творил. Можно сказать, он всей Украиной потрясал.

Конной армии приказали опять коней седлать и потрясателя того с земли шашками выполоть, а полку Корнея было назначено быть передовым, в хвост махновского воинства вцепиться и висеть, пока другие полки подойдут для общего и последнего разговора.

Суровой была зима двадцатого года, морозной, снежными бурями богатой. В такую зиму хороший хозяин собаку из хаты не выгонит, а тут тысячи людей – плохо одетых, плохо накормленных – в украинские степи вышли, чтоб опять правду своей революции оружием подтвердить. Почти два месяца шла выматывающая гонка, которую Махно замыслил для конармейцев. На стороне махновцев были все преимущества, изрядная часть сельского населения, революцией напуганного, поддержку им оказывала – коней свежих давала, теплыми шубами и полушубками от морозов укрывала. Полк Корнея прямо-таки в бедственное положение попал – Махно в таком бешеном темпе свою предсмерт-

ную гонку вел, что поспеть за ним было делом очень трудным. Люди обмораживались, их в госпиталь отправляли, лошади падали, их снегом у дорог заметало. Весь путь полка такими придорожными сугробчиками отмечен был. Главное, что отдыха настоящего не выпадало, не давали махновцы отдыха, гонку вели резво, бойко. Остановятся махновские арьергарды, а в полку радость: привал. Нередко стояли на одном краю села, когда махновцы, по собственным причинам, на другом конце попривалялись.

Большой серый конь Корнея на донкихотовского Россинанта стал похож, но был он большой силы и держался. Держался и Корней, который тогда больше всего знать хотел, как еще долго могут они сносить беду этого похода. Съезжал он с дороги, эскадроны мимо себя пропускал, на глаз прикидывал, какую силу полк еще имеет, и от такой прикидки мрачнел. Поредели эскадроны, человек по тридцать-сорок в них оставалось. Да и эти – долго ли выдержат? Будь бои, ожили бы люди, а то ведь бесконечный переход, кусачий холод, от которого они вовсе не прикрыты. Сидят в седлах сгорбившись, одной рукой в рукаве другой руки тепло ищут, стремяна тряпками и соломой обернули, чтоб ноги от морозных ожогов спасти, не полк, а процессия великомучеников. И лошадям не лучше, а еще хуже. Измотались кони, с трудом идут и каждый из них кандидат на снежный сугроб у дороги. Сходил Корней с седла, за ним и весь полк спешивался. На пешем ходу люди разогреются, да и коням облегчение. Потом опять в седлах качались – одну версту бесконечного пути, одну версту за другой позади оставляли.

Марк был со своим эскадронам, и выглядел он теперь совсем иначе, чем раньше. Теплый полушубок на нем, меховая шапка, валенки. Короткий карабин, не русского образца оружие, у него за плечами висел, шашка с темляком на положенном месте находилась, а так как Марк был еще маловат для шашки, то эфес повыше пришлось подтянуть.

В то время Марково сердце для любви к людям широко открыто было, и весь второй эскадрон малому невыразимо прекрасным представлялся. От природы в нем теткина Верина чуткость была, и замечал он много такого, что другим, быть может, и неприметным оставалось. Если ветер бил слева, бойцы Марка на

правую сторону ставили, собой от ветра отгораживали. В хату попадали и кормились по закону войны тем, что у хозяев было – Марку первый кусок дают и свирепо рычат на него, если отказывается. Заночуют в холодной клуне, бойцы его своими телами так сожмут, что дышать трудно, но зато тепло.

В окружавших его людях Марк черты отца видел, и дело, конечно, не в том, что они на Тимофея похожими были, а в том, что Марку отца не хватало, и это большое счастье, что жизнь безотцовству его не обрекала, а целый эскадрон добрых и хороших людей в отца дала. Но Сидорыч прежде всего, к нему Марк прямо-таки намертво сердцем пристыл, и если его не оказывалось рядом, то он сразу же начинал оглядываться и спрашивать о нем. Впрочем, это редко случалось, чтобы его рядом не было, а так он всегда ехал близко от Марка на своей вислоухой лошадке. Сам он был роста высокого, а лошадь под ним маломерная, и оттого казалось, что не едет он на ней, а меж своих ног несет. Марк очень расстраивался и обижался, когда какой-нибудь зубастый боец из другого эскадрона кричал Сидорычу:

«Эй, дядя, не тяжело тебе кошку-то так нести?»

Сидорыч к насмешкам был равнодушен. При всей неказистой внешности конь у него был добрый, выносливый, и он к нему привык, Крейсером прозвал, а это у него было высшим видом похвалы, так как сам Сидорыч был человек морской и на суше случайно оказался. Марка он принял под свою руку как-то очень просто, неприметно, и тут же начал его к морю приучать. Марк в своей жизни моря не видел, но Сидорычу это не столь и важно было, как совсем неважно и то, что едут они на конях, от моря Бог знает как далеко, и дело их нынешнее, ну, никакого-таки касательства к морю не имеет. Сидорыч даже на коне и от моря удаленный моряком себя понимал, это главное, а всё другое – сухопутное и случайное. До потопления кораблей революционными моряками, он в черноморском флоте боцманом служил, и не случись этого потопления, на сушу не вылез бы. Из его длинных рассказов – времени в походе не занимать – Марк узнавал, что самые лучшие, самые храбрые и самые красивые люди на свете – моряки; что только портовые города – города, а все другие, в сушу засунутые, так себе, вроде временных поселений; что у одного крейсера боевой силы больше, чем у двух сухопутных дивизий;

что черноморский флот был самым лучшим на свете, а в нем самым лучшим был тот крейсер, на котором Сидорыч боцманом служил; что если и стоит человеку на свете жить, то главное для того, чтобы моряком быть, а что касается их сухопутного пути, то Сидорыч был уверен, что он и нужен только для того, чтобы к морю приблизиться.

При всей своей приверженности к морю Сидорыч был конником выдающимся и большим уважением в эскадроне пользовался. С конной армией он с самого ее рождения находился, и каждый ее новый поход считал для себя последним, так как в этом походе путь к морю будет расчищен, и вернется он в Севастополь или хоть в Керчь. На тех, из-за кого поход приходилось предпринимать, он сердился, и сначала деникинцев, потом поляков, потом врангельцев очень охотно бил, опять-таки за это же самое: дорогу к морю перерезают. Вообще говоря, Сидорыч, в своей морской приверженности, мог быть очень даже несправедливым ко многому другому, хорошей цены всему тому, что от моря далеко, он не давал. По его словам выходило, что все войны, походы и кровопролития происходят из-за того, что народы не могут морей поделить.

«Каждому охота к морю задницей притулиться», – поучал он Марка. – «Без моря никакое государство и никакой народ жить не может».

И махновский поход Сидорыч принял как свой последний сухопутный долг. Меж ним и Марком скоро решено было, что после похода, они к морю подадутся, а там для них такая жизнь открывается, что даже подумать страшно, какая это интересная и хорошая жизнь. Марк, как уже сказано, моря никогда не видывал, но Сидорыч в нем мечту о неведомом море пробудил, и он, конечно, согласился следовать за ним хоть на край света, только бы к морю попасть. Теперь Марк знал, что и Тарасу Сидорыч мечту эту прививал. В беспамятстве, в госпитале, Тарас часто море поминал, от Сидорыча та морская мечта у него была. От мысли, что Сидорыч и с Тарасом был близок, Марку хотелось еще теснее к старому моряку притулиться, верил же он ему прямо-таки безгранично.

Но пока, до моря, Марк кавалеристом становился, и получалось это у него вовсе не плохо. Ехал он на невысоком вороном

коньке, а у коня белая звездочка во лбу, хвост волнистый, что редко бывает, ноги сухие, резвые и способные с места так рвануть, что дух захватывает. Как и все другие, Марков конь был походом измотан, но молодость брала свое, и он то и дело забывал об усталости, взмахивал головой и начинал идти танцующим шагом. Воронок, это его кличка, был не первым Марковым конем. До этого была у него большая и сильная кобылица, потом гнедой конь с могучей грудью и после него – серый конь. К каждому из них он готов был привязаться всем сердцем, но не успевал: Сидорыч не давал им долго под Марком быть. У моряка своё на уме было. В батарею присмотрел он небольшого конька с корпусом гончего пса, но командир батареи был железного характера человек, и даже Сидорыч не мог размягчить его. Он требовал в обмен на Воронка артиллерийскую лошадь и указывал на одну такую в первом эскадроне. А бойцу, конь которого полюбился командиру батареи, нравился серый конь из третьего эскадрона. Сидорыч начал длинную цепь обменов. Первоначальную кобылицу Марка он променял в полковой обоз известному щеголю, полковому портному, носившему при себе два револьвера и чугунную гранату на поясе. За кобылицу, он получил небольшую, но крепкую лошадку портного и вдобавок полушубок, который тот подогнал для Марка. С тех пор портной ехал в конце колонны на большой кобылице и, как говорили шутники, делал вид, что ему вовсе не холодно и полушубка не жалко. Лошадь портного Сидорыч променял на злого жеребца, дав в придачу колоду игральных карт. Он возил с собой карты, вызывая всеобщую зависть, но никто не знал, что есть у него запасная колода. Ее он и вручил при обмене. Когда на отдыхе в третьем эскадроне попытались поиграть в карты, то оказалось, что шести не достаёт. Потрясенные в своих лучших чувствах бойцы из третьего эскадрона, с шумом и бранью явились во второй:

«А вы, ребята, на картонках нарисуйте карты, каких не хватает», – поучал их Сидорыч. – «Я вам и картоночки припас».

Коня, за которым явились обманутые, уже не было. Сидорыч быстренько обменял его на одного коня, а этого уже променял на того серого, в которого был влюблен боец из первого эскадрона. Потом, получив наконец артиллерийского коня, он отдал его в батарею, и дальше Марк поехал на Воронке – коне молодом, веселом, радующем морской глаз Сидорыча.

Был очень морозный, но и очень ясный день. Полк растянулся по дороге, и над ним витало марево – пар от людского и конского дыхания. Марк ехал рядом с Сидорычем, когда впереди родился крик:

«Марка к комполка!»

Корней вызывал Марка. Прежде, чем отпустить, Сидорыч всегда осматривал его. И теперь он поправил на нем ремень от карабина, приказал заправить концы шарфа под полушубок и только потом послал вперед.

Поскакал Марк по обочине дороги, догнал Корнея, неуверенно отдал ему честь, как того строжайше требовал Сидорыч. Корней засмеялся:

«Ты совсем бойцом стал, Марк», – сказал он. – «Конь у тебя славный, оружие прекрасное и одет по-походному».

«Сидорыч достал», – сказал Марк. Ему было приятно слышать похвалу Корнея.

«Он вроде отца для тебя», – сказал Корней. – «У меня как-то всегда не хватает времени присмотреть за тобой. Но скажи, Марк, правду: ты очень голодаешь? И почему ты стал так редко ко мне показываться? Я ведь говорил тебе, что ты можешь часть похода проводить на пулеметной тачанке. Там можно поспать, к тому же у пулеметчиков всегда найдется что-нибудь поесть. Сегодня командир пулеметного эскадрона сказал, что ты не являешься к нему. Почему?»

«Все едут верхом, и я хочу со всеми», – сказал Марк. Поглядев на похудевшее лицо Корнея, Марк подумал, что он сам голодает.

«Вы, товарищ комполка, не беспокойтесь, мы не голодные», – сказал он.

«Это еще что за новости? С чего ты вдруг ко мне так служебно говоришь?» – спросил Корней.

Марку так адресоваться к Корнею приказал Сидорыч – по всей военной форме – но не принимает этого Корней.

«Мы, Корней, не голодные», – сказал он, обращаясь к брату в более привычной форме. – «Сидорыч из-под земли выроет, а найдет, что пошамать».

«Слова дурные торопишься перенимать», – поморщился Корней. – «Такие слова городское жулье употребляет, а ты из благородного мужицкого рода. Что ты ел сегодня?»

«Сегодня я еще не ел», – признался Марк. – «Но приедем в село и Сидорыч...»

«Знаю, добудет еду. А время уже к вечеру, и ты голодный. От такого питания, брат, можешь недомерком оказаться. Зачем нам, Суровым, поскребыш малого калибра?»

Марк не мог понять, шутит Корней, или серьезно говорит – если шутит, тогда самое время обидеться. На всякий случай сказал:

«Не маленький же я, сам знаешь».

Вестовой Корнея, Витька, к пулеметчикам на разживу ездил и теперь догнал их. Веселый, красивый парень, и Марк втайне хотел быть на него похожим. Витька-коновод достал буханку хлеба из-под полы и так на Марка взглянул, словно он сейчас победоносную атаку провел и противника в ней посрамил. Подморгнул, ломая хлеб на луке седла, а Марк в это время думал, что без Витьки Корнею совсем хана была бы, но слова такого не произнес, а то Корней опять о благородном мужицком роде заговорит. Маркова мысль верной была, и Витька-коновод взаправду Корнеевым кормильцем был. Армия тогда на самоснабжении находилась, ей не только продовольствия, а часто и оружия не давали – воюй, как можешь! Командиру же, известно, труднее на войне самому прокормиться, чем бойцу, и там, где боец пищу достанет, командир только облизнется и, сохраняя достоинство, голодным останется. Разломил Витька буханку, морозом в камень превращенную, одну часть себе оставил, две другие Корнею и Марку протянул.

Замороженный хлеб кусаешь, как камень, но во рту он оттаивает, и такое теплое, вкусное, пахучее получается, что дух у человека перехватывает и до самой глубины радостью наполняет. Кто не пробовал, не поверит нам, но нет на походе большей радости, чем зубы в мерзлый хлеб вонзить и ждать, когда от того хлеба живой дух пойдет. Некоторое время ехали молча. Марк половину своей хлебной доли в карман спрятал – для Сидорыча – над оставшимся куском трудился, когда Витька перестал жевать и недоеденным хлебом на всадника указал. Тот к ним по степи рвался, к конской гриве припадал, нагайкой работал.

«Из нашей разведки!» – сказал Витька. – «Что-нибудь важное. Вишь, как коня полощет!»

Корней сунул хлеб в руку Марка и рысью поехал навстречу разведчику.

Всё произошло как-то вдруг. Где-то прогремели выстрелы. К полку неслось воюющее и страшное. Всё сразу переменялось. Марку было страшно оставаться без Сидорыча, который сказал бы, что надо делать. Он погнал Воронка назад, ко второму эскадрону. Снаряды рвались в конце полковой колонны. Как-то внезапно увидел Марк, что на дороге корчатся люди и кони. Полк распадался в обе стороны от дороги. Оглянувшись, видел Марк Корнея, удерживающего на месте коня. Он что-то кричал, но слов не разобрать. «К Корнею!» – подумал Марк и повернул Воронка. И вдруг у него перед глазами мелькнули лошадиные копыта. «Это ж копыта Воронка!» – с удивлением подумал Марк. – «Как же так?». Темнота набегала на него. Высоко над ним лицо Сидорыча. Потом ближе. «Вот не сберег, вот ведь беда какая!», шептало это лицо. Из-за плеча Сидорыча тетка Вера глядела. Улыбалась робко, но ободряюще. Марк руки ей навстречу:

«Мамо!»

Мать отодвинулась, расплываться начала.

«Мамо!» – кричал Марк, чтоб задержать ее. Рядом голос:

«Марк в беспамятстве мать поминает».

Чужой и незнакомый голос.

Открыл Марк глаза, уперся взглядом в черное со светлыми заплатами небо. Какое смешное небо! Сознание прояснялось. Не небо, а соломенная крыша. Заплаты – дыры в крыше, через них просвечивает настоящее небо. Марк в просторной клуне. Вдоль стен, на соломе, раненные бойцы. Рядом незнакомое бородатое лицо.

«Где я? Уже убит?» – спросил Марк.

«Ну, зачем же убит!» – сказал сосед. – «Поранили тебя трошки». Потом он крикнул в сторону двери:

«Дочка-Надя, Марка перевязать требуется».

Подошла дочка-Надя. Ее так звали в полку. Было ей не больше восемнадцати лет. Марк часто видел ее, она ехала на санитарной двуколке. Юное лицо, а всегда нахмурено. И к Марку она подошла строго поджимая губы. Режущая боль в левой ноге, Марк тихонько пискнул. Дочка-Надя стащила с него валенок. Он всё-таки не вполне был в себе, потому, что страшная мысль потрясла: отрезают ноги! Перед глазами был безногий Тарас.

«Не дам! Не хочу!» – крикнул он.

Снова наплыло лицо тетки Веры, ободряющая улыбка.

«Ты будешь ждать меня, а я уже буду мертвым», – сказал он матери.

Лицо дочки-Нади перед глазами.

«Ничего, рана не страшная», – сказала она. И совсем по-детски улыбнулась Марку.

Слова и улыбка ободрили его. Он с опаской кругом посмотрел – не заметил ли кто, что плакал он?

Теперь видел всё отчетливо и ясно. Два бойца из второго эскадрона старались перевязать друг друга. Дальше другие раненные. У двери в ряд четверо; они особенно плотно прижимались к земле. Лежали не на соломе, а на снегу, нанесенном в клуню ветром.

Слышна была стрельба, близкая и беспокойная. Марку нужно было следить за собой, чтоб не плакать, быть, как все другие. Стозубое чудовище вгрызалось в его ногу – медленно, неторопливо. Боль темнила сознание. Он начал срывать бинты, наложенные на левую ногу дочкой-Надей. Бородатый боец, что был рядом, навалился на него, держал. Потом он полой шинели вытер вспотевшее, изуродованное страданием лицо Марка. Марк опять был в себе, всё видел ясно и очень четко.

В сарай вбежал Витька-коновод.

«Разведка проспала», – сказал он кому-то у двери. – «Не заметила, что махновцы выставили батарею, вот мы и вкатили под огонь».

Витька привез приказ комполка: дочке-Наде с ее лазаретом оставаться в клуне до наступления ночи, а ночью подойдет обоз и вывезет их в село. Горопясь, Витька рассказывал, что бой разгорелся, полк спешил и занял позицию. Махновцы чуть было не дорвались до наших окопов в снегу, но третий эскадрон атаковал их и отбросил. Теперь они бьют из пушек, но стреляют плохо, не иначе как пьяные, и наша батарея забивает их.

Витька шел через клуню, к раненым присматривался. До чего ж складный парень! Полушубок на нем черный с белой оторочкой; брюки синие с самыми большими пузырями во всем полку; на голове папаха длинношерстная; а сам тонколицый, задористый и весь пружинистый. Немыслимо красивый и боевой парень, но дочке-Наде всё это как-бы и вовсе неинтересно. Витька главное перед нею прохаживался, а она, выслушав приказ, отвернулась,

и это Витьке очень обидно было. Давнее его ухаживание за нею было в полку известно, и все знали, что бравый коновод в этом деле терпит поражение за поражением: дочка-Надя для всех непобедимых полковых ухаживателей неприступной крепостью была; и, может быть, по этой причине особенно, и за это особенно, ее любили, почитали, жизнь ее походную от многого ненужного охраняли. Вот, например, хоть это. Солдат в походе по малой нужде, да и по большой, ни за что далеко в сторону не пойдет и не поедет. Отойдет или отъедет с дороги на положенные для парада десять шагов, ладошкой нужное место прикроет, если по малой нужде, и парад своего эскадрона примет; а если по большой, так и другие эскадроны мимо него прогарцуют. А в полку Корнея нравами это было строго заборонено – дочка-Надя со своей санитарной двуколкой за четвертым эскадроном следовала, и можно ли на ее голубых глазах такое сделать! Когда наступала эта самая нужда, съезжал боец с дороги и в сторону ехал – далеко ехал, а места выбрать всё не мог. С полчаса у него это дело брало, и не всегда удачно получалось. Возвращался и говорил:

«Ездил-ездил до того, что вконец расхотелось. Куда ни заедешь, всё дочку-Надю видишь, а значит и она тебя».

«Да ты в соседнюю губернию смотайся», – советовали ему товарищи.

О дочке-Наде многое рассказать можно, но мы ее тут и оставим – она для нашей истории потеряется. Но прежде, чем потеряется, засвидетельствуем: замечательной та дочка-Надя была, и вовсе не напрасно Витька-коновод сох по ней. Тогда, в клуне, он всё ей передал, всё изложил, а уходить не торопился, и может быть, и еще что рассказал бы, да увидел у дальней стены Марка и нагайкой себя самого по голенище хватил.

«Марк», – крикнул он. – «Да как ты сюда попал?»

Вопрос был неуместный, а то, что радостно он звучал, с обстоятельствами вроде не вязалось, но таков уж был Витька.

«А мы с комполка все канавки осмотрели, всех убитых пересчитали, тебя искали. Комполка говорит, что видел, как ты с коня упал, а куда после того тебя черти унесли, не заметил».

Витька побежал из сарая, и Марку было видно, когда он пронесился на коне мимо открытой двери. Ездил он лихо, скособочившись, и так, словно не едет, а летит человек.

Уже было почти темно, когда в клуне появился Корней, прожогаемый Витькой. Он подошел, волоча ногу, и положил широкую, шершавую ладонь на лоб Марка. Почувствовав жар, потемнел в лице. Дочка-Надя уже рядом стояла. Марку нестерпимо хотелось заплакать от жалости к себе, от боли, от того, что он понимал мысли Корнея, который сейчас винит себя во всем, но он крепился и даже нашел в себе силу повторить слова дочки-Нади:

«Ничего, рана пустяшная и совсем даже не страшная».

Корнею больно было видеть Марка. Вот, лежит еще один Суров и говорит, что рана не страшная. На войне всё маленькими расстояниями измеряется. Ударь осколок на четверть аршина выше, не было бы Марка в живых.

Корней с дочкой-Надей тихо говорил, Марк их разговора не слышал. Он как бы чувствовал себя перед Корнеем виноватым.

«А как Сидорыч?» – спросил Марк, главное, чтоб показать, что он вполне в себе находится и Корнею нечего о нем так уж лицом темнеть.

Дочка-Надя ответила:

«Тихон Сидорович убил!» – сказала она. – «Принес Марка, вышел, а тут осколок ему в висок. У двери лежит».

Сидорыч мертв. Это не умещалось в сердце и сознание Марка. Ему уже не было стыдно, вовсе не стыдно слез. Корней возле него с трудом на корточки опустился – у самого нога от прежней раны еще трудно гнулась. Он погладил Марка по щеке, стер слезы. Сказал гулко, словно каждое его слово камнем тяжеленным было:

«На войне хорошего не бывает, Марк. Живет человек, потом убьют. Чем лучше человек, тем скорее убьют. Тихон Сидорович хороший был. Но не плачь. Каждый свою смерть с собой к седлу притороченной возит».

Корней еще раз погладил Марка по спутанным, мокрым от пота волосам и пошел к выходу из клуни. У мертвых остановился, снял шапку. Потом ушел. Прозвенели подковы копыт. Раненый боец рядом с Марком сказал не для других, а больше для себя:

«Не дай Бог какому ни на есть махновцу на шашку комполка сейчас налететь. С той шашкой теперь встретиться, всё равно, что у Бога смерти просить».

Дней через десять, привезли Марка в тот самый госпиталь, в который он стучался когда-то в ненастную осеннюю ночь; при-

везли еще подавленного горем страшной потери – Сидорыч убит – и в то же время окрепшим в своих мыслях, потому что смерть старого моряка бесповоротно ставила его на тот путь, по которому они вместе начали было идти. Мечта о море, привитая Сидорычем Марку, расширилась в нем необозримо, весь свет, морской и сухопутный, в себя включила, и в этом вовсе ничего странного нет, потому что то было время, когда люди, окружавшие его, мечтой жили, полновесному революционному слову верили и думали, что мир великой правды перед ними открывается.

Поправился он скоро, но его продолжали держать в госпитале, просьбу Корнея уважили. На ноге, пониже колена, коричневый шрам остался, а так нога прежняя – быстрая и бойкая. Рвался он назад к Корнею, а сам неприметно всё глубже в лазаретную жизнь погружался, к новым людям сердцем пристывал. Марково место тогда там было, где его хотели, а в лазарете он скоро свою большую полезность проявил.

Армию политически перемальвали, революционный порыв масс в революционное слово отливали и горячим же, полновесным же было слово то. Оно в самых разных видах до людей доходило – в докладах наезжавших комиссаров, в газетах, на оборточной бумаге напечатанных, в книгах и даже на пивных наклейках. В госпиталь однажды доставили тюк наклеек. На одной стороне «Товарищество пивоваренных заводов», а на другой – слова из Маркса, Энгельса, Ленина, а то и неизвестно чьи слова.

На строгий, искушенный ум нашего времени, эти громкие письма и зовущая, сулящая, всё объясняющая словесность очень откровенно демагогией отдают, но это для нас, опытом обогащенных и историей наученных, а для людей того времени многое иначе, чем нам ныне, представлялось. Тогдашний человек в революционных обетованиях веру и надежду обретал, потому что этот человек, революцией взбудораженный и распаленный, не знал, и Марк, конечно, не знал, что не всякому обетованию можно верить, и не всякому назначено свершиться, а бывает и так: из святого почина черный грех вырастает и почин тот под себя подминает.

Марк, в своем потревоженном детстве, учился в школе урывками, братоубийственная смута его родные степи потрясала, но промеж других, кто в палате с ним был, его великим грамотеем

почитали – другие-то неграмотными или крайне малограмотными выросли – и читал он им всё подряд, и старался понять всё подряд, и пробовал объяснять прочитанное – по-своему, конечно. С утра до вечера палата его голосом была полна, и ковляляли к ней на костылях обезножившие, и шли обезручившие и просто больные из других палат – правду услышать, которую Марк из книг, газет и с пивных наклеек вычитывает.

Но пришло и с госпиталем расставание.

Однажды приехал человек из армейского политотдела. Явился он поздней ночью, заночевал внизу, в холодном пустом складе, а утром к нему позвали Марка.

Водилась когда-то на Руси добротная порода беспочвенных идеалистов, и человек, к которому позвали тогда Марка, был из этой хорошей породы. Из нее в прежние годы иступленное народолюбие истекало, которое то форму благочестивого хождения в народ принимало, то в безумно-смелый терроризм обращалось. Виктору Емельяновичу Пересветову, приехавшему тогда в госпиталь, довелось быть и тем, и другим. Ходил в народ, да не был понят, и тот самый народ, о судьбе которого он душой болел, выдал его царским жандармам. После ссылки примкнул он к боевой организации эс-эров, участвовал в подготовке какого-то террористического акта, но, раздавленный ужасом человекоубийства, порвал с эс-эрами и уехал за границу. Отец, богатый украинский сахарозаводчик, по смерти оставил ему значительное состояние, которое он отдал в большевистскую кассу. В то время он был близок с Лениным. Вместе с ним он вернулся в Россию в смуту семнадцатого года. После прихода большевиков к власти он оказался на крупном посту. Тут обнаружил, что не только народ его в свое время не понял, но и он народа не понимает, не знает, ошибается в нем. Жизнь оказалась сложнее, труднее, запутаннее, чем революционная теория, полюбившаяся ему. Не чувствуя в себе силы увязать свою веру с живой жизнью, запросился он на низовую работу и, таким образом, оказался в скромной роли инструктора армейского политотдела.

Ничего этого Марк о нем тогда не знал, позвали его вниз – пошел. Гость лежал на кипе газет, укрывшись потрепанной шинелишкой. Он смотрел на Марка, а у самого в глазах лихорадка. Улыбнулся какой-то своей мысли и непонятно сказал:

«Да, племя молодое и непокорное».

Сказал как-то так, что Марк пожалел его и поскорее принес ему чай и кусок хлеба, оставшийся у него от пайка. Выпив чаю и пожевав хлеб, Виктор Емельянович поднялся со своего газетного ложа – невысокий, стареющий человек. Лицо освещено совсем голубыми глазами. Их блеск был просто нестерпимым. Гость спрашивал о людях в госпитале, о книгах прочитанных и книгах, которые еще будут они читать. обстоятельно, как только мог, Марк обо всем рассказал ему.

Гость долго ходил взад-вперед, потом сказал, осветив Марка сиянием больных голубых глаз:

«Собирайся, Марк. Поедем, дорогой, учиться. Политшколу мы теперь организуем, и будешь ты в ней. По-настоящему тебе учиться нужно, долгие годы учиться».

Уехал Марк из госпиталя, оборвал нить, идущую от сердца ко всем госпитальным друзьям. Жалко было покидать их, да непреклонен Виктор Емельянович:

«Учиться, дорогой Марк, надо. Много и хорошо учиться».

Смотря в его лихорадочкой заполненные глаза, Марк накрепко поверил: надо учиться!

Но прежде, чем по-настоящему учиться, многое еще должно было произойти с ним и об этом мы, хоть бегло, но расскажем дальше.

V

ЗЕЛЕННЫЕ

Виктор Емельянович сразу заметил то, что было совершенно неприемлемым в Марковой судьбе: учиться ему надо, а не оружием бряцать. Главное состояло в том, что Марк был лишен всех своих собственных ему прав – от родительской любви и водительства оторван, сверстников не знал, великими идеями зажигался, но ни по возрасту, ни по разуму понять их не мог. Это могло стать источником великого несчастья для него. Марк мог этого не сознавать, по-своему он счастлив был и даже любовью не обойден, потому как люди, меж которых он находился, большой дар любви имели, но Пересветов видел, что линию Марковой судьбы нужно

выправлять. Он как раз школу для жадных к учению бойцов создавал. Не такое уж и подходящее место для Марка, но всё-таки лучше, чем непосильная ему взрослая, суровая жизнь, которой он жил.

Кочевала школа вместе с армией, политической называлась, но лучше было бы назвать просто Школой, без всяких прилагательных, но обязательно с большой буквы. В ней людей всему учили, с азов начинали. Многие тут впервые узнавали, что за солидной мудростью четырех действий арифметики есть и еще кое-что. Человеческий скелет, скрепленный медными крючками, изучали и удивлялись – до чего разумно человек устроен. Глобус рассматривали, и от Виктора Емельяновича точных и простых доказательств требовали, что земля действительно вертится. Политическую премудрость схватывали жадно, но черпнуть глубоко не могли – знаний не хватало. Учились на походе, книги приторачивали к седлам, а Виктора Емельяновича и других учителей в обозе за собой возили со всеми их знаниями и готовностью вбить те знания в тугие курсантские мозги. В обозе же возили и скелет, и глобус и еще много чего другого.

За полтора года в Школе Марк вытянулся в росте, стал нескладным и угловатым, как и полагается быть подростку. Его худое лицо с заострившимся носом выражало напряжение мысли, в глазах же появилось что-то похожее на выражение глаз Виктора Емельяновича.

Но Школа неожиданно умерла. Вызвали Виктора Емельяновича в Москву, и больше он не вернулся. Доходили слухи, что его Ленин услал за границу, советскую Россию там представлять, но толком никто ничего не знал, а самым главным было то, что без Виктора Емельяновича Школа была уже не той – словно стержень выпал, вокруг которого всё вращалось.

К осени, в которой пролегает сейчас линия нашей повести, Школы уже не было – расформировали, вернув курсантов в их части. Конная армия теперь стояла на кубанских землях. После махновского похода она покинула Украину. За то время, что Марк в Школе был, суровский род опять урон понес. Где-то в Туркестанских песках пуля басмача обожгла сердце Филиппа Сурова. Еще длиннее стала зауспокойная страничка в поминальной книжке тетки Веры. По ней священник в сельской церкви привычным

бормотанием много знакомых нам имен произносил. За упокой души читал, поминая воина Якова, воина Сергея, Тимофея, воина Тараса, воина Григория, воина Филиппа. В безвестии сущего воина Димитрия поминал. Длиннее зауспокойная страничка в ветхой поминальной книжке тетки Веры, короче страничка, молящая о здравии живых.

Так оно и пришло к осени двадцать третьего года, когда на нити Марковой судьбы еще один приметный узелок был завязан – на память ему и на большое поучение.

По хуторам и горным станицам ползли пугающие слухи. В советском отряде, что бродит в поисках зеленых, есть комиссар, который может превращаться в невидимку. Казачки, приверженные до всего страшного и чудесного, гуторили меж собой, что этот невидимый везде ходит, всё высматривает, всё узнает. В одном хуторе молодая вдова с круглыми, как у совы, глазами как-то проговорила, что невидимый комиссар ночами навещает ее.

«Впервой, когда пришел, постучал в окно», – рассказывала она сгорающим от любопытства соседкам. – «Я, как была в одной исподней рубахе, открыла дверь, а он, охальник, и схватил меня. Да, как стал обнимать, да как стал прижимать, а я, испужамшись, в крик: “Что ты, говорю, над бедной вдовой измываешься! Да кто ты такой есть?” А он отвечает: “Комиссар я невидимый и дюже в тебя влюбленный”».

«Ну, а дальше?» – добивались от нее соседки. Но вдова конец про себя берегла – не выходило конца в ее рассказе.

«Какой там комиссар», – говорили казаки меж собой. – «У этой лупоглазой совы не комиссар, а коваль Лукьян с Бычьего хутора бывает. Всё норовит, чтоб ночью в наш хутор попасть. Постучит к ней и приказывает: “Отчиняй дверь, принимай комиссара невидимого!” Ну, она, конечно, перед невидимым силы не имеет. Вдова молодая, кто ж осудит?»

Казаки заливались смехом и подмигивали друг другу – может и не один коваль Лукьян стучался в окно вдовьей хаты.

Осень оставляла людям много времени для праздных разговоров, и легенда о невидимом комиссаре распространялась легко. Казачки пугали детей:

«Замолчь, ты, неуёмный», – скажет, бывало, мать расшумевшемуся ребенку. – «Замолчь, а то комиссара невидимого позову, заберет тебя в свою торбу».

В кубанских горных местах бывают удивительно неуютные осенние дни. Косые дожди идут. Серая муть вместо неба. Горы, и те горбятся и через серую хмарь кажутся гигантскими людьми в бурках. В такие дни даже в спокойное время дороги безлюдуют, а во времена недобрые, в которых наша повесть протекает, человеку и вовсе не было резона путешествовать: того и гляди, на лихую беду нарвешься. В такой чрезвычайно ненастный день, по горной дороге, совсем один, шел казаченок-подросток, и это опять-таки был Марк, да только на себя мало похожий. В другом своем виде, в буденновском, он в синезвездном шлеме, в шинели длиннополой, и с карабином за плечами, и с шашкой на боку, и с Воронком под ним, походил на Алешу Поповича, как его на картине нарисовали, тут же вся эта похожесть исчезла, и был на лицо казаченок-подросток того приметного возраста, когда его не только в шутку, но и всерьез станичником кличут и, хоть не больше шестнадцати годов ему, уже невесту присматривают. На нем была короткая стеганая куртка, в талии тонким ремешком перепоясанная, сапоги с высокими мягкими голенищами, какие люди в горах носят, кубанка с красным верхом, белым крестом перекрещенным. По нему было видно, что не одну версту, и не две, а много верст он прошел – бледным от усталости был, пот с лица ладонью то и дело смахивал.

Дорога пошла вниз, открылась Марку долина, а в ней хутор, точно такой, как многие другие хутора, виденные им. Эту похожесть создает одноуличность – в долинах хутора в единую улицу растягиваются, а так как казаки простор любят и селятся широко, то на версту, а то и больше те хутора идут. На спуске стало совсем трудно, ноги по глинистой грязи расползались, назад нужно было откидываться, чтобы тормозить их ход. Еще с час времени ушло у Марка на то, чтоб достичь хутора. Шел он меж хатами, через окна казачки и дети выглядывали, собаки лениво из дворов обгавкивали его. Заприметив вдалеке у колодца человека с лошадью, Марк в хаты не стал стучаться, а к нему направился. Широкоплечий казак с седой, беспорядочной бородой смотрел ему навстречу, поджидал. Подойдя и поздоровавшись, Марк попросил напиток, и он молча кивнул головой на ведро с водой: конь уже напился и понуро стоял в ожидании, пока его отведут в конюшню.

Марк пил долго, а бородач очень внимательно с ног до головы – осматривал его. Когда он поставил ведро и вытер рот рукавом, хуторянин с деланным равнодушием спросил:

«Откуда Бог несет, казак? По сапогам если, так ты вроде уже давно грязь топчешь».

«А вы здешний?» – вопросом на вопрос ответил Марк.

«Тутошний».

«Иду из Майкопа, у тетки там живу», – сказал Марк. – «А сам я из Хижняцкой. Может слышали о Кононенкове Тимофее? Так то батько мой, до него иду».

Кононенковых в каждой кубанской станице с дюжину найдется, и Марк ничем не рисковал, называя это имя. Бородач задумался – не встречал ли он Тимофея Кононенкова? В его голосе, когда он обратился к Марку, сквозила уже некоторая доброжелательность:

«Нет, Тимофея повстречать не довелось, а вот у нас в хуторе живет Кононенков Ларион, случаем не родич твой?»

Марк снял шапку и почесал в затылке. Ничего, конечно, не вспомнив, ответил:

«Нет, не родич. Кононенков Сидор, Кононенков Серафим дядями доводятся, есть еще Кононенков Василь, дед мой, да все они не тут живут, а Ларион Кононенков – нет, такого не знаю».

«Как же это ты, идешь в Хижняцкую, а попал в наш хутор? Верст двадцать крюку дал. Може ты из тех казаков, яки всегда идут домой, а приходят в кабак?»

Бородач засмеялся, смеясь, он широко открывал рот крупными желтыми зубами.

Марк еще раз примерился взглядом к крупной, брюхастой фигуре старика и сказал:

«Да я и не пошел бы в ваш хутор, если бы не красные. Встретили на дороге, затащили с собой».

Бородач насторожился, но Марк уже был готов к испытанию:

«Доехали мы до балки, что верст за десять от вашего хутора», – продолжал он. – «Красноармейцы дали письмо и приказали нести сюда, Хлопову отдать. Сказали, что тут каждый знает, где Хлопова найти, вот я и хочу вас спросить».

«А красные куда ж делись?» – сторожко спросил дед.

«Назад подались. Передай, говорят, письмо и можешь своей дорогой топать. А теперь до своей дороги мне целый день грязь месить».

«Пойдем-ка!» – позвал старик.

Направились к ближайшему двору. Конь привычно пошел в конюшню, а бородач повел Марка в хату. У необъятной печи хлопотала старуха. Пахло теплым хлебом и какими-то травами – травы пучками висели на стенах. Хозяин продвинулся в передний угол и сказал Марку сесть рядом.

«Давай, казак, письмо. Поглядим, что там написано», – сказал он.

«Они говорили, что Хлопову отдать».

«Я и есть Хлопов. Тут у нас в хуторе шестеро Хлоповых и надо посмотреть, кому из них письмо назначено».

Марк протянул запечатанный сургучем конверт. Старик достал из-за иконы деревянную коробочку, вынул из нее очки, но прежде чем открыть письмо, сказал старухе:

«Там у тебя борщ остался, да и еще чего погляди. Накорми хлопца, с дороги он. И одёжу ему просушить надо».

Потом он устроил очки на носу и сломал печать. Из конверта выпало несколько листков – декрет Ленина об амнистии зеленым. Он отодвинул их в сторону, и Марк решил, что декрет старику уже известен, он читал его раньше. Кроме прокламаций, в конверте было письмо, написанное на пишущей машинке. Эту машинку Марк знал, в ней не хватало буквы к, и писарь, напечатав бумагу, дописывал её рукой. Старик, как было видно, не силён в грамоте. Читал он по складам, шевелил губами, над каждым словом думал и очень смешно раздувал бороду. Марк уже покончил с борщом и поел вареники, залитые желтоватой сметаной, а он всё еще читал. Закончив, наконец, сказал в сторону старухи, пригорюнившейся у печки:

«Слышь, мать, пишут нашему Павлу письмо. Советуют сдать-ся, пока амнистия в силе».

Потом Марку:

«Павлу Хлопову письмо послано, сыном он нам доводится. Письмо я сам донесу, а ты поживи у нас, нужда в тебе может приключиться».

Хозяин ушел со двора, а старуха сидела в углу у печи и тихонько плакала, слезы подолом юбки вытирала.

Скоро наступил вечер. Шумели за окном тополя, царапали они ветками по крыше. Привидением двигалась по дому старуха. Зажгла каганец. Дремота накатывалась на Марка теплой, расслабляющей волной, и он поддался ей. Сидя у стола, заснул и смутный полусон видел. Незабываемый клыкастый офицер на скакивал на невысокого человека в кепке, а этот человек весело смеялся. Марк узнал его – Ленин. Потом поползла огромная коричневая вша размером с лошадь. Чудовище охватило щупальцами ноги Ленина. Марк отталкивал его, ломал его лапы, и они переламывались с противным сухим треском.

Прикосновение руки заставило его проснуться. Сухо потрескивал каганец. Старуха наклонилась к нему через стол. В полутьме глаз не видно – какие-то черные провалы.

«Ты скажи, скажи мне», – шептала она, – «чи правду Ленин пише, чи верить ему нельзя? Павло один сынок у нас. Ну, а как возвратнется он, а его убьют, что тогда?»

Марк смотрел на нее, и ему хотелось усмирить ее тревогу за сына, но в то же время появилась мысль, что нет у него слов, чтоб утешить ее. Он молчал, и она тихо отошла.

«Ложись спать, я постелила тебе», – сказала она.

На широкой скамье, тянувшейся вдоль стены, уже была приготовлена постель. Сняв сапоги, Марк лег и натянул на себя тулуп, от которого удивительно хорошо пахло чистой овчиной. Такой же запах исходил от тулука отца. Старуха задула каганец, ушла в боковую горницу. Молилась там. Марк слышал ее вздохи, шелест молитвы. Сон овладевал им, но он сопротивлялся. Жизнь приучила его к полусну. Он спал, но каким-то краешком сознания сохранял над собой контроль.

Пока Марк в просторной хуторской хате, мы можем выяснить, как он попал в эти места. Когда он вернулся из Школы Виктора Емельяновича в свой полк, его причислили ко взводу разведчиков. С Воронком встреча радостной была – берегли коня в эскадроне, Марка поджидаячи. На левой задней у коня был коричневый шрам от осколка, и у Марка шрам на левой ноге, от одного снарядного разрыва они их получили. Из братьев никого в полку уже не было – Корней выше пошел, дивизией командовал. Он к себе требовал Марка, да не мог Марк покинуть полк, в котором ему полюбилось, и он полюбился. В нем он меж своих себя чувствовал, демобилизаций тогда еще не производилось, и люди

прежние в полку были, Марку знакомые. Новым был комиссар Лев Бертский. Питомец той интеллигентской еврейской среды, которая, повторяя оторванную от почвы русскую интеллигенцию, производила на свет несусветных фантазеров и невероятных неудачников. Доармейская его жизнь состояла из страстного ожидания, а потом участия в революции, взволнованного чувства всеобщего обновления и полной оторванности от того реального народа, о судьбе которого интеллигенция России жертвенно, но очень неумело заботилась. Бертский был хорошим комиссаром, но чувствовал он себя так, словно отделен от людей своего полка высокой каменной стеной. Марк для него был лазейкой к этим людям. Что же касается Марка, то встреча с Бертским была большой его удачей. Молодой и образованный комиссар просто и легко принял на себя задачу становления Марка, дела, начатого еще Виктором Емельяновичем.

Армия тогда принимала новый облик. Революционная партизанщина гражданской войны стиралась. Переходили на казарменное положение, налаживалось снабжение войск, возникали школы ликвидации неграмотности, клубы, театры. Тогда же начали бурлить новые тревоги в людях. Переходный период затягивался, обрастал новыми подробностями, которые все, как в фокусе, собирались в той страшной нужде, в какой жила тогда Россия. Голод гулял по стране, разруха давила. Люди ждали и требовали от новой власти деловитости, умения, напора в преодолении нужды, но не было деловитости и умения у новой власти, а был только напор, и часто направлялся он вовсе не туда, куда следовало бы. Чтоб накормить голодающее городское население, беспощадному ограблению подвергали землеробческую Россию, а на поверку получалось, что и город не накормлен, и крестьянство разоряется. Те, что оказались у власти, России не зная, говорили об идиотизме деревенской жизни, и тем оправдывали свою беспощадность к тому, что веками в России складывалось и свое право имело и имеет.

Бунтовали люди в городах, бунтовали в селах, да только тогдашние бунты всероссийского размаха не приобрели – смертельная усталость владела народом. Казачьи вольные места в пореволюционные волнения заметный вклад внесли – казаки для этого людьми подходящими были, извечно с оружием дружили. В Москве непокорство казачьих мест вызывало особую тревогу.

Было решено сломить его, да ведь известно – решить легко, исполнить трудно. Казак быстро за шашку берется, да медленно в ножны ее вкладывает. Появились зеленые отряды, совершали они набеги, не давали новой власти корень в казачью землю пустить. Скоро целая казачья область к полному безвластию обратилась.

Конная армия по приказу из Москвы выделила особые отряды, к одному из таких отрядов был придан взвод разведчиков, в котором Марк тогда состоял, комиссаром же отряда стал Бертский. Так оно и случилось, что Марк попал в глухие горные районы казачьей земли.

Месяца четыре бродил отряд по горам. Безо всякой особой пользы блуждал, но с заметным вредом для себя. Измотались люди, вконец подбились кони, а зеленых не видели. Маленькие их группы, человек в двадцать-тридцать, а то и меньше, нападали и тут же исчезали. Не то, что ответно ударить, а даже поглядеть на них не удавалось. Отряд потери нес. Часто, когда шли по горной дороге, со стороны вдруг начинали выстрелы щелкать, пули песню свою затягивали. Спешивался отряд, принимал боевой порядок, но когда доходил до того места, откуда выстрелы шли, никого там уже не было и только пустые патронные гильзы валялись. Погрузив на коней убитых и раненых бойцов, отряд продолжал путь до следующей засады.

В станицах и хуторах красноармейцев встречали почти с открытой враждой. Безропотно давали фураж для лошадей, продовольствие для бойцов, но на этом всё и кончалось – близости с ними население не хотело и за своих не считало.

«Какая же у вас власть?» – спрашивали бойцы у казаков.

«Никакой!» – отвечали те. «А какую же власть вы хотите?» «А зачем нам власть? Нам и без власти хорошо». По прибытии в безвластную станицу Бертский созывал казаков на митинг. Шли неохотно, слушали его речь, о ни о чем не спрашивали и в спор не вступали. Самым трудным было выбрать совет. Казаки не хотели выбирать, не называли кандидатов. Когда Бертский сам кого-нибудь предлагал, разыгрывалась шумная сцена, почти всегда одинаковая. Поименованные комиссаром люди выходили вперед и угрюмо говорили, что они не хотят быть в совете. В одной станице на собрании казак кланялся в землю, просил:

«Ради Бога, станичники, не выбирайте меня. Нужон мне тот совет, як собаке ще один хвост».

Печальными, обидными были результаты похода. Не уничтожили ни одной группы зеленых, не создали ни одного совета, который удержался бы после ухода отряда больше трех дней, а в самом отряде десятки красноармейцев потеряны убитыми и ранеными, зелеными уведено больше ста лошадей, нагло украдено три пулемета.

По-видимому, так же обстояло дело и в других отрядах, что и вызвало приказ: остановить движение и пытаться очистить ближайшие районы.

С этого времени в марковом отряде вся тяжесть дела легла на взвод разведчиков. Отряд стоял на месте, а взвод рыскал в округности, но ничего не находил. Враг был кругом, но враг невидимый и неуловимый. Командир взвода Голяков, великий энтузиаст разведки, а в прошлом донбасский шахтер, готов был локти кусать от злости.

«Скажи на милость», – кричал он однажды своим ребятам. – «Носом чуем, тут они, те зеленые треклятые, а шкрябнуть не умеем. Усех находили – поляков, врангелевцев, денкинцев – а эту малую заразу шукаешь, як блоху в скирде, а она кусь, да кусь тебя в гузно».

При таких речах Голяков страшенно расстраивался и будёновку снимал, а бойцы его взвода друг друга в бок толкали: гляди мол, какая чучела! Был Голяков рослым, крепко сбитым парнем, привлекательности не лишен, но страдал одним недостатком: нестерпимо ненавидел стрижку волос. По этой причине его черные – прямые и жесткие – волосы отрастали до длины прямо-таки непотребной и он их под шлемом прятал. Забудется человек, а волосы из-под будёновки в обе стороны черными вихрами торчат, а снимет шапку – они ему до самого подбородка падают. Ненавидя стрижку, Голяков и оправдание для себя придумал: зарок дал, говорил он, что до победы мировой революции стричься не будет и не станет клятву нарушать. Будёновку носил специальной конструкции, внизу пошире, чтоб волосы ею прикрывать. Но это не важно, а важно то, что Марку он Сидорыча напоминал. У того была морская мечта, а у этого мировая революция, что, впрочем, Голякову не мешало эту самую мировую революцию на то место в поганой словесности ставить, на котором у нас мать почему-то находится. Может быть, по тому же закону любви – лаемся тем,

что дорого. Марк к Голякову был сильно привязан, но, конечно, другой возраст – другая привязанность. Близости такой не было, какая у него с Сидорычем была, но доверял он Голякову так же крепко, как и тому.

Но всё это, пожалуй, и не к делу. Мы ведь не пишем книгу, в которой и о носе героев рассказано, и о щеках их, и о зубах и о всем прочем – как будто человек этим определяется. Нам не так уж и важно, а читателю всё равно, как Голяков выглядел, а важно то, что был он добрый буденновец, гордый своим делом, и разведчик выдающийся. Горевал он от невозможности поближе с зелеными встретиться, почитал это за позор для отряда, и, может быть, горечь натолкнула его на ту мысль, ради которой он Марка однажды за станицу увел и там с ним имел продолжительный разговор. Остановились они тогда у стога сена, коней к нему поставили, а сами на корточки в затишке присели. Голяков закурил, подумал и протянул кисет Марку.

«Кури, позволяю», – сказал он, хоть раньше он никогда Марку закуривать не давал и даже многократно приказывал вовсе не курить.

Пока Марк делал козью ножку, набивал ее махоркой, Голяков молчал, потом, спрятав кисет в карман, сказал:

«Вот что, Марко, хоть Корней и поручил тебя мне на воспитание, но я так полагаю, что ты уже воспитанный боец, и я с тобою, как с равным говорить начну. А может ты ще дитына, Марк, как сам-то ты себя считаешь?»

Долго, почти до вечера, пробыли они за станицей, всё обсудили, обо всем договорились и уже через два дня, экипировавшись под присмотром Голякова, Марк в путь отправился. Голяков был прав. Худощавый казаченок-подросток мало приметен на станичных улицах и на дорогах. Увидел Марк, что зеленые повсюду, и нюх Голякова не обманывает его. На улицах хуторов и станиц встречаюсь вооруженные люди. В дворах кони подседланные. Кое-где играли свадьбы и гости, а часто и жених, с винтовками и при шашках были.

Вслед за Марком двигался Голяков со своим взводом, донесения Марка собирая. Выроет Марк ямку под приметным деревом, зароет в нее бумажку, в тряпку завернутую, а над ямкой ветку обломает – не пропустит Голяков обломанной ветки. Потом в ту

станицу, о которой Марк сообщал, приходил отряд. В ней уже было пусто, зеленые заблаговременно в горы ушли. Придет отряд, а делать ему тут нечего. Но всё-таки Голяков был очень доволен Марком. В одной такой станице, когда пришли в нее, он остановился у хаты и в окно постучал. Старуха-хозяйка выглянула, увидела лохматого буденновца и со злости плюнула.

«А что, бабуся, не осталось от свадьбы пирога?» – спросил Голяков.

«Какого тебе пирога? У нас и свадьбы-то не было». «Ты, бабушка, не грехи, Бог тебя накажет за неправду. Выдала Глашку за зеленого, да я на свадьбу опоздал. А пирога пошамал бы. Люблю пироги с изюмом».

«Чур мини, чур!» – крестилась старуха. Она вправду пекла для зеленых пироги с изюмом, но об этом, кроме нечистой силы и бывших на свадьбе, никто знать не может. А Голяков уже стучал у другой хаты:

«Там у сенцах в застрехе наган, дай-ка его сюда», – приказал он выглянувшей молодойке.

«Якой-такой наган?» – вскрикнула молодойка. Голяков слез с коня и, обшарив застреху, наган нашел.

«Ось тебе и якой-такой», – передразнил он молодойку. – «Да я може не только про наган знаю, а знаю даже кто тебя лапает. Но ты не страшись, мужу не скажу».

Так и обходил Голяков дворы, пугая всех своей осведомленностью, почерпнутой им от Марка, а вслед полз слух, что есть у красных невидимый комиссар, который ходит по казачьим домам, всё слышит, всё видит.

Казалось, что собранные Марком сведения никакой ценности не имеют – так думал и сам Марк, и Голяков, и командир отряда. Узнавали о зеленых много, а что толку? Марк с зелеными и на свадьбах гулял, и всякие разговоры, подходящие его положению, вел, прикидываясь казаченком из дальней станицы, да что пользы от всего этого? Поймать-то их не поймаешь, это и сам Марк Голякову сообщал. В тайных местах они скрываются, открытой встречи никогда не примут. На этой почве между командиром отряда и Голяковым лихой спор однажды вспыхнул, крепкими словами они друг с другом перекинулись, и потом недели две один от другого отворачивались.

«Какая ты, у бисовой матери, разведка, когда мы ни одного отряда зеленых не можем накрыть?» – кричал командир Голякову. – «Да ведь так они тебя самого за косу схватят, сонного да сопливого в горы уволокут. Не разведчик ты, а пехотинец невестельный».

Насчет косы Голяков стерпел бы, привык к насмешкам, но не было для него большей обиды, чем пехотинцем его назвать. Он только разведку признавал за войско, всех остальных почитал при разведке состоящими, а пехоту, так ту вообще ни во что не ставил. Других кавалеристов, что за пределами его взвода разведчиков находились, он считал так себе, балластом, и называл их не иначе, как Ваньками, очень многое выражая не словом этим, а ударением, какое он ему давал. Когда командир отряда назвал его пехотинцем, да еще со многими прилагательными, которые на бумаге не выразишь, Голяков в слепую ярость впал, налетел на обидчика с кулаками, требовал перевода в другой отряд:

«Нет!» – кричал он. – «Не разведка, а твой отряд, матери его черт!, воевать не умеет. Кажинный день я тебе кажу, где и какие зеленые бузу трут, да ведь пока ты со своими Ваньками раскachaешься, усе кочеты выплутся. Ты може думаешь, что они, зараза, сидят в станицах и ждут тебя с хлебом-солью? Раз разведка каже, что зеленые там-то, так ты на крыльях лети, тогда може схватишь, а так – облизнешься. А разведку ты не трожь, без разведки ты будешь, як малое курча. Тебя зеленые затопчут, куча... останется от тебя и твоих Ванёк».

И всё же, как потом оказалось, не зря Марк бродил по тому казачьему краю, и пригодились его сведения для дела. Подавить зеленых оружием оказалось труднее, чем ожидалось, и в Москве решено было объявить им амнистию. В отряд привезли декрет Ленина – прощение тем, кто сложит оружие. Командир и комиссар решили искать связи с зелеными, чтобы склонить их принять амнистию. Они писали письма зеленым, а Марк должен был доставлять их, притворяясь прохожим казаченком.

По этому делу он и в хутор Хлоповых попал.

Ночью разыгралась буря. Ветер шалённо носился по узкой долине, с воем влетал в трубы хат. Позванивали в окнах стекла. Марк спал и не спал. Он слышал шум ветра, скрежет веток по крыше. Но неприметно, обессиленно, он поддавался теплomu сну. Вой за окном переставал быть воем, становился музыкальнее,

и Марку казалось, что играет их полковой оркестр. Звуки оркестра уносились всё дальше, Марк торопился за ними. Потом всё исчезло, и сам Марк исчез, и мысль, что спать ему нельзя, растаяла. Ему казалось, что вот так, бесконтрольно, он спал одно мгновение, но открыл глаза, а за окном уже рассвет брезжил, и буря больше не грохотала. Старуха раздувала в печи огонь, зажигала от него каганец. Когда он загорелся, увидел Марк у двери двух оружных людей. Почувствовал: холодная волна страха поплыла от затылка к ногам. Притворился спящим. Один отделился от двери, подошел к нему.

«Придется разбудить», – охрипшим басом сказал он, легонько толкая Марка в бок. – «Слушай, проснись-ка. Дело до тебя есть».

Марк сел. Над ним человек, закутанный в башлык. По тону, каким он обращался к нему, Марк видел, что опасности пока нет.

«Надо будет тебе, станичник, ехать с нами по важному делу», – сказал казак, раскручивая концы башлыка.

Старуха начала собирать завтракать. Умывшись над лоханью у печки, Марк подошел к столу, за которым уже сидели те двое, что явились за ним. Второй был молод, не старше самого Марка. Позавтракав, собрались в путь.

Под навесом стояли оседланные кони. Выехали из хутора. Мало приметная тропа вела через лес, белеющий корою чинар. На рысях прошли его. По скорости, с какой ехали, Марк решил, что им предстоит короткий путь, в противном случае не стали бы так гнать коней. Ехали часа полтора, почти всё время рысью. Кони притомились, начали спотыкаться.

Марк скоро разгадал простую хитрость бега. Путь нарочно делали длиннее. Когда выезжали из хутора, заметил он вдалеке горную кручу, похожую на спину одногорбого верблюда. Некоторые время ехали прямо на нее, потом она оказалась справа, значит, повернули налево. Позже ее заслонила другая гора, теперь же, когда остановились у ручья, он видел верблюжьей горную кручу, но была она с левой стороны. Прикинув на глаз расстояние, Марк определил, что проехав много верст, они далеко от хутора не уехали. Нарочно закруживали его.

Старший провожатый протянул ему башлык.

«Завяжи глаза, станичник», – прохрипел он простуженно.

Грубая рука ощупала башлык – проверила, плотно ли он прилегает к глазам – конь двинулся вперед, его вели в поводу. Через

некоторое время почувствовал Марк – осторожно конь ступает, по краю пропасти идет. Дорога резко взяла вверх – позади перестук камней, катящихся вниз. Опять шум ручья, он переместился под брюхо коня, потом позади остался. Теперь копыта коней ступали мягко, только изредка цокали подковы о камни.

Остановились, велели сойти с коня. Кто-то взял за руку, повел. Шли вдвоем, третий с конями остался. Вошли под своды – повеяло сквозняком, шаги теперь звучали гулко, отзвук их падал сверху. Запахло мясом. Навстречу им новый голос:

«Сними с него башлык!»

Сняли. Первым, кого увидел Марк, был старик Хлопов из хутора. Рядом с ним стоял рослый, похожий на него, человек лет двадцати пяти. Он был в высоких сапогах, в шапке, в красиво расшитой длинной белой рубахе, поверх которой накинута бурка. Марк огляделся: пещера. Свет падает сверху. Вход, через который его ввели, представлял собой высокую галлерею, сворачивающую в сторону. Ему нужно было очень внимательно следить за собой. Вокруг него были люди – бородатые и безбородые, оружные и без, понурые, хмурые и веселые. По-особенному приметен был старик, на вид очень древний. В его лице, манере стоять, опираясь на палку, было что-то, делающее его похожим на коршуна, высматривающего добычу. В Марка он вперил немигающие, вовсе век лишенные, глаза; губы его, не скрытые редкой бородой, на обскубленную коноплю похожей, шевелились, как будто старик хотел что-то спросить. Но не спрашивал. У этого изветшавшего при жизни старика на боку шашка, а на другом – револьвер в кобуре. Старый полушубок подпоясан тонким ремешком с дорогим серебряным набором, а на ногах, совсем без соответствия со всем прочим, головки от валенок. Кроме него да старика Хлопова, другие люди в пещере были меньшего возраста, а среди них несколько подростков. Оружие вокруг. Винтовки у стен. Шашки. Кинжалы в серебре. Распластав потники, лежали седла, но коней не было. Помосты из жердей, вроде нар. На них – овчины, тулупы, бурки и даже одеяла и подушки. У дальнего конца печь, дым вверх идет, а вверху отверстие-расщелина, выходит дым. Освежеванные бараньи туши на колышках, вбитых в щели каменной стены.

Человек в белой рубахе, что рядом с старым Хлоповым был, подвинулся к Марку. По тому предпочтению, какое оказывали

ему другие, Марк решил, что он тут старший. Значит, это и есть Павел Хлопов, командир зеленых.

«Расскажи, как красноармейцы дали тебе это письмо», – сказал он Марку. – «Нам надо всё знать. Что они тебе говорили? Может не всё ты отцу передал?»

Молодой Хлопов почти не примешивал к своей речи местных жаргонных слов.

«О чем он? Чего я не рассказал?» – билась в голове Марка взволнованная мысль. – «Уж не догадались ли они?» Но его голос оставался спокойным, когда, почти слово в слово, он повторял свой рассказ. Выслушали его, молчали, вдумывались. Потом старший Хлопов ступил шаг вперед, повернулся к сыну:

«Ты уж извиняй меня, Павло, что я вперед тебя гуторить зачну. Або пусть Ипат Николаич зачнет, он тут годами старший».

Хлопов повернулся к старику, похожему на коршуна, но тот мотнул ему головой:

«Кажи ты, Матвей, я после скажу».

У старика был очень сильный, прямо-таки могучий голос.

«Я так думаю», – запуская руку в бороду сказал Хлопов. – «Самое заглавное во всем этом деле есть, чи можно доверять советскому декрету. Оно, конечно, плетью обуха не перешибешь, нам с нашими малыми силами стоять супротив красной армии затруднительно, однако ж держаться в горах можно».

Старик-коршун внимательно слушал, потом ворвался своим могучим голосом:

«Да чего ты, Матвей, туды-сюды мотаешь, як конячий хвост? Кажи напрямик, ты за то, щоб сдаваться, или щоб биться с той властью, яка нам на шею села, да ще плетью нас погоняе? За що ты сам-то, Матвей, вот що кажи!»

«Вот и я ж кажу», – продолжал Хлопов. – «Власть, что и гуторить, не дай Бог даже турку-нехристу. Однако же, може, она и образумится. Продразверстку вот отменили. Грабежей новых не слышно. Конечно, власть поганая, да мы одни ту власть не перекричим. А и поддаваться ей нельзя».

Хлопов могуче раздул бороду и замолчал. Нельзя было понять, ратует он за то, чтоб вернуться по домам, или не верить амнистии и оставаться в горах. Каждый истолковал его речь так, как ему самому хотелось, и поднялся тут шум. Покрывая остальные голоса, гремел старый коршун.

«Не быть тому, щоб я пошел на поклон. Усех нас к стенке поставят, усех изведут, никому пощады. А то, що пишут Павлу командир да комиссар, так то всё брехня! Посылают посыльных, письма шлют. Надо бы и этого чертеня поспрашивать, чи он не из ихней кумпаньи. Я чув, що у них есть такие зверята».

Старик повернулся к Марку, облил его волной ненависти из слезящихся глаз, прошипел:

«Попался бы ты мне, сучье вымя, я б тебе показав, як письма носить. Ты б у меня сказав, якої ты есть почтарь и кто тебя послал мутить добрых людей».

Молодой Хлопов отстранил старика, не дал ему до конца вышипеть его угрозы, сказал:

«Не трожь хлопца, дед Ипат. Вреда он нам не принес».

Спор достиг высокого накала. Дед Ипат плюнул в сторону Марка, отодвинулся. Его голос опять возвысился над всеми другими. На него налетел немолодой казак. Со стороны казалось, что он сейчас вцепится в бороденку Ипата. Потрясая перед его лицом кулаком, кричал:

«Нечего нам в горах сидеть. Дети, жинка дома, хозяйство без присмотра».

«К бабе под бок захотел?» – гремел дед Ипат. – «По бабе соскучился?»

«Ну, соскучился, ну, захотел! Тебе-то, чорту старому, под бок у бабы нечего делать, рази только бородой в щекотку игратья».

Спор грозил перейти в драку. Но раздался негромкий, властный голос молодого Хлопова и все затихли:

«Драться тут не к месту и не ко времени. Надо разумно решать, гуртом решать, да так, чтобы правильное решение было».

Павел говорил спокойно, все присмирели. Сказал, что дело это всех касается. Сам он любому решению подчинится. Сказал, чтоб те, что сдатья хотят, в сторону отошли, а те, что за продолжение борьбы, пусть на месте стоят.

Люди задвигались. На месте остались только дед Ипат и с ним еще четверо, а остальные отошли.

Вечер обитатели пещеры коротали в разговорах, в чистке оружия. Спозаранку залегли по своим местам, о чем-то шептались. Высокий пожилой казак с пашкой на боку возился у печки, ужин готовил. Суп в большом котле покрывался жирным наваром.

Пещера постепенно погружалась во тьму. Свет из расщелины сверху становился слабее. Зажгли два костра, по стенам запрыгали гигантские тени. Молодой Хлопов, писавший всё время, пока сверху падал свет, теперь пересел к костру, продолжал писать. Казак постучал от печки ложкой о сковороду, глухой этот звук ударился о каменные стены, рикошетом отскочил от них и медленно умер. Люди потянулись к печке, получали в котелки суп и возвращались на свои места. Старый Хлопов принес два котелка – один себе взял, а другой Марку дал.

Павел кончил писать, подошел к отцу и Марку. Отец принес ему в котелке суп, но он равнодушно отодвинул его.

Кое-где уже раздавался храп людей. На помосте, между Павлом и его отцом, для Марка оказалось место, и он, до подбородка натянув бурку, скоро согрелся. Молодой Хлопов лежал на спине, курил, тихо рассказывал, а его рассказ доходил до Марка в каких-то обрывках. В буденновской армии до самого конца войны с поляками он был. Назначили командовать эскадрой, в партию он вступил. Так ему тогда хорошо было, что и сказать немислимо. В Польше ранение, домой поехал. Приехал в хутор таким апостолом, что хоть сразу на кресте за коммунистическую веру распинай. А потом стал примечать: новая власть большую нелюбовь к народу имеет, жалости в ней нет. Забирали хлеб. Угоняли со дворов скот. Как всё одно новое татарское нашествие. Продотряд приехал, в нем не рабочий люд, а больше городская босотва. Хуторских стариков для острастки расстреляли. Павел не стерпел, на коне в горы подался. Партийный билет порвал и по ветру развеял. К нему другие нестерпевшие начали прибиваться, зелеными себя заявили, а его командиром выбрали.

Укрывшись с головой ворсистой буркой, Марк уже спал. Не слышал конца рассказа, хоть и старался дослушать. Рядом тяжело дышал старый Хлопов. Пещера угомонилась, погасли костры, только груды раскаленных углей тлели, от них нежный отпечаток красного бархата вокруг лежал.

В дальнем углу не спали двое – старый Ипат и сын его, Александр, молчаливый человек лет тридцати пяти. В гвардии он до первого офицерского чина дослужился, потом с белыми был, а когда белая эвакуация началась, к отцу вернулся, а тут отец и вовлек его в борьбу, которой он сам не хотел: ему было наплевать, какая власть существует на Руси, лишь бы его не трогали.

С вечера Ипат приказал сыну не спать, а близко перед полночью толкнул его в плечо.

«Слушай», – прохрипел он ему в ухо. – «Этот щенок не иначе, как ихний шпион. Прикидывается дурачком, а сам всё глазами поводит. Требуется хорошо его спросить».

«А зачем?» – вяло откликнулся сын.

«Ежели узнаем, что он подослан к нам, то все эти дураки напугаются, не будут амнистии веры давать», – хрипел Ипат в ухо сына.

«Ах, батько, может и нам вернуться. Что мы можем сделать, когда вся Россия притихла».

На красно-бархатном отблеске стен появились две тени. Они медленно перемещались вглубь пещеры. Марк вдруг почувствовал, что к нему кто-то прикасается. Сон мгновенно отлетел, но он не показал, что проснулся. Прежде надо понять, что происходит, так учил Голяков. Марк остался лежать, притворялся спящим даже тогда, когда услышал голос старого Хлопова:

«Что вам тут надо? Чего вы тут?»

«Хлопца надо спрашивать». Марк узнал в шопоте клеток старого Ипата. «Може подослан к нам».

«Незачем его спрашивать», – равнодушно сказал старый Хлопов. Он зевал. «Хлопец, як хлопец, никаких особенных делов за ним нету».

Рядом задвигался Павел, он поднялся на локтях, сказал:

«Ты, дед Ипат, выбрось из головы эти штучки. Питать хлопча мы не дадим. Иди на свое место и спи. Не тебе за всех решать. Александр, ты бы утихомирил отца, а то он на всех кидается, как та цепная собака».

«Нишкни ты, щенок!» – прошипел старый Ипат, – «Я тебе еще правов не давал судить меня».

«Добре!» – сказал Павел Хлопов. – «Уходите, пока я еще не окончательно проснулся».

Больше Марк в эту ночь не сомкнул глаз. Слышал, как дежурный разжигал печь. Поднялись с помоста Павел и старый Хлопов, но Марк делал вид, что он спит. Лишь, когда Павел потряс его за плечо, он сбросил бурку. Командир зеленых выглядел иначе, чем вчера. Затянутый в синий казачий бешмет, плотно облегающий талию, он казался даже выше ростом. На самые брови надвинута кубанка из тонкого каракуля. Красивая шашка на боку, на плече –

карабин. Пещера рокотала голосами. Кое-кто плескался водой – умывался. Другие, собравшись в круг, громко переговаривались меж собой. Когда Марк сбросил с себя бурку и сел, старый Хлопов подвинулся к нему, сказал:

«Так вот что, Марк Кононенков, просьба к тебе. Свези письмо красным, и если они захотят, приведи их посла к нам для разговору. Павло тебя проводит, всё расскажет и покажет».

Ополоснув лицо ледяной водой из кадки у печки, пожевав холодной баранины и хлеба, Марк был готов. Старый Хлопов завязал ему глаза башлыком, молодой взял за руку, и они двинулись. Опять сверху падал отзвук шагов, потом подул свежий ветер, полный гниловатых запахов осени. Значит, вышли из каменного хода на простор. Марк запомнил: сто одиннадцать шагов в скалистом коридоре. Помня путь в пещеру, он готовился к крутому спуску, но спуск на этот раз был почти неприметным, и дорога короткой. Через четверть часа спокойного шага по чуть покатою дороге, Павел снял с его глаз башлык. Оказались они на том же месте, на котором вчера Марку завязали глаза. Здесь их ждали. Подседланные кони с опущенными подпругами выедали овес из торб. Молодой казаченок, с которым Марк ехал вчера, стоял придулившись к дереву. На охапке сена спал другой вчерашний спутник Марка. Разбуженный Павлом, он вскочил на ноги.

Марк залюбовался одним из коней. Редкой красоты дончак. Несколько удлиненная горбоносая голова. С каждым взмахом головы, взлетала вверх пустая торба, из которой конь уже выел овес. Ему не стоялось на месте, перебирал он ногами – сухими и сильными – похрапывал, толкался о бока других коней. Павел снял с него торбу, отвязал, повод вручил Марку.

День опять был пасмурным и дождливым. Чудесный конь нес Марка так, словно совсем не чувствовал тяжести. Он всё время просил повод, переходил с рыси на галоп. Марк помнил, что они должны выехать к опушке леса, от которой начинается вчерашняя тропа. По ней будут ехать до тех пор, пока гора, похожая на спину верблюда, исчезнет из глаз за другой горой. Но на этот раз путь их был совсем иным. Свернули на еле приметную лесную просеку и скоро оказались на голом пологом месте. Прямо перед ними лежал хутор. Марку был виден колодец, у которого он встретился со старым Хлоповым – теперь возле него какая-то казачка полоскала белье. Легко было различить и дом Хлоповых,

в котором Марк ночевал – из его трубы шел дым. Невольно взглянул Марк на своих вчерашних спутников. Близкую дорогу от хутора они вчера удвоили, а то и утроили, чтобы спутать его. Старший понял, о чем думает Марк, усмехнулся. Павел торопил. Они выехали на дорогу, пошли рысью. По этой дороге Марк шел в хутор. Она ведет к пустынному тракту, который тянется в станицу, где стоит отряд. Остановились у одинокого дуба, вытянувшего ветки над дорогой. На недалекой лесной опушке сарай для сена, почерневший от непогоды.

«Запомни это место, Марк», – сказал Павел, кладя руку на гриву его коня. – «Если придется тебе вести сюда посыльных, так не забудь, что остановиться надо под этим дубом и ждать, пока от нас придут».

Он подал Марку пакет, перевязанный крепким шнурком. Марк хотел было сойти с коня, но он остановил его и сказал:

«Слезать не требуется. Поедешь на нем в станицу. Вручи его командиру отряда и скажи, что конь посылается в подарок товарищу Буденному. Я всё написал».

Павел отвернулся, потемнел лицом. Но потом справился с собой и глухо сказал:

«Конь добрый, хороших кровей, на таком не стыдно ездить».

Крупной рысью рыжий красавец понес Марка по пустынной дороге. Долго еще, оборачиваясь в седле, видел он трех всадников у приметного придорожного дуба; они смотрели ему вслед.

Вечером Марк вошел в дом, занятый взводом разведки. Надо было бы отнести пакет прямо в штаб и отвести туда коня, но во взводе такое нарушение субординации строго каралось. Прежде надо доложить командиру взвода. Голяков привел Марка в штаб. Встретив отрядного писаря, он равнодушно и вроде как-бы безразлично справился у него, где командир отряда.

«Зачем тебе командир?» – спросил писарь. Этого было достаточно, чтобы Голяков вышел из себя.

«Эх ты, чернильна муха!» – сказал он. – «Да як это ты, дурень, спрашиваешь? Та може я везу такой секрет, что тебе, карпатуму, и доверить нельзя».

Из соседней комнаты выглянул Бертский, увидел Марка, быстро подошел, спросил:

«Привез что-нибудь?»

Марк молчал, как того всегда требовал Голяков, зато Голяков наслаждался. Он растягивал слова, со вкусом докладывал:

«Так что докладываю, товарищ комиссар. Военное задание Марк выполнил на ять и письмо привез». «Где письмо?»

«Зараз доложу. Письмо в кармане». «В каком кармане?» «В моем». «Давай!»

«Зараз. Кроме того, привел Марк для товарища Буденного коня».

«Давай пакет!» – взревел Бертский, чего с ним никогда до этого не случалось.

«Зараз!» – невозмутимо тянул Голяков. – «Прошу заметить, что разведка работает классно».

Голос Бертского стал тихим. Он приблизился к Голякову и шипел, оскалив зубы:

«Ты, ихтиозавр, отдашь ты мне пакет?»

«Ну, ясное дело, отдам», – тянул Голяков, запуская руку в карман шинели. – «Для того и пакет, чтобы командиру и комиссару, для того и разведка, чтобы пакет достать и Ваньков от позора спасти».

Бертский вырвал у него пакет и ушел в другую комнату.

«Вот скаженный», – добродушно сказал Голяков. – «Ну, няк не може без тих поганных слов. А ще студентом був. А, промежду прочим, Марко, що це таке, яхтизав?».

«Не знаю!» – сказал Марк.

Голяков задумчиво шевелил губами. Писарь чему-то смеялся, и Голяков решил его не спрашивать. Поманив за собой Марка, он направился к выходу, но, как видно, непонятное ругательство Бертского требовало дальнейшего исследования.

«Так не знаешь, що таке яхтизав?» – спросил он Марка, когда они вышли. «Не знаю».

«Значит, ты ще не настоящий разведчик, який всё должен знать. А сколько верст до Царства Божьего?»

«А вы знаете?»

«Я?»

Голяков даже остановился от изумления.

«Чи ты сказывся, що Голякова спрашиваешь? Да, я, Марк, може знаю усё на свете и в землю на три аршина дывлюсь и всё в ней бачу. Я тебя про яхтизава спрашивал для проверки, да ты ще мало знаешь».

Но так как и сам он не знал, что это такое, то от дальнейшего опасного разговора уклонился.

Голяков с Марком еще и не дошли до своего взвода, а в штабе отряда уже шло совещание. Командир и комиссар заперлись в комнате, никого не пускали, о чем-то жестоко меж собой спорили. Доносились выкрики командира употреблявшего ударные слова.

Вечером, когда Марк сидел в жарко натопленном доме, занятом разведчиками, и с вожделием поглядывал на груды соломы под лошадиными попонами, на которой они спали вповалку, совещание в штабе закончилось. Командир приказал писарю вызвать Марка.

Марк явился. Всегда, когда он видел Бертского, ему хотелось смеяться. Комиссар старался походить на старого рубаку. Ходил он вразвалку, завертывал из махорки огромные самокрутки, и хоть от махорочного дыма зеленел, но продолжал курить. Презиравая в душе шашку, считая ее нелепым оружием, которому трудно найти в наше время применение, он всегда был при шашке, но почему-то она висела у него не на боку, как у всех других, а на левой стороне живота. На правом боку был у него огромный маузер в деревянном футляре, но и он имел поползновение перемещаться с бока на живот. По комиссарской манере тех лет одевался Бертский чрезвычайно выразительно. Носил желтые сапоги, желтую кожаную куртку, желтую кожаную фуражку. Но особенно замечательными были его брюки, сшитые из красного бильярдного сукна. Красное галифе – верх шика, о них все буденновцы мечтали, но претендентов на красные шаровары было больше, чем бильярдных столов под красным сукном на путях-дорогах конной армии, и потому редко кому счастье улыбалось. Бертский сукно как-то достал, но полковой портной странно сшил ему брюки. Отвислая задняя часть и огромные пузыри галифе неожиданно переходили в тоненькую трубочку, обтягивающую худые ноги комиссара. В довершение всего портной нашил по сторонам брюк, на высоте колен, ряды блестящих пуговиц – тогда и это модой допускалось. Вышло очень здорово! Казалось, что из под кожаной куртки комиссара видна широченная красная юбка, а ноги в красных чулках. Так и ходил комиссар, затянутый в желтую кожу и красное сукно.

Когда Марк вошел в комнату, Бертский и командир сидели у стола.

«Поедешь завтра с товарищем Бертским на то место, какое назначил для встречи Хлопов», – сказал командир Марку. – «Он пишет в письме, что тебе всё показано. Вот ведь, казачья душа, со всех сторон хочет себя обезопасить. Пойдет с вами второй эскадрон, но вы его верст за пять до места встречи оставьте и езжайте вдвоем. Вот только мы не знаем, как быть. Они тебя видели перодетым и не помешает ли то, что ты сейчас появишься у них в твоём настоящем виде?»

«Скорее всего, они догадались, что я послан от отряда», – сказал Марк.

Через два дня у приметного придорожного дуба остановились два вооруженных всадника – один облитый желтоватой сметаной и издали заметный по ярким красным брюкам, а другой – в длинной шинели, в будёновке с огромной синей звездой. Тот, что в красных брюках, ехал на высоком рыжем и некрасивом коне с опущенной головой, второй на маленьком вороном коне с пятном шрама на левой задней ноге. Бертский и Марк. Эскадрон, проводившей их, остался позади, и к дубу они явились вдвоем. Здесь слезли с коней. Бертский волновался, размашисто ходил вокруг дуба, ждуще оглядывался. Да и как было не волноваться? Лев Бертский впервые встретится лицом к лицу с зелеными. Марк привязал коней к дереву, принес охапку сена из сарая и, дав его коням, опустился на корточки. Прямо перед ним был сарай, из которого он только что взял сено, за ним начинался лес.

Кругом такая тишина, какая бывает только в пасмурный, но тихий и теплый осенний день. Случаются такие дни, похожие на прощальный привет лета. Они приходят внезапно, когда осень, как людям казалось, вполне завладела всем вокруг – когда и дожди стали уже холодными, и деревья потеряли листву и стоят безнадежно опустив ветви, и земля побурела от полегшей травы. Нисходят такие бессолнечные, теплые дни в мареве белесых туманов, в какой-то всепокоряющей тишине, словно невидимое солнце пролило на землю не лучи, а потоки парного молока, сквозь которые не пробивается ни один звук.

Сидя под деревом, Марк думал, что встреча может и не состояться, но сказать свою думу комиссару ему не хотелось. По дороге к дубу, заметил он далеко в стороне всадника, на миг мельк-

нувшего меж деревьев. Скорее всего, Хлопов уже знает, что посылные от советского отряда приехали в сопровождении эскадрона. Могут напугаться зеленые, могут уклониться от встречи.

Мысли сонно текли в Марке. Если уклонятся, придется тогда опять бродить среди гор, искать и не находить зеленых, ждать предательского выстрела. Если такой выстрел повалит его, то Воронок обязательно остановится и будет щекотать ему лицо своими шершавыми губами – всегда он так делает, когда Марк засыпает у его ног на привале.

Бертский кружил вокруг дуба, поминутно вытирал кожей рукава вспотевший лоб, сдвигал фуражку на глаза, потом щелчком по козырьку водружал ее на самой макушке.

«Чего он мотаается?» – думал Марк. – «Шашка и маузер опять на пузе. Привязать бы к поясу».

Сонный взгляд Марка уперся в сарай. Дверь приоткрыта. Марк приподнялся, чтобы пойти закрыть, но из сарая вышли Павел Хлопов, за ним старик, похожий на коршуна, и еще тот молодой казак, что хлопотал у печки в пещере. Старый Ипат шел, опираясь на палку и выставив вперед бороденку, словно готовый пронзить ею весь свет.

Бертский заспешил к зеленым, а Марк думал про себя, что Голяков изругал бы его последними словами, узнай он, что не заметил Марк другого хода в сарае. Зеленые, конечно же, вошли в сарай со стороны леса.

Бертский поочередно всем пожал руку, вел зеленых к дереву, на ходу сказал им, что приехали они с эскадроном, но оставили его позади.

«Хитрый какой», – подумал про себя Марк. – «Они и без тебя знают, что с эскадроном».

Павел и Марку руку протянул, а поняв, почему Марк глаза прячет, засмеялся:

«Мы знали», – сказал он, – «что ты подослан к нам, да не хотели пугать тебя».

Подал Марку руку и тот, что варил в пещере суп, но старый коршун только посмотрел на него блеклыми недобрыми глазами, не поздоровался.

Хлопов пригласил Бертского ехать с ними в хутор. Получив согласие, он кивнул пещерному кашевару и тот свистнул. Свист

получился слабый, бессильный пробить волны парного молока, которым стал воздух.

«Свистни еще, да покрепче», – приказал Павел. – «Может не услышать».

Но прежде, чем казак исполнил приказ, Марк вложил два пальца в рот и засвистел так, как когда-то в степи, когда овец пас. От такого свиста, перенятого от чабанов, овцы сбиваются в кучу, а собаки грозно скалят клыки. Лошадь Бертского испуганно рванулась, а Воронок поднял голову, наострил уши и весь напряжился.

«Здорово!» – засмеялся Хлопов.

Пещерный повар оскалил прокуренные зубы в улыбке, а дед Ипат остервенело плюнул в сторону и невнятно выругался.

С опушки леса показался всадник, он вел за собой подседланных коней. Марк узнал его – тот самый казаченок, который приехал в дом Хлоповых за Марком и потом провожал его.

Двинулись к хутору, пробыли в нем весь тот день и под вечер выехали в обратный путь. Завершили дело так удачно, что лучше и не надо. До придорожного дуба их провожал Павел всё с тем же казаченком Остапом, с которым Марк в тот день почти-что подружился. У дуба распрощались, комиссар и Марк поехали дальше. Въехали в лес, и тут Бертский вдруг очень радостно засмеялся и, хлопнув Марка по плечу, не сказал, а выкрикнул:

«Карфаген пал, Марк. Нет ничего лучше, как возвращаться победителями».

Марк не понимал, о каком Карфагене заговорил Бертский, да это и не было важно. Они достигли полной удачи, вот что главное. В воскресенье Хлопов приведет отряд в станицу сдаваться. Бертский настаивал – в станице советская власть сдачу зеленых примет, а не на хуторе. Самому Бертскому сдача хлоповского отряда рисовалась началом всеобщей сдачи зеленых. Вспомнил он деда Ипата.

«Какой силищи человек, этот дед Ипат», – сказал он Марку. – «Я не мог его ни в чем убедить, он не сдастся».

Дед Ипат во весь тот день плевался, и Марк заметил, что плевался он каждый раз, когда смотрел на красные штаны Бертского.

«Я боялся, что дед Ипат плюнет на ваши штаны», – сказал Марк со смехом. – «А Остап мне сказал, что другие казаки, а осо-

бенно казачки, решили, что раз вы в красных штанах, то вы и есть самый главный представитель Ленина».

Всю дорогу, до встречи с эскадронам, они смеялись, вспоминали события этого дня, и обоим им казалось, что другой такой удачливый день и не придумаешь.

Воскресный день, на который была назначена сдача зеленых, выдался хоть и пасмурный, но без дождя. Голяков с утра был в хлопотах. В глубине души успех Бертского он приписывал себе и своему взводу разведчиков. С утра он сказал своим бойцам:

«Наш взвод, товарищи, через Марка забеспечив сдачу хлоповского отряда, и у переговоров був також комиссар Бертский. А теперь, як сама сдача есть дило не военное, а политическое, пусть Бертский действует. У нас свое дило есть. Я чую, що в станице сѣдни будет до чертовой матери сякого народу шкандыбаться. Зеленых меж ними будет, к той мошкары – захотят знать, як Павло Хлопов оружие ложит. Тут нам надо вухо остро держать, а то як бы нам мозги не выпали из головы в то мисто, яким мы седла лакируем».

После этого Голяков долго переругивался с командном пулеметного взвода, требуя от того две пулеметных тачанки. Получив и поставив их в скрытых местах, откуда они могли бы обстрелять улицы, он полез на церковную колокольню и оставил там разведчика с ручным пулеметом.

К середине дня площадь заполнилась людьми. Много казаков из хуторов и соседних станиц. У некоторых из них подозрительно оттопыривалось на боках – прятали наганы и обрезы – но командир и комиссар решили ничего этого не замечать.

В полдень командир дал приказ строиться у деревянной трибуны, над сооружением которой всё утро хлопотал взвод красноармейцев. Бертский умудрился достать полотнище кумача и трибуна выглядела очень торжественно. Марк с Голяковым были на левом фланге, все остальные разведчики были поставлены у пулеметов и на чердаках домов. Промелькнуло несколько знакомых лиц, заметил их Марк, когда был у Хлоповых с Бертским. Укутанная в черный платок, прошла стороной старая Хлопова.

Бертский нервничал. Наступило уже назначенное время, а зеленых не было.

«Как ты думаешь, не передумали они?» – спросил он, подойдя к Марку.

«Нет, не передумали!» – заверил Марк.

«Откуда ты знаешь?»

«Люди из хутора Хлоповых тут есть. Зазря не пришли бы».

Бертский вернулся к трибуне. Из боковой улицы, совсем не оттуда, откуда они ожидались, появились всадники. Впереди на огромном вороном коне Павел Хлопов. За ним, строем по два, люди его отряда. Меж других, увидел Марк и Остапа, рядом с ним Александра, сына Ипата. А старого коршуна не было. Марк улыбнулся Остапу, как старому знакомому, хотел подбодрить его. Но тот не нуждался в ободрении. Он весело поблескивал глазами, улыбка растягивала рот.

Зеленые спешили у трибуны. Бертский каждому пожал руку. Шашка и маузер мешали ему, сползли на живот, но он не замечал и, путаясь в них ногами, обходил зеленых. Марк насчитал тридцать три человека. Значит, человек пятнадцать осталось с дедом Ипатом.

Павел Хлопов, комиссар и командир отряда поднялись на трибуну. Бертский произнес добрую речь. Слушали хорошо, аплодировали. Потом говорил Павел. Признавал свою вину, просил за себя и своих прощения у советской власти. Красноармейцы вместе с зелеными и всеми другими, кто тут был, кричали ура. Зеленые сложили у трибуны оружие, привязали коней, которые по какой-то своей лошадиной нужде начали сжевывать красное полотнище. Но у Бертского и командира отряда был свой план. Командир объявил, что сдаче подлежит огнестрельное оружие, а из холодного только то, какое военного образца. Казачьи шашки оставить казакам. С лошадей были сняты армейские седла, казачьи же седла с бархатными и кожаными подушками остались на конях. После этого командир сказал, что зеленые могут забрать своих коней и считать их собственностью. Это вызвало одобрителный гул.

«Перекуем мечи на орала!» – громко крикнул комиссар, и люди опять гаркнули ура, хоть вряд ли поняли, что он от них хотел.

Торжественная часть кончилась. Зеленые с красноармейцами менялись на память кисетами. Остап подошел к Марку. На ходу он отстегивал свою шашку.

«Возьми, Марк, это наш тебе подарок. Все наши решили дать тебе мою шашку».

Марк был уверен, что у него прямо-таки паршивая натура. Всегда, когда случалось вот такое, неожиданное и доброе, в нем теплая волна к горлу поднималась, грозила слезой его опозорить. Молчал Марк. Принять от Остапа шашку – стать вроде кровных братьев. Побрататься с ним хорошо, но что он может ответно ему подарить? Голяков шипел из-за спины:

«Бери, дурья башка! Дари ему свою шашку, а я у него сразу и отниму, як военного образца».

Все слышали его шипение, смеялись.

Остап перекинул Марку через плечо тонкую, отделанную серебром португепю. Смотрел весело, словно ему вовсе не жалко дедовской шашки. Марк вспомнил: часы. Подарок Корнея. Замечательные часы – большие и тяжелые. О них нельзя забыть – они оттягивают карман. Работают так громко, что тиканье слышно даже тогда, когда Марк едет рысью. Крепки, как утюг – он ронял их, но они не останавливались и продолжали тикать. К тому же они приблизительно правильно показывают время.

Марк подарил Остапу часы, но разве их можно сравнить с шашкой? Расставшись с Остапом, подошел он к Бертскому, рассказал ему о случившемся. Комиссар сразу решил, что казакам должен быть сделан достойный ответный подарок.

«Это требуется в политических целях», – сказал он Марку.

«Но что?» – спросил Марк. – «Что я могу подарить Остапу?»

Бертский подумал.

«Вот что. Давай подарим ему твоего коня».

«Воронка?»

«Это, Марк, не просто ответ на подарок, это уже большая политика. Надо склонить симпатии зеленых в нашу сторону».

Отдать Воронка – это для Марка всё одно, что оторвать кусок своего сердца.

«К тому же мы должны применяться к казакам», – продолжал Бертский, который с некоторых пор в глубине души считал себя знатоком казачьей души. – «Их надо подчинять себе лаской, доверием, уважением к их традициям. Если мы достойно не ответим на подарок, над нами будут смеяться. Так и решим, ты даришь Воронка и берешь его коня».

Марк уходил от комиссара подавленный. Свою шашку он нес в руке, а та, в серебре, что была у него на боку, уже казалась ему немилой. Из-за нее он теряет Воронка.

В это время к площади приближался одинокий всадник на рыжей худой лошади. Он ехал шагом, чуть наклонившись в сторону. Дед Ипат. На боку шашка, за плечами длинная винтовка дулом вниз.

Зачем прилетел ты сюда, горный коршун яростный и неукротимый? Иль ослабло твое сердце и принес ты повинную голову? Иль нет у тебя больше сил летать? Зачем прилетел ты сюда, старый Ипат, в горле которого бьется клекот хищной птицы?

Молча ехал древний дед. К гриве коня хмурым взглядом тянулся, меховая шапка на самые глаза надвинута, редкую бородавку в грудь упирал. Мерным шагом шел старый рыжий конь, и было в этом всаднике и его коне что-то мрачное, пугающее, словно встали они из могилы и едут так уже давно – неторопливо, безостановочно, вечно едут.

Когда Ипат появился на площади, все с удивлением обернулись в его сторону, он же, никого не замечая и не отвечая на приветствия, к трибуне коня направлял, а у трибуны зеленые с красноармейцами толпились. Тут был и сын Ипата, Александр, к нему-то и ехал старый отец. Доехал, остановил коня, хмуро посмотрел на сына и спросил. Очень тихо спросил:

«Александр, зачем ты тут?»

Сын молчал. Скупая старческая слеза вдруг набежала на бледно-голубые глаза деда Ипата, голос его стал почти нежным, когда он повторил свой вопрос:

«Сашка, зачем ты тут?»

«Отец», – торопливо сказал сын. – «Ты знаешь, зачем я здесь. Не хочу воевать».

Старик отвел глаза, пожевал губами, а потом свинцово, мертво взглянул на сына.

«Нет, того не будет, чтоб мой сын сдавался. Не хочу я умирать с позором».

«Отец, ты уже стар, не понимаешь».

«Замолчь, недомерок!» – проклекотал дед Ипат. – «Не быть тому! Не быть моему сыну на коленях перед антихристовой властью. Хай Бог простит мой грех!»

Всё произошло мгновенно. Выпрямился старик в седле, молнией блеснула в его руке выдернутая из ножен шашка и упала молния на голову сына. Все растерялись. Сразив сына, дед Ипат вонзил каблук в бока коня и рванулся вдоль площади, прямо на

Марка, который, скорее всего, случайно, попался ему на глаза. Увидел Марк налетающую на него лошадиную морду, а над ней ощеренное лицо деда Ипата и над ним занесенную шашку, услышал клекот хищной птицы:

«Попался, змееныш!»

«Марка зарубав!»

Это кричал Голяков, первым пришедший в себя. Он бежал к упавшему Марку и, изрыгая поток ругани, стрелял из нагана. Марк не был убит, спасло падение на землю. На какую-то долю секунды он упал раньше, чем шашка упала на него. К нему бежали, а он, не вставая, рванул из-за спины карабин. Но лающая очередь пулемета с церковной колокольни уже настигла старого коршуна. Однако, правда, что есть на свете люди, каких пуля не берет. На всем скаку грохнулся о землю рыжий конь, далеко отлетел от него легкий дед Ипат. Но тут же он подхватился на ноги. К нему бежало много людей с винтовками и ненавистными звездами на шапках-шлемах. В сухой комок собралось лицо старого казака, хищное излилось в горловом клекоте и полоснул он шашкой по раскрытому в крике рту красноармейца, по ненавистной звезде на шапке, по всему свету, против которого он в одиночку стоял. С воем повалился на землю человек со звездой, но уже близко были другие.

Все видели, как дед Ипат, перекрестившись, всем телом бросился на свою шашку.

«А ты помнишь, Воронок, ту дорогу? Я тогда ведь и не почувствовал, как упал с тебя на мерзлую землю. Твое копыто мелькнуло перед глазами. У нас с тобой и память осталась от того дня, Воронок – у тебя шрам на левой задней и у меня на левой шрам. А потом, Воронок, помнишь, как водили тебя в обозе? Я вернулся, и ты сразу узнал меня. Теперь расстаемся навек».

Марк всхлипнул, крепко закусил губу и оглянулся вокруг – не видел ли кто его слабости, не слышал ли позорного для бойца всхлипывания. Но поблизости никого не было. Марк с Воронком стоял на дороге, тянущейся через пригорок. В одну сторону к станции, расплзшейся улицами и переулками в низине, в другую – к лесу, к горной гряде, через которую река пробила узкое ущелье, а еще дальше – к хутору, в котором Хлоповы живут и куда Остап уведет Воронка.

Воронок словно понимал, что расстаются они. Всегда жизне-радостный, игривый, он стал вдруг печальным, и эта лошадиная печаль вонзилась в сердце Марка нестерпимой болью, так как это была ведь и его печаль.

Из станицы показались всадники, за ними – подводы. Среди верховых, рядом с Хлоповым, краснел штанами, курткой, фуражкой Бертский. Тут, на пригорке, и произошел обмен конями, и к Марку перешел невысокий конек Остапа. Долго отказывался Остап от подарка, краснел, прятал глаза, и только тогда, когда Павел строго приказал ему взять Воронка, он принял повод из рук Марка. Бертский опять произнес речь о том, что этим скрепляется дружба между бывшими зелеными и советской властью. Павел согласно кивнул головой, и всадники тронулись дальше. Бертский и Марк долго стояли на пригорке, и Марк никак не мог избавиться от чувства, что при прощании Воронок посмотрел на него сначала сердито, потом осуждающе, а потом очень-очень грустно.

Разлука с Воронком очень горькой Марку была, но судьба всему свой срок назначает, и в то самое время, когда он горевал, судьба готовила для него и новые испытания, и новый маршрут в жизни. Поздно ночью пришел Голяков, разбудил его и приказал явиться в штаб. Там все были на ногах. Прибыл курьер из Майкопа. Отряд только через курьеров связь держал, другой связи тогда не было. Иногда курьеры пропадали в пути, убиты зелеными, но случалось, что и доезжали.

Тому, которого Марк застал, придя в штаб, повезло в пути, но не повезло в штабе. Ехал он в сопровождении взвода охраны и пробыл в дороге два дня. До Майкопа полтораста вовсе не гладких верст, два дня на них – не так и много, но командир отряда думал иначе. Когда Марк вошел, он всё еще неутомимо распекал курьера – невысокого, крепкого комвзвода.

«Вам, товарищ комвзвода, не срочные приказы возить, а кислое молоко!» – кричал он. – «Два дня в пути, когда от нас срочно ответа ждут. Командарм ждет. Крайний срок – полночь с понедельника на вторник. Видите, сколько вы нам времени оставили?»

Марку командир отряда махнул рукой на соседнюю комнату. В ней были писарь и Бертский. Писарь стучал на машинке, в которой не хватало буквы «к», а комиссар что-то быстро писал.

Марк стоял и слушал стук машинки, скрипение Комиссарова пера. Покончивши с комвзвода, командир отряда вошел в комнату.

«Предстоит тебе, Марк, решить не простую задачу», – сказал он, садясь рядом с Бертским. – «До завтрашней полночи мы должны доставить в Майкоп донесение. Тебе может удаться сделать это за такой срок. Тяжесть в тебе небольшая, коню терпимая. Выдержишь?»

Марк стоял, потупив голову. О себе он не думал, привык к седлу, но конь? Воронка нет, а только он, так казалось Марку, мог бы пробежать этот путь.

Командир продолжал:

«Ехать тебе через район, где действуют зеленые, но посылать охрану бессмысленно. Эту дистанцию в такой срок может проделать только одинокий всадник. Вперед я выслал взвод, он прочистит для тебя самый опасный участок дороги, а дальше двигайся сам. Нарвешься на зеленых, донесение уничтожь и поступай, как подскажут обстоятельства. Надеюсь, что не нарвешься. Зеленые сейчас об амнистии раздумывают и не очень охотно нападают».

«Надо ему сказать о Воронке», – билась в Марке мысль. Но сказать он не успел.

«Поедешь ты на том коне, что Хлопов в подарок Буденному прислал», – продолжал командир. – «Конь сильный, должен дороге выдержать. Что от него после такого перегона останется – не знаю. Со взводом, высланным вперед, я отправил и этого коня. Взвод будет тебя ждать в двадцати пяти верстах. Доедешь туда на своем коне, а там уже пересядешь на дарёного. Его тем временем подкормят».

Бертский закончил писать, проверил напечатанное писарем, расставил недостающую букву и сказал, что донесение готово.

В два часа утра, спрятав пакет под подкладку шлема, Марк ушел, и вскоре мимо штаба простучали копыта бегущего коня. Это Марк торопил большеголового, мышинной масти конька, полученного от Остапа. Луна выплыла из-за облаков. Бледный свет упал на огромные скалы, на леса, растущие в долинах, посеребрил реку. Одинокий всадник углубился в лес, потом появился у начала ущелья и исчез в нем. Бойкий перестук копыт возвещал, что он неумоимо убегает всё дальше и дальше.

VI ПЕРЕВАЛ

О дорогах в те времена рассказывать – совсем никчемное дело. Заросли дороги травой, вовсе пустыми были. Потревоженные годы научили людей без самой крайней нужды из станиц и хуторов не выезжать – на дорогах тогда всякая, то красная, а то зеленая чертовщина водилась. В те годы человеку своим был только тот, кого он знает, с кем вместе живет, а всякий случайно встреченный – опасен. Начто уж длинный путь Марк проделывал, а за всю дорогу повстречалась ему подвода с какими-то древними стариками, да еще малец на коне, посланный по какому-то чересчур уж неотложному делу. Старики с брички и мальчонка с коня на Марка со страхом глядели, а он сам их боялся и постарался поскорее разминуться.

.....
В полночь они были на окраине Майкопа.
.....

На железнодорожных путях, у самого перрона, стояло три больших салон-вагона. Это был поезд командарма Буденного. На привокзальной площади было много тачанок и верховых коней. Лошади ковырялись в сене, брошенном на землю. Втиснув меж них Вершка так, чтоб он мог доставать сено, и не обращая внимания на ругань коноводов, принесших корм для своих коней и коней своих командиров, Марк пошел на перрон. Часовой не пустил его, свистком вызвал начальника караула. Тот выслушал, приказал ждать. Через несколько минут он вернулся и позвал его в вагон.

В небольшом купе Марка встретил рыжеусый человек с коротко остриженными седеющими волосами и с чрезвычайно квадратным лицом. Начальник штаба. Увидев перед собой такого невзрачного курьера, он пошевелил усами, не человек, а таракан запечный. Доложив о себе, Марк полез в шлем, запустил руку под подкладку. Там было что-то мягкое – размоченное, расплывающееся под пальцами. Начальник штаба принял размякший пакет, молча ушел. Марку показалось, что, выходя, он бросил свирепый взгляд в его сторону. Дежурный, развалился на мягком

диване, читал газету, а Марк стоял, не смея без разрешения приступить. Он был подавлен тем, что не сберег пакета. Пот разъял бумагу.

Часы на столике показывали начало второго. Прошло всего четверть часа, как он вошел в вагон, а ему казалось – вечность прошла. Робко присел на краешек дивана. Дежурный посмотрел на него, ничего не сказал. Щеголевато одетый адъютант заглянул в купе и поманил Марка за собой.

Его привели в салон, переполненный людьми. Тут сидели командиры, вызванные для доклада. Невысокая женщина разносила чай. Буденный в расстегнутом френче у маленького столика в углу. Он повернулся в его сторону, и Марку показалось, что и командармовы усы сердито зашевелились.

«Подойди сюда!»

Как сквозь туман услышал Марк приказ. Подошел, козырнул и снова отрапортовал, что прислан с донесением из отряда. Хотел добавить, что признает себя виновным в порче пакета, но Буденный не дал договорить и, повернувшись в сторону, сказал:

«Посмотри, Клим, на этого хлопца. Отмахал полтора года верст, и в ус себе не дует».

На Марка надвинулся невысокий человек с круглым лицом и с широко поставленными глазами.

«Как же он может в ус дуть, если у него нет усов?» – сказал он. – «Ты, Семен Михайлович, прикажи ему дуть в твою, они у тебя такие, что и вдвоем их вам не раздуть».

Ворошилов оглядел Марка с головы до ног, спросил:

«А ты чего это, товарищ молодой, такой сердитый?»

«Я не сердитый», – заикаясь сказал Марк. – «Боялся, что ругать будете».

«За что?»

«Донесение испортил. Размокла бумага».

Рыжеусый начальник штаба, усмехаясь, пояснил:

«Этот парень спрятал донесение в шапку, как гонец от Кочубея. Это есть такое у Пушкина. Но выдаст шапку только с бою, и то лишь с буйной головою. По дороге потел, разъял пот бумагу. Да только командир отряда предвидел это и завернул донесение в клеенку, размокла только обертка».

Все засмеялись, а у Марка отлегло от сердца.

.....

Дочитав, командарм опять на Марка взглянул.

«Так ты, значит, брат Корнея Сурова? Посмотри, жена», – крикнул он женщине, разносившей чай. – «Это Корнеев брат».

.....

«И что вы ребенка мордуете!» – вмешалась женщина. – «Его накормить надо, а они разговорами занимаются».

.....

В крошечном купе с одним мягким диваном было жарко. Женщина принесла тарелку с мясом, чай, белый хлеб. Потом приносила что-то еще, но Марк, привалившись к спинке дивана, спал. Проснулся он, когда уже день наступил. Внизу стучали колеса, поезд шел.

.....

Марк почистился, напился удивительно вкусного чая, когда за ним пришли. На этот раз в салоне были только командарм и Ворошилов...

Ворошилов встал, подошел к Марку и нажимом руки на плечо заставил его сесть. Крупными шагами он прошелся из конца в конец салона.

«Надо кончать воевать, Марк Суров!» – сказал он. – «В твоём замечательном возрасте нужно учиться. Придется тебе, товарищ дорогой, разоружиться – повоевал и хватит. Кем ты хочешь быть?»

Марк не знал, что ответить. Он много и горячо мечтал о будущем, но как-то никогда не отводил для себя места в нем. Себя он всегда представлял в боях, походах. Иногда он в своих думах видел себя убитым и с тоской поеживался в седле при мысли о матери.

«Ну, хорошо», – сказал Ворошилов. – «Ты об этом еще не думал. Поедешь в Москву. Дам я тебе письмо, пошлют тебя учиться. Тебе надо атаковать сильную крепость, наукой называется. Это, братец мой, крепкий орешек. Сдавай оружие и за настоящее дело берись».

Прошло два дня, и Марка послали в неведомое.

Осенний ветер гулял по степи, с лихим посвистом налетал на города и села, выл дурным голосом в тесных улицах, а там, смотришь, уносился ввысь и безобразничал среди туч – гнал их по небу, сбивал в кучу, а то вдруг начинал разгонять, рвать на шматки. Надоедало ему в вышине забавляться, опять падал на землю

и выл в трубах домов, гудел над рощами и селениями, на что-то жаловался, кому-то грозил.

Доставалось от ветра и поезду. Был это тягучий, медленный поезд, из потрепанных вагонов составленный. Шел он натужно, останавливался часто; скрипел всеми суставами, но шел. В сторону Москвы путь держал. Налетал ветер на вагоны, как будто хотел столкнуть их с рельс, крепко ударялся о деревянные бока, врывался через окна, в которых не было стекол, и торопливо, воровато шнырял вокруг. В одном вагоне натыкался он на паренька. Низко надвинутая на глаза будёновка, длиннополая шинель, истоптанные сапоги. Паренек неотрывно смотрел в окно, за которым медленно проплывала степь – осенняя, почерневшая.

Марк ехал в Москву.

Мало мы о нем рассказали, чрезмерно торопливо, но главное всё-таки сказано. Если революция формирует людей, то Марк – чистейший продукт от того формования. Жизнь вытолкнула его из детства и повела через революционные ухабы – неученого, малого, ответов на вопросы не знающего. В том, что судьба делала с Марком, должен быть, обязательно должен быть, свой смысл и кажется нам, что он таким был: поглядеть, что выйдет из человека в новую почву, в революцию, корнями вросшего, ничего, даже воспоминаний, за революционными пределами не имеющего, и бедой, трудом, ударами закаленного, и нормального родительского водительства лишённого, и совсем в одиночестве среди людей войны оказавшегося – посмотреть, что выйдет из этого, от детства потрясенного человека, и куда он дальше пойдет.

Но это наши мысли о нем, сам же Марк вовсе о другом думал, грусть расставания им владела. Голякова, Бертского, ребят-разведчиков ему больше не видеть, а привык он к ним, сжился, и мир без них казался ему просто немислимым... Тетка Вера ждет, что он к ней в село вернется, да другими, далекими от матери дорогами его водит, а что водит, этого он, конечно, не знал, как не знал ничего из того, что его впереди ждет. А что позади остается, было четким, понятным, и очень дорогим. Даже эта степь, за окном плывущая, даже ветер пронзительный и шумный – понятны, привычны. Может быть, ветер и носится-то с таким разбойным посвистом потому, что хочет ему проводы в неизвестность пропеть.

Часть вторая

ВЫСОКАЯ НИЗЬ

VII

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ

Локомотив утробным пыхтением позвал за собой вагонную череду, оторвал от перрона, и побежала она за ним, каждым окном на старушку в черном поглядела, каждым колесом ей прощально щелкнула. Старушка в самом конце перрона стояла, ковшиком ладонь над глазами держала, от солнца прикрываючись, и в сторону убегающего поезда глядела. Вырвал локомотив череду вагонов из великой путаницы рельс, прогнал мимо товарных пакгаузов, сортировочных горок, заводов, взрытых пустырей, а там и на широкий простор увел. Побежал поезд через дачные поселки, мимо деревенок далеких и близких, городков многохрамовых, через поля, первые зеленыя из себя выгоняющие, побежал через Подмоскovie, в весне купающееся и глазу отрадное.

В одном вагоне над окном нависал молодой парень. На первый взгляд, ничего в нем примечательного – таких на советской земле миллионы. Костюм на нем мосторговского качества и стиля, рубаха-косоворотка, кепка из тех, что специально придуманы людей уродовать, ботинки тупорылые – что-то среднее между солдатским и городским фасоном – одним словом, парень, и всё тут. Встречавшись с ним раньше, нам вовсе не трудно было бы признать Марка и теперь, хоть, конечно, изменился он изрядно. Это был уже не тот худощавый подросток, несвойственно его возрасту обряженный в шинель и будёновку, которого мы оставили в поезде, идущем в Москву; через шесть лет, в поезде, удаляющемся от Москвы, мы видим его рослым, широкоплечим, по внешности совсем другим. Но, понятно, не по ширине плеча и не

по росту человек опознается, а по многому-другому, а это многое-другое в Марке так ясно просвечивало, что ошибиться нам было бы невозможно: всё тот же это Марк.

Если чужим, поверхностным взглядом его окинуть – парень, как парень, миллионного издания, а если иначе поглядеть, как мы глядим, то не безличие миллионов в нем, а он сам с его судьбой и его путем. Раньше всего, любовно и заинтересованно на него взглянув, увидели бы мы, что печалью он подавлен, в его серых глазах она дымком стоит и убегающими назад верстами пути, и широкой и радостной картиной Подмосковья не смывается, едет с ним в далекую дорогу. И вовсе не трудно было бы нам понять, отчего печаль эта. Ведь в конце перрона тетка Вера стояла, вслед поезду гляючи. С нею Марк в мыслях был. Передний край его дум она занимала, но дальше, просвечивая через нее, шесть московских лет вслед ему глядели, и о них, не думая, думалось ему.

Годы эти начались в тот день, когда скрипучий поезд привез его в Москву. Мальченка в синезвездном шлеме даже во времена, когда люди ничему не удивлялись, был не совсем-таки людскому глазу привычным, и на него оглядывались. Обошел он тогда всякие военные и невоенные учреждения, и скоро его судьбу определили – в университет послали и сказали: дальше сам выгребай. Легко сказать – выгребай, а как выгрести, когда у парня за плечами так мало, да к тому же еще и потревоженных школьных лет? Учился он в селе урывками, когда родители, прежде чем детей в школу пустить, выходили во дворы и прислушивались – не стреляют ли. Война кругом полыхала, жизнь степного села до крайности уродовала. Пересветов и потом Бертский приподняли Марка, да ведь и они в короткий срок чуда над ним совершить не могли. Люди в Москве говорили Марку – выгребай, но не верили, и он сам не верил, что можно выгрести. В университете его спросили и очень недовольными остались: как это такого к ним шлют! Самый старый из тех, с кем Марк говорил – другие его профессором называли – не столько удивленный, сколько напуганный, воскликнул:

«Ваши знания состоят из сплошных пробелов!»

Марк не понял. Мял в руках будёновку, оправдывался:

«Не мог учиться. В армии был».

Вдруг ему показалось, что это Виктор Емельянович перед ним.

«Я обещаю. Буду стараться», – сказал Марк. Профессор поправил очки, пригладил седые волосы – тихо, словно по секрету, сказал:

«Дерзай. Нет ничего невозможного, если человек хочет».

Жестоко голодал Марк – стипендия была крошечной. Терял веру в себя. Впадал в отчаяние перед могущественной сложностью уравнений, углов, корней и химических формул. Но каким-то образом всё же выгребал. Через два года рабфаковской подготовки, университет на Моховой улице столицы втянул его в себя, растворил.

Марк не то, что помнил, а словно кожей чувствовал прожитое. Он был частицей взбудораженного поколения взбаламученного времени. Молодежью владел азарт революционного разрушения. На историческом отделении, на котором он был, история изучалась в жесточайшей критике. В прошлом ничего не было неоспоримого, ничего абсолютного. Брались за изучение философии лишь для того, чтобы разрушить философию. Переплетали учение с политикой. Часто учение переставало быть главным.

Марк шел своим путем. Приехал он в Москву комсомольцем. Кандидатом, а потом членом партии стал. Никаких особых переживаний это не вызывало: единственный путь, данный ему. Просто и без усилий он шел им.

Стоя у окна вагона, Марк улыбнулся. Ему подумалось, что в шести московских годах было и много забавного. Горячие головы бились над проблемами не столько важными, сколько смешными. Несколько лет спорили о том, можно ли носить галстук. Марк помнил суд. На сцене стол под красным. На стене – фанерная богиня правосудия. Приколочена криво. У нее на весах деревянный галстук. Взвешивалась его вина. Юра Вегун и другие судьи. На боковой скамейке Галстук. Из синей гардины, снятой с окна, над головой студента завязан огромный бант. Концы падают вниз, обрамляя лицо. Живой человек вшит в огромный галстук. В руках у него – для ясности – фанерное объявление: «Я – мистер Галстук». Почему мистер? Подсудимый признавался в преступлениях. Вызывая смех зала, он говорил напыщенным слогом.

«Подсудимый Галстук, служил ли ты капиталисту?» – спрашивал Юра Вегун.

«Да», – признавался мистер Галстук. – «Порядочный капиталист никогда не появлялся в обществе без меня, не то, что студент московского университета. Кстати, учитывая благородство моего происхождения, прошу обращаться ко мне на вы».

«А помещику?», – спрашивал Юра. – «Служил ты ему?»

«Помещик относится к благородному обществу, к которому принадлежу и я, мистер Галстук. Мне и с помещиком по пути».

«С рабочими и крестьянами ты водил дружбу?»

«Что вы, что вы?» – возмущенно махал мистер Галстук концами синего полотнища. – «Я родился среди господ и для господ. Прикосновение рабов меня оскорбляет».

Так было установлено, что мистер Галстук является классовым врагом, и ему не должно быть места в новом обществе. Обвинитель требовал высшей меры. Защитник просил снисхождения. Может быть, удастся, говорил он, из классово-чуждого мистера Галстука сделать полезного гражданина социалистического общества. Мистер Галстук с ужасом мотал головой, давая понять, что он никогда не перекуется в советского гражданина, а останется врагом рабочих и крестьян. Потом приговор: смертная казнь через отсечение головы.

На сцене эшафот – ящик из-под лимонада. Наташа в разлетающихся одеждах греческой богини. Соорудили из красных клубных знамен. Она символизировала пролетарскую справедливость. В руке – деревянная секира. Стояла в позе, в какой изображают палача времен Ивана Грозного. Стража подвела осужденного. С плачем, он стал перед ящиком на колени. Воздел руки к потолку. Воскликнул:

«Умираю за господ, к которым принадлежу. Умираю, ненавидя рабочих и крестьян!»

Пролетарская справедливость подняла деревянную секиру. Увлечлась и довольно крепко треснула осужденного по шее. Тот, взыв от боли, ринулся на Юру Вегуна с кулаками. Зал покатывался от хохота. Заплакавшая пролетарская справедливость скрылась за кулисы.

После суда Марк с друзьями шел в общежитие. Да, Москва дала ему много друзей. Юра Вегун – прирожденный вожак по характеру. Красноречивый, напористый, горящий. С первых дней университета подружился, делили комнату в общежитии. Про-

тивоположность ему – Леонид Кулаев. Он с медицинского. Прозвали трупоедом. Ему тогда было за тридцать. Потом еще Алеша. Звали Байроном – поэт. Был и еще близкий друг у Марка, Иван Шаров, с философского факультета.

Когда шли, Юра Вегун сообщил:

«Знаете, ребята, в университет приходит Шинский».

Имя Шинского тогда ничего не говорило Марку. Шла ожесточенная борьба между Троцким и Сталиным. В ней молодежь выполняла ту роль, какую дети играли в марковом селе в воскресных драках на мосту. Застрельщики. Шинский, думал Марк, какой-нибудь троцкистский апостол. Юра из троцкистов, потому и радуется.

«Скучно от всего этого», – сказал тогда Марк. – «Ты радуешься, что Шинский появится. А что толку? Вы будете нападать на сталинцев, сталинцы на вас. Уже и так дело доходит до рукопашной».

«Ничего», – бодро сказал Юра. – «Мы этим цекистским бюрократам шею свернем. Не дадим погубить революцию».

«Сталинцы это самое говорят о вас, троцкистах».

«Никак ты, товарищ Суров, из болота не вылезешь», – рассердился Юра. – «Ведь до сих пор ты не знаешь с кем ты – с нами или с цекистами».

«Я уж лучше», – сказал Марк, – «буду с партией и с советской властью».

«Оппортунист ты, вот что я тебе скажу!», – взмахнул Юра рукой.

Марк остановился, его обидели слова друга, но главное было не в этом, а в том, что у него самого просилось наружу. Он сказал:

«Не знаю. Может быть, ты прав и я – оппортунист. Но только я не хочу, понимаешь, не хочу играть. Простые вещи затуманиваются теориями вроде перманентной революции. Что может быть ужаснее революции, которая не прекращается? Неужели твой Троцкий этого не понимает?»

Юра хотел что-то сказать, но Марк поднял свой голос, почти кричал:

«Все вы словно вывихнутые. Сегодня этот суд над галстуком. Завтра какой-нибудь дурак вобьет вам в голову, что калоши надо расстрелять, так как император Александр Второй носил калоши, и вы пойдете расстреливать их не думая о том, что не должен человек ходить с мокрыми ногами. Общество уже появилось, кото-

рое призывает всех раздеваться, голыми быть. Вы и его примете потому, что это кажется вам революционным. Пусть я оппортунист, но я знаю, что людям, чтобы идти к коммунизму, нужны калоши. И галстук, может быть, нужен. А уж штаны обязательно».

Марк повернулся и зашагал в темный переулок. Долго бродил по городу. Без цели и без мыслей. В общежитии было тихо и сонно, когда он пришел. Юра спал. А может быть притворился спящим. Марк разделся. Постель была твердой. Матрац, набитый соломой. «Это надо продумать, продумать надо!» – говорил себе Марк. Ему хотелось понять, почему такой раздвоенной получается жизнь. Но заснул, так и не решив этого вопроса.

Во время летних каникул студенты шли на подработки. На заводы и в железнодорожные склады. Была даже своя биржа труда. С другими нанимался и Марк. Однажды послали работать в Кремль. В старинном доме разбивали каменные полы, расширяли оконные проемы, удаляли со стен штукатурку, пробивали шахту для лифта. Потом ремонтировали квартиры. Сначала Кагановичу. Затем Сталину. Кагановича не видели, а Сталин показывался. Марк хорошо его рассмотрел. Рябоватый. Прокуренные усы. Глаза с коричневыми точками. Кошачьи. Приходя, он высылал рабочих из кабинета. Гремел ключами. В кабинете стоял пузатый сейф, Сталин открывал его.

Полнее у Марка отпечатался образ жены Сталина. Надежда Аллилуева. Из тех, на которых обязательно обратишь внимание. Зеленоглазая, высокая. По виду – добрая и ласковая.

«Мог ли я тогда думать, что это случится?» – сказал сам себе Марк. Это уже в вагоне. Он подставлял голову ветру, бьющему в окно.

Нет, Марк не мог думать, что это случится. Как он мог знать, что пройдет несколько лет, и он будет стоять на древнем кладбище у могилы Аллилуевой. Марком тогда, на кладбище, владел вихрь воспоминаний, фактов, слухов. В центре была она, такая, какой он видел ее в то лето, когда они ремонтировали сталинскую квартиру. Стоя у окна вагона, Марк, как много-много раз до этого, сортировал в уме факты. Отбрасывал одни, приближал другие. Всё приобретало стройность. Один эпизод цеплялся за другой. Перед ним – длинная цепь. От Кремля на кладбище. Но в ней не было, и нет, и не будет последнего звена. Тех тридцати

минут, в которые Аллилуева доехала от особняка Ворошилова до своей кремлевской квартиры. Живой из нее она больше не вышла.

Марк помнит. Солнечный день. Войска оцепили улицы. По мостовой двигался огромный черный катафалк. Черные лошади с красными султанами. За катафалком шел человек. Покатые плечи, опущенная голова. Сталин. Один. Позади толпа обитателей Кремля. Но Сталин один. Никто не смел приблизиться к нему. Марк это видел. Знакомый инженер пустил его на постройку. Оттуда была видна улица, с которой прогнали москвичей. И процессия. И одинокий человек с покатыми плечами.

На кладбище гроб опустили в землю. Этого он уже не видел, знал по рассказам. Склонившись, Сталин взял пригоршню земли. Бросил на крышку гроба. Все заторопились, хотели повторить его жест, но он дал знак – и красноармейцы засыпали могилу. Сталин долго стоял у могильного холмика. Знал ли он, что думают о смерти Аллилуевой его приближенные? Что думают о ней люди, прогнанные с улиц, по которым двигался погребальный кортеж?

Марк тогда был поражен этой смертью. Невольно стал собирателем фактов, слухов, предположений. Даже теперь, когда он многими годами отделен от нее, в нем живет эта картина. Восстановленная по кусочкам фактов. Дополненная воображением. Может быть, не абсолютно точно копирующая события, но близкая им. Вот и еще деталь этой картины:

Через две недели, ночью, у ворот кладбища остановились автомобили. Сталин. Как и тогда, при похоронах, он молча прошел вглубь кладбища. Вслед понесли что-то тяжелое. Оно оттягивало руки десятка сильных носильщиков. Памятник на могилу жены.

По ночам у кладбища затихали моторы. Понутив голову, к могиле проходил Сталин. Долго, иногда до утра, сидел он здесь на скамейке. Бледный свет падал на камень памятника. Откуда? Стена древнего монастыря подходит к самому кладбищу. В угловой башне светилось небольшое окошко. Свет из него боролся с ночной тьмой, достигал могилы. Однажды Сталин сказал в темноту позади себя:

«Есть здесь кто-нибудь?»

Подтянутые тени. Он послал их узнать, кто там, за окном, в котором свет. Вернувшись, доложили:

«Две монахини. Молятся всю ночь. Древние старушки».

Потом свет исчез. Сталин пришел к могиле. Рисовалась стена монастыря. Расплывчатым видением висела башня. Но светящегося окна не было. Он послал в башню и, вернувшись, посланные доложили:

«Свет из окна беспокоил товарища Сталина». Монахини выселены из башни, окно замуровано, за ним поставлен часовой.

Резко, словно его подтолкнули снизу, поднялся Сталин со скамейки. Голос его сорвался на крик:

«Дурраки! Вернуть! Вернуть их на место!»

Путаясь ногами, он побежал по кладбищенской дорожке. Повторял опять и опять:

«Дураки! Ах, какие дураки!»

У окна вагона Марк снова думал об этой смерти. Но как всегда до этого, он знал: последнего звена нет, и никогда не будет. Нет тех тайных тридцати минут. Но многое другое включено в картину, нарисованную им. Вот еще:

Через ворота Кремля проходит маленькая старушка. Мать Надежды Аллилуевой. Встречается со Сталиным. В ее старых глазах тот читает столько мудрого осуждения, что отводит взор. Дочь уводит мать в дальнюю комнату. До самого вечера они остаются вдвоем. Только маленькая Светлана приходит к бабушке.

Было время, когда Сталин и эта маленькая женщина не скрещивали ненависть глаз. Всё началось тогда, когда Сталин стал всемогущим. Деревню гонят в колхозы. Какие-то люди с железными сердцами действуют так, словно попали в завоеванную страну. Повсюду беда. Аресты, избиения. Показательные суды. Расстрелы.

К старой Аллилуевой многие люди идут с мольбой: «Езжай в Москву, повидай Сталина, расскажи ему». Она едет. Зять выслушал ее в присутствии жены. Сказал спокойно, как будто совсем обычное:

«Чтобы раз и навсегда прекратить эти разговоры, я отвечу вам откровенно. Всё, что вы мне рассказали, я знаю лучше вас. Объяснять вам, почему это нужно, нет смысла, вы всё равно не поймете. Как матери моей жены, я не хочу запрещать вам встречаться с дочерью. Но обращаться ко мне с рассказами о том, как партия сокрушает своих врагов, не позволю».

«Иосиф, но это не враги!» – вскрикнула Надежда.

«Это враги, Надя!» – упрямо сказал Сталин. – «И твоя мать является агентом этих врагов. Пусть эта старая дура не лезет учить меня!»

Хлопнув дверью, он ушел.

С тех пор при встречах Сталин обдаёт старуху ненавистью своих кошачьих глаз. А она, робкая и застенчивая со всеми, смело смотрит ему в лицо.

После приезда матери, жена будет встречать Сталина угрюмым взглядом. Потом она не выдерживает. С надеждой и мольбой идет к мужу:

«Иосиф, останови своих опричников! Они губят народ, губят тебя!»

«Надя, я запрещаю! На мне ответственность. Я должен довести дело до конца!»

«Но дело ты топишь в крови. Ты его уже утопил!» – звенящим голосом прокричала жена.

«Молчать! Ты забываешь, что ты – только жена!»

«Я не только жена, я – член партии, как и ты!»

Такие столкновения ничем не кончаются. Сталин уходит от жены, а та бьется в истерике.

Однажды она приходит на заседание политбюро. В нем люди, назначенные Сталиным. Покорные ему. Безгранично покорные.

«Как член партии, я требую слова!» – говорит Аллилуева.

«Что ты хочешь доложить? О чем говорить?» – раздраженно приподнялся с места Сталин.

«Я хочу говорить о тебе, Иосиф Виссарионович, и о том, что ты губишь страну и революцию».

Сталин сморщился, повернулся к секретарям:

«Выведите отсюда мою жену и отправьте ее домой. Политбюро не имеет ни времени, ни желания выслушивать истеричек».

Плачущую, ее уводят. Вслед приходит комендант Кремля. Он хочет увести с собой старушку-мать.

«Я не позволю!» – протестовала Аллилуева-дочь. – «Мать у меня в гостях».

«Я должен подчиниться», – растерянно сказал комендант. – «Вашей маме запрещено пребывание в Кремле».

Вот и еще одно звено в Марковой цепи. Собрание партийной организации промышленной академии. Обсуждается внутренняя

политика партии. Имя Сталина превозносится. Его мудрость возводится в степень истины. На трибуне Аллилуева.

«Товарищи», – говорит она. – «Довольно лжи и рабского преклонения. Партия должна сказать свое слово о том, что происходит... Зажали народ в тиски... Голая диктатура... Кругом кровь... Сталин по колени, в крови, и мы с ним. Товарищи, как долго будем мы лгать самим себе!»

После этого долгие месяцы никто ее не видел. Слухи – арестована. Потом станет изредка появляться. Но теперь будет молчать. Надлом и тоска в зеленоватых глазах.

Вот уже последнее звено Марковой цепи – пир у Ворошилова. Гостей мало. Ждут Сталина, а он не любит встречаться с мало знакомыми людьми. Сталин приезжает с женой. Роскошно сервированный стол. Лакеи, музыканты. Аллилуева много пьет. За столом говорят только о приятном. Сталин весел. Отдыхает в кругу друзей. Изредка бросает взгляды на жену и прячет усмешку в усах. Та молчит. Он заставил ее молчать. В самый разгар веселья, в зале вдруг раздался звенящий, полный слез голос Аллилуевой:

«Это – пир во время чумы», – вскрикивает она. – «Люди мрут с голоду. А мы веселимся. Веселимся и расстреливаем».

Краска ярости пятнами пошла по лицу Сталина. Он швырнул в жену бокал с вином. Взорвался криком. Ругательства русские и ругательства грузинские:

«Дура! Набитая дура! Да как ты смеешь!»

Кругом замерли. Аллилуева молча ушла под крик Сталина:

«Вон! Вон с моих глаз! Гоните в шею эту слезливую бабу!»

Потом Сталин вытер пот с лица и злыми глазами обвел гостей. Все в растерянности. Не знают, что делать.

«Веселитесь, черт возьми!» – вскрикнул Сталин. – «Танцуйте!»

Заиграла музыка. Люди пошли в танце. Улыбаются и делают вид, что ничего не произошло.

А Сталин в это время сидит один в дальнем углу. Рассматривает носки сапог. Потом он поднялся с места и ушел в кабинет хозяина. Ворошилов попробовал пройти за ним, но дверь закрылась перед его лицом. Смутно доносится голос Сталина. Он с кем-то говорит по телефону. Вышел и уселся в свой угол. И опять упорно рассматривает носки сапог. Среди гостей находят Енукидзе. Зовут к телефону. Поговорив с кем-то, он выходит в зал.

Побледневший. Подошел к Сталину, что-то сказал ему. Сталин медленно, старчески направился к выходу.

А утром все узнали: Надежда Аллилуева умерла. Больше ничего. Умерла!

Марк заставил себя перестать думать об Аллилуевой. Последнего звена ему всё равно не найти. В мыслях он перенесся к другим людям, другим дням.

Московские годы дали ему и сердечные тревоги. Были две девушки – разные и по-разному близкие. Лена и Наташа. Лена – с юридического. Высокая, полногрудая, покоряющая. Девушка будущего. Нерешенных вопросов не было. Смело, открыто смотрела на мир большими карими глазами. Наташа совсем другая. Медичка. Маленькая, хрупкая. Неисчерпаемый запас жизнерадостности. Второе увлечение Марка. Оба увлечения уживались в нем.

Дружба с Леной зародилась в его ранние университетские дни. Встретились на комсомольском собрании. Крепко повздорили. Потом отправились вместе домой. По дороге продолжали начавшийся спор. А спорили тогда жестоко. В центре – новая мораль. Какой должна она быть в социалистическом обществе? Им это нужно было обязательно решить. Немедленно решить. В газетах спорили. На собраниях. Молодые заходили далеко. Не познав любви, развенчивали: «буржуазный предрассудок». Делились на сознательных, отрицавших любовь, и на мещан, признававших. Лена была сознательной. Марк – мещанином. Дружбе не мешало. Дружба без столкновений обойтись не могла.

«Ты чудовищно отсталый, Марк. Можно подумать, что ты живешь не в период революции, когда всё кругом должно быть сломано, а в затхлое старое время».

Это однажды сказала ему Лена. Они гуляли в саду у кремлевской стены. Каникулы шли к концу. Долго не виделись. Встретившись, спор начали.

«А ты, Лена, слишком передовая», – ответил тогда Марк. – «По-твоему, надо убить в людях способность влюбляться, и тогда им будет лучше».

«Влюбляться!» – тянула Лена. Много презрения в тоне. – «И слова у тебя какие-то мещанские. Любви, Марк, нет, и не было, и не будет. Словесность и... взаимная тяга полов».

Лена всё-таки покраснела при этих словах. Отвернулась. Но потом нахмурилась. Смело посмотрела ему в глаза, сказала:

«И я отсталая. Мне всё еще стыдно произносить простые слова. Пережиток прошлого. Мы должны перестроить нашу жизнь. Не нужен любовный обман. Надо точно установить, что такое то, что мы зовем любовью. Какова ее социальная роль».

«Влюбишься, вот и установишь», – сказал он.

«Дурак ты, раз так говоришь. Как я могу влюбиться, если и любви-то никакой нет. Просто отношение полов. Физиология, которую мы облакаем в красивые слова».

Он шел рядом с Леной. Думал совсем о другом. Лена верила в то, что говорила. Потому и говорила, что верила.

Не это самое главное. Главное то, что Лена красивая. Простенькое ситцевое платье. Разношенные сандалии на ногах. Платок, перекинутый через плечо. Скромнее наряд и придумать нельзя. А любишься.

Приехала из Воронежа, от родителей. Приехала раньше, чем требовалось. Занятия начнутся через две недели. Марк подумал: для него рано вернулась. Скучала по нем. И он скучал. Но как выскажешь? Лена сразу-же начала просвещать Марка. Никакой любви нет. Голая физиология. Отношение полов. Пухлые вишневые губы Лены способны произносить страшную хулу на любовь. А должны бы из них литься другие слова. Марк их ждал. Хотел.

«Насчет того, что любовь только отношение полов, ты с Юрой Бегуном поговори», – посоветовал Марк. – «Он специалист по этим вопросам».

«Да, Юра человек передовой», – согласилась Лена. – «Для него таких мифов, какими увлекаешься ты, не существует».

«Ну, и прекрасно!» – Марк тогда не на шутку рассердился. – «Иди и обсуди с ним, а меня оставь в покое!»

«С Юрой мне обсуждать не к чему!» – сказала Лена. – «Мы вопрос этот понимаем одинаково. Мне хочется тебя перевоспитать. Простых вещей понять не можешь. Мне, комсомолке, приходится старшего товарища и кандидата в члены партии перевоспитывать».

«Простых вещей!» – Марк был очень зол. – «Дай вам волю, так вы из самых простых вещей сделаете черт знает что! Вроде суда над галстуком, который вы с Юрой организовали в прошлом

году. Сегодня будем судить галстук, завтра шляпу или носовой платок. Договоримся до того, что людям сморкаться будет нельзя».

«Не знай я тебя, подумала бы, что ты, Марк, буржуйский последний», – сказала тогда Лена. – «Рассуждаешь, как заправский реакционер. Как у тебя, при таких взглядах, уживается преданность коммунизму, просто не поймешь!»

«В уставе партии и комсомола не записано, что надо бороться с галстуком или носовым платком. Есть враги сильнее и важнее, чем эти мелочи. Хочет человек иметь галстук, пусть имеет. Так нет. Вы говорите о свободе личности, а сами не знаете и не хотите ее. Захочется тебе повязать галстук, не смей этого делать, не спросившись у Лены. А если уж и против носового платка поведете борьбу, то придется всем бегать и сморкаться в подол твоего платья».

«Не злись, Марк», – примирительно сказала Лена. – «Ты еще не дорос. Дело не в галстукке, а в пережитках. Ну, скажи мне, зачем это ненужное и бесполезное украшение на шее, когда шея должна быть открыта и дыхание свободным? Только для того, чтобы подчеркнуть неравенство? Буржуй с галстучком на шее, интеллигент с галстучком, а рабочий у горячей печки на заводе без рубашки или в парусиновом комбинезоне поджаривается».

«Так что ж, рабочему для равенства у горячей печки галстук носить, что-ли?» – сказал Марк.

«Нет, не ему носить, а другим снимать, чтобы не подчеркивать своего преимущества. Ты говоришь – мелочь! Значит, не понимаешь, что из этих мелочей жизнь складывается, и если нам, людям нового поколения, дано преобразовать мир, то ничего нельзя упускать, все изгонять, что мешает нам».

«Учиться надо, вот что!» – сказал Марк. – «Сначала учиться, а потом мир преобразовывать, а не наоборот».

Так и дружил Марк с Леной. При всем ее крайнем радикализме – чистая, хорошая девушка.

И дружба с Наташей. Эта пичуга, как и Лена, хотела быть передовой. Марку было хорошо с ней, легко. Но однажды случилось так, что обе нанесли ему удар. В один и тот же день. Утром Наташа поймала его за рукав. Увлекла в дальний конец коридора. Шаловливая восемнадцатилетняя хохотунья, она на этот раз была очень серьезной. Даже впадала в торжественный тон. Спросила:

«Правда ведь, Марк, ты мой самый большой друг?»

«Ты мне всегда задаешь этот вопрос, когда готовишься сказать что-нибудь ненужное. Говори лучше без подготовки», – сказал Марк.

«Я тебе скажу», – понизила Наташа голос. – «Ты ужасно неправ, защищая старое. Все наши девушки считают тебя отсталым в вопросах новой морали».

«И ты, Наташа? И ты в передовые записалась?» – воскликнул Марк.

«Я всегда была передовой. Если хочешь знать, так я, Марк, всегда была убеждена, что иметь мужчину так же просто, как выпить стакан воды».

Марк зажмурил глаза. От Наташи он такого еще не слышал.

«А ты имела?» – спросил он. – «Имела ты мужчину?» Наташа зарделась. «Поверь мне, это совсем просто. Стакан воды выпить», – упрямо сказала она.

«Ты – дура!» – зло проговорил Марк. – «Это выражение – просто, как стакан воды – ты у Колонтай подхватила. Для той это действительно просто. Может быть, для нее стакан воды выпить даже труднее, чем переспать с женщиной. Это она называет любовью пчел трудовых. В ее постели побывали аристократы и матросы, генералы и извозчики. Женщина внеклассовая. Ей легко было написать грязную фразу, за которую цепляются вот такие, как ты, девушки с сырыми мозгами».

Марк был сердит на Наташу, а та, зардевшись, проговорила:

«Правда, об этом стыдно говорить. Но ведь все говорят. В этом новый человек проявляется. Ведь так, Марк?»

«Хорошо, что тебе еще хоть стыдно», – сказал он.

«Ты никому не рассказывай, а то засмеют меня», – попросила она.

«Чего не рассказывать? Что это просто, как стакан воды?»

«Нет, не рассказывай, что я призналась, как мне стыдно говорить об этом. Будут считать отсталой».

После Наташи, Лена. Предложила погулять. Нахмуренное, решительное выражение глаз. Вскинутая вверх голова. Видно было, что разговор задумала серьезный. Марк шагал рядом. Им всё еще владело тяжелое чувство, оставленное в нем Наташей. Шли по саду. Днем в нем мало гуляющих. Радостная тревога во-

шла в Марка. Показалось, что Лена позвала его, чтобы заговорить так, как он хотел, ждал.

«Я хочу с тобой поговорить откровенно», – сказала она. – «Уже давно собираюсь, да всё как-то не получалось».

Марк молчал.

«Ты читал уже?» – спросила Лена.

«Что?»

«Без цветов».

Да, Марк читал. Эта повесть только что появилась. В ней срывались последние покровы с любви. С цинической откровенностью старик-писатель описывал отношения без цветов. Со старческой блудливостью смаковал подробности. Да, Марк читал. Стыдно, противно, тревожно было, но читал. Последнее откровение.

«Это то самое, о чем я тебе всегда говорила!» – сказала Лена. Голос дрожал. – «Нам надо покончить со старыми представлениями о любви и о прочей ерунде. Если я, как женщина, чувствую к тебе влечение, то ничто не может мне помешать принадлежать тебе».

Надежда в Марке погасла. Стало скучно и противно. Скорее всего, Марк любил Лену, но какая любовь может выдержать то, что она говорила ему?

«Не мямли, Марк», – нападала она. – «Всё совершенно ясно и понятно. Я ведь вижу, что ты чувствуешь влечение ко мне. И я к тебе чувствую. Мы с тобой новые люди, Марк».

Лицо Лены заливала краска. Подавляла смущение. Девушка нового мира, ей казалось, что именно так надо разговаривать. Марк молчал.

«Ах, ты удивительный мещанин, Марк! Пережил много, а всё как-то странно на вещи смотришь. Ищешь несуществующей красоты отношений. Одним словом, я согласна».

«Что?» – не понял он. – «На что ты согласна?»

«Согласна принадлежать тебе».

Здесь уместно высказать авторское утверждение – Лена действительно любила Марка. Если бы не любила, сказать такое не решилась бы. Беда состояла не в том, что и как она сказала, а в том, что поколение Лены и Марка было духовно беспризорным. Его пробудили к жизни, привили разрушительные свойства революции, но созидательных идей не дали. Уничтожив прежние по-

нения о красоте человеческих отношений, новых не создали. Оставили человека голым на голой земле. И если всевозможные вывихи тех лет больше всего в словах выражение находили, а во всем более существенном молодежь оставалась хорошей и чистой, то это ведь потому, что русская натура всегда была здоровой и от слов, подобных тем, что Лена произносила, не умирала. Что же касается Марка, то о нем совсем другое должно быть сказано. Врождено в него было вот такое, если хотите, отсталое, отношение к тем вопросам, которые Лена, по чистоте своей и революционной неразумности, обнажала перед ним. Может быть, это можно назвать мужицкой дикостью и невежеством, но для Марка частица тетки Веры в каждой женщине жила. Святое отношение к женской любви в нем ничто подавить не могло, к настоящей, конечно, любви, и поэтому, когда Лена наотмашь хлестнула его словами, он побледнел, взглядом по верхушкам деревьев забегал, словно ответа просил, но в действительности не ответа просил, а себя сдерживал, чтобы Лену по ее пухлым губам не ударить за то, что губы эти такое исторгать могут. Но сдержался. Оттолкнул ее от себя и сказал. Глухо, с тоской:

«Я не хочу! Понимаешь, не хочу! Всё, что ты говоришь – отвратительно. Я знаю, что ты не такая, но между нами баррикада из твоих слов. Я не могу перетащить через нее мою... любовь к тебе».

Марк тогда ушел. Лена что-то крикнула, но он не остановился.

Ночь наступила, а он всё еще по городу бродил. В какой-то пивной, уже поздно ночью, встретил женщину. Знакомое выражение глаз. Зовет, сулит. Марк пошел с нею. Всё было просто и ясно. Она хотела его. А он знал – мимолетное, в сердце не проникающее. Где-то в темном переулке ввела в комнату. Воздух состоял из запаха пудры и духов. Кровать была жаркой и тоже пахла пудрой и духами.

Потом до утра ходил по набережной. Заполненный отвращением.

После той ночи Марк избегал встреч с Леной. Да и она, по своему истолковав отделение Марка, не искала их. Виделись, конечно, в университете, на комсомольских собраниях. Здоровались, но тут же и расходились. Марк при таких здравствуй-прощай встречах глаза в сторону отводил, краснел. Сознавал, что

краснел, и от того становился угрюмым, торопился уйти. Что во всем этом видела Лена, сказать трудно, но видела что-то свое. И, может быть, это совсем правдой не было. Даже навверное не было! Марк глаза отводил и в лице менялся вовсе не потому, что она неприятна ему была. Мысли она в нем стыдные теперь вызывала, в этом всё дело! Не прошла бесследно та ночь, когда в комнате, заполненной запахом пудры и духов, Марк зверя в себе почувствовал. Отвращение к той ночи было, но нет-нет да и вспыхивали в нем мысли о горячем женском теле. Невольно на Лену эти недобрые мысли переносились. Теперь как-то уж очень остро видел он Лену.

Грудь высокая, того и гляди кофточку разорвет. Ноги загорелые. Мысленно раздевал Лену. Стыдился. Но остановиться не мог. При встречах отводил глаза в сторону, мрачнел. Словно ему было неприятно с ней повстречаться. А на самом деле – мысли о Лене обнаженной.

Наташа была словно сестра меньшая. Хотелось защитить ее. Нельзя сказать, что он был влюблен в нее. И она не была влюблена. Но им было хорошо вдвоем. От нее на Марка веяло чем-то родным. Любил наблюдать ее тоненькую фигурку. Любил ее способность задавать самые неожиданные вопросы. Но и Наташа хотела быть передовой. Идеалом для нее была Лена. Тут, пожалуй, и причина, по которой Марк хотел Наташу от опасности уберечь. Удавалось убедить Наташу, что в страстном искании новых отношений, которому молодые тогда поддались, много нелепого. Наташа соглашалась. Но на ней скрещивались разнохарактерные влияния. Согласившись, она могла на другой же день вернуться к старому.

Однажды было такое. Теплый осенний день. Наташа перехватила его во дворе и повела вокруг газона. Излюбленное место прогулок. Марк как раз решал, куда ему пойти. Юра Вегун звал на троцкистское собрание. Но ему больше хотелось пойти в клуб. Лена делала в клубе доклад. О новой морали. Собственные взгляды развивала. Наташины мысли, между тем, были заняты совсем другим. Она спросила Марка, держа его за рукав:

«Марк, как бы ты реагировал, если бы я сейчас появилась тут голой?»

Марк сразу же представил картину. Голая Наташа вышла в университетский двор. У нее тонкие, детские ноги. Маленькая,

недоразвитая грудь. Она, конечно, краснеет. Волосы – густые и очень-очень светлые – волной вниз. Прикрывают грудь. Марк уверен, что, будучи голой, Наташа распустит косы и прикроет грудь.

«Почему ты молчишь?» – приставала Наташа, засматривая ему в глаза. Что бы ты подумал, вступи я в общество Долой Стыд и появись тут голой?»

«Выпорол бы», – сказал Марк. – «Взял хворостину, и выпорол». Наташа надула губы.

«Это не ответ», – сказала она. – «Выпороть всякий дурак может».

«Посуди сама», – сказал он. – «Общество Долой Стыд распространяет прокламации, в которых пишет всякую ерунду. Ерунду облакает в страшно революционные фразы. Возвещают, что хотят раскрепостить красоту человеческого тела. Говорят, что нужно бороться со стыдом. Явление, мол, недостойное великой революции в России. Утверждают, что стыдливость развивалась в людях эксплуататорскими классами. Предназначена для того, чтобы богатому было легче эксплуатировать бедного. Что ты в этом видишь умного? И почему человек в одежде легче поддавался бы эксплуатации, чем голый человек? Негры в Африке самые голые, но не самые свободные».

«Я всё это понимаю, Марк, но только должно ведь всё быть по-новому, по-революционному. А если всё останется так, как было, тогда зачем же революция?» – Наташа хотела еще что-то сказать, но Марк прервал ее:

«Какая ты смешная, Ната! Укажи мне хоть одного героя или мученика революции, который проповедывал бы что-нибудь подобное тому, что проповедуем мы. Ну, например, можешь ты представить Ленина голым? Или ты скажешь, что у Ленина тоже было много буржуазных предрассудков? Кстати, Ленин всё-таки носил галстук, а мы его осудили, и ты выполняла роль палача. Не очень, правда, удачно. Когда ты стукнула осужденного по шее, я подумал – большое счастье, что у тебя в руках не настоящий топор. Ты вполне могла бы оттяпать голову бедному Галстуку».

Наташа смеялась. Пошли в клуб. Здесь верховодила Лена. Больше девушек, чем парней. Свет электрической люстры, смешанный с дневным светом, делал лицо Лены особенно бледным. Наташа упорхнула к подругам. Марк пристроился у окна.

«На наше счастье, мы живем в эпоху, когда начинается заполнение новой страницы истории и первыми словами на ней начертано: “Революция в России”. Это, товарищи, великие слова».

Лена умела зажигательно говорить. Ее слова отзывались в Марке смутно-стыдливим чувством. Лена говорила о буржуазности любви. Простоте социалистических отношений. Инстинкте продолжения жизни у человека.

В это время на улице что-то произошло. Марк выглянул в окно. От Охотного Ряда к университету двигалась группа голых людей. Человек пятнадцать. Толпа москвичей бесновалась во круг. Голыми предводительствовал высокий полулусый человек. Крысиная физиономия. Синие, вздувшиеся вены на волосатых ногах. Через грудь – красная лента. За ним, подстать ему, уродливые, безобразные. Жрецы человеческой красоты – мужчины и женщины. Милиционер остановил процессию. Крысообразный предводитель вынул из-за красной ленты бумагу. Разрешение демонстрировать. Выдал какой-то придурковатый новатор в Моссовете. Голые вошли в университетский двор. Высыпали отовсюду студенты. Юра Вегун. Голая манифестация оторвала его от дискуссии на собрании троцкистов. Юра остановился перед предводителем. Делал ищущие движения руками. Не знал, за что уцепиться. Рванул за красную ленту. Стегнул ею по физиономии.

«Разжую и выплуну, гад паршивый», – хрипел он.

Юра повернул гада паршивого и дал ему лихого пинка. Тот со скоростью удивительной пробежал по ступенькам подъезда. Сверху вниз. Марку достался маленький, с отвислым животом человек. Он противно, по поросячьи, повизгивал. Марк повалил его на землю. Погрузил колено в рыхлую мякоть живота. Рычал:

«Душу вытрясу! Шкуру спущу!»

Безумел от ярости. Схватил рыхлого человечка за обе ноги. Впрягшись, как в оглобли, волоком потянул к воротам. За ними толпа москвичей. Она восторженно приветствовала драку.

Марк вспомнил. Вскоре после этого Юра поссорился с Леонидом. Причина – тогдашние политические страсти.

Леонид был человеком особенным. Нескладный, высокий. В лице что-то лошадиное. Но умные и живые глаза. Был накрепко причислен к болоту. Во внутрипартийной борьбе не участвовал, как и Марк. Раньше фельдшером работал, пошел в университет, чтобы стать врачом.

Юра взорвал обычно невозмутимого Леонида восхвалением Шинского. Тот теперь гремел в университете. К радости Юры гремел.

«Ты, Юрий, напоминаешь мне восторженного теленка», – сказал Леонид, выслушав похвалы Юры Шинскому. – «Выпустят теленка на волю, он хвост трубой и носится, а зачем носится, и зачем хвост трубой – не ведает. От избытка чувств, я думаю. Вот так и ты. Почуял волю и понесся.

Голова вверх, хвост задран, ноги разлетаются. Спотыкаешься и падаешь, но опять подхватываешься и бежишь, так как твое дело телячье, и другого ты разуместь не хочешь».

«Не будь ты трупоедом, я может быть и обиделся бы на тебя», – сказал Юра.

«Вот-вот!» – рассердился Леонид. – «Такие, как ты, и прозвали нас, медиков, трупоедами. Это идет из вашего бодливого существа. Рога еще не отросли, а хочется весь мир боднуть, силу показать. Хоть бы с этим Шинским. Доклады читает. Прослыл среди вас свержреволюционным и свержпередовым человеком, и готовы вы в вашей дурацкой восторженности в ноги ему кланяться, а за что, а почему – никто не смеет спрашивать! Ты говоришь, что Шинский – последнее слово революционной идеологии. Ты не думай, и я был на докладе, когда он зажег всех вас, телят, утверждением, что никакого права нет и не должно быть, а есть революционная целесообразность, и она, мол, должна быть высшим законом. Это как же получается? Выбрали председателя сельсовета, а закона для него нет. Сто тысяч председателей и сто тысяч революционных целесообразностей, так хочет строить Шинский государство? Да тогда ведь народу никакой жизни не будет от этой самой целесообразности».

«Это ты зря», – сказал Юра. – «Революционная целесообразность – открытие Шинского. Войдет в историю права».

«Не знаю, в какую оно там историю войдет, но вижу, что нас в историю втягивает. Да и никакое это не открытие. Революционную целесообразность открыл не Шинский, а чекисты гражданской войны, которые расстреливали людей по наитию. Тем хоть какое-то оправдание есть – война была, законы созданы не были, а Шинскому и этого оправдания не будет. После его доклада подошел я к профессору Бородину. Смотрю, старик от возмущения

головой дергает. Попытался я его увести, да куда там! Собрал он студентов вокруг себя и говорит им. Шинского вашего я процитировать не в силах, не помню его хлесткого трёпа, а вот слова Бородина запомнил на всю жизнь и советую вам вслушаться в них. Сказал он нам так: “Мои молодые друзья, это нечто чудовищное, чему вас учит этот безумный адвокат Шинский. Я всю жизнь занимаюсь философией права и сегодня увидел, что моя жизнь прошла даром. Вы аплодировали Шинскому, значит вам близок его апокалипсический бред бесправия, названного им целесообразностью. А знаете, чем закончил Бородин?”, – продолжал Леонид. – “Он сказал: Мои молодые друзья, в тот момент, когда я услышал Шинского, которого не только не посадили в тюрьму, а даже не подвергли психическому исследованию, я понял что наступает страшное время, предсказанное Владимиром Соловьевым. И если не случится чуда, Соловьевым непредвиденного, то мир погрузится во тьму предыстории. Думайте над этим, бойтесь этого. Вот что сказал старик Бородин”».

«Твой Бородин просто контра, и всё тут!» – угрюмо произнес Юра.

«Впрочем, Бородин напрасно всё это говорил. Ведь он был окружен телятами вроде тебя, у которых хвост трубой. Что могут они понимать?» – сказал Леонид.

«Трупоед ты, таким и останешься на всю жизнь!» – злился Юра. – «Неужели ты не понимаешь, что Бородин – это мир старый, а Шинский – мир новый, который мы строим. Я бы этого Бородина...»

«Не волнуйся, уже сделано. Сегодня утром его арестовали», – сообщил Леонид очень мрачно.

Марк знал этого маленького человечка в больших старинных очках с клинышком седой бородки. Тот самый, который когда-то призвал его дерзать.

«По принципам революционной целесообразности, проповедуемым Шинским, арестовали», – пояснил Леонид. – «Чтобы не мутил умов и не мешал телятам оставаться телятами».

В это время догорел Лев Бертский. Года через три по приезде Марка в Москву Бертский пришел в студенческое общежитие. Некоторое время он навещал Марка, а потом исчез, и Марк узнал о нем только через четыре месяца: в тверской больнице. Марк

поехал в Тверь. Теперь это был совсем другой Бертский – страшный и непонятный недуг завладел им, называли этот недуг детским параличем, и лечить не могли. Худой до прозрачности, потерявший способность двигать ногами и руками, с трудом владеющий речью, Бертский в своем сознании отгораживался от болезни острой заинтересованностью во всем том, что происходит в мире. Он и в Тверь-то попал главное потому, что был тогда там знаменитейший хирург, который экспериментировал с болезнями, подобными его, и Бертский был не столько пациентом, сколько соучастником смелых опытов. Сам себя он морской свинкой называл. После нескольких операций, которые приблизили хирурга к пониманию болезни, а ему, дав невероятные страдания, не вернули здоровья, а лишь отчасти восстановили речь, Бертский продолжал оставаться сильным в воле и смелым в уме. Больничная койка не оторвала его от партийной жизни, но болезнь умудрила, и он борьбу внутри партии определял, как трагическое недоразумение. Это он удержал Марка от того, чтоб на одной или другой стороне ринуться в бой против своих же, раскрыл перед ним мудрость терпимости, без которой ничто в жизни создано не будет. Потом он умер, Марк был на его похоронах, и так был жалостью подавлен, что на многих страницах письмо матери написал о нем, о Бертском. Тетка Вера не всё поняла, но горевала вместе с сыном, в церкви сорокоуст отслужила, в поминальную книжечку раба Божьего Льва внесла.

Вскоре политическая свара между троцкистами и сталинцами достигла кульминационного пункта. Страсти, вражда, ненависть с партийных верхов грязным потоком низвергались вниз. Юра с головой ушел в свои троцкистские дела. По университету ползли слухи: демонстрация будет. Леонид пытался удержать Юру. При всех их спорах, они всё-таки были добрыми друзьями.

«Брось, Юра, эту затею!» – как-то сказал ему Леонид. – «До добра не доведет».

«Дорогой трупоед, ну что ты в этом понимаешь?» – упорствовал Юра. – «Студенчество пойдет заявить свою солидарность с Троцким, и это будет крепким ударом по зубам партийным аппаратчикам и Сталину».

Юра был умный парень. Но его беда – беда многих. Смертельно увлекался. Горел безрассудно. Бурлила кровь бунтаря-ре-

волюционера. Жажда самопожертвования. Всё равно для чего – жажда, и всё тут. Может быть наследие отца. Тот погиб в тюрьме при царизме. Для Юры революция была его революцией. Победа ее, его победой. Поверил, что люди, подобные Сталину, губят революцию. Люди, подобные Троцкому, спасают ее. Пошел до конца с теми, которые спасали его, Юрину, революцию. Горел таким ярким огнем, каким никто другой не горел. Марк не был с ним. Внутрипартийную свару он не понимал. Или слишком хорошо понял. Понял и отверг. Видел в этой сваре узость, ограниченность. В Юре была нетерпимость и самоупоение борьбой. А в Марке не было. Это делало их совсем разными людьми. Марк любовался Юрой. Трудно было не любоваться. Но поверить в его правду не мог. Она рвалась из Юры обжигающими речами на собраниях. Статьями в троцкистском листке. Схватками в политических кружках. Рвалась из него, обжигала других. И сжигала его самого. Юра похудел, стал костлявым. Быстро покрывался потом. Подозревали в нем болезнь. Но заставить обратиться к врачам не могли. Он был охвачен страстью самосгорания.

Занятия шли полным ходом. Однажды, по коридорам и корпусам пронесся крик:

«Товарищи, все на демонстрацию!»

Море голов в университетском дворе.

«Марк, поверь, это провокация!» – возбужденно говорил Леонид. – «Всё задумано Шинским. Он троцкистам и сталинцам выдал одинаковые обещания. Посылал Юру к Троцкому. Но если он решит, что Сталин сильнее, он предаст Троцкого. И Юру. Или, наоборот, предаст Сталина. Но кого-то предаст, в этом не сомневайся».

«Что мы вдвоем можем сделать? Толпа возбуждена и пойдет демонстрировать. Может быть напрасны твои страхи и всё пройдет спокойно. Походят, покричат и вернутся».

Марк надеялся, что всё это так и будет.

«Раз тут Шинский – не верю! Обязательно произойдет какое-нибудь подлое предательство, вот увидишь!» – настаивал Леонид.

Трамвайное движение остановилось. Появились милиционеры. Толпы москвичей. Красные полотнища с лозунгами. С троцкистскими. С цекистскими. Демонстранты разделились на два лагеря. Но вражда еще не прорывалась.

По пути следования демонстрации, по правой стороне улицы, небольшая гостиница. На балконе группа людей. Впереди, у самых перил, Троцкий. Ветер развеивает седые курчавые волосы. Троцкий в том состоянии нервного подъема, когда его речь способна потрясти слушателей.

В полусотне метров от гостиницы котел для варки асфальта. Такие котлы обыкновенно стоят открытыми. Этот же накрыт досками. Приготовлен служить трибуной. Подошли первые ряды демонстрантов. Шинский поднялся на котел. Остановились. Тут стало ясно, с кем он. И против кого. Леонид прав: предательство. Указывая на Троцкого, стоящего на виду многих тысяч людей, Шинский прокричал. Голос у него сильный и звонкий:

«Товарищи студенты! Перед вами Иуда Троцкий, продавший за тридцать сребреников завоевания революции. Он хочет обратиться с речью. Что может он сказать? Ведь он не расскажет, как предавал и предает наш народ, лижет пятки врагам нашего великого советского отечества... Товарищи студенты! Крепите ряды вокруг ленинского центрального комитета партии и товарища Сталина! Громите троцкистскую нечисть, гоните ее прочь, уничтожайте этих предателей!»

Крики троцкистов. Восторженное ура сталинцев. На балконе растерялись. Заволновался Троцкий. Кричать не имело смысла – далеко. Уйти – похоже на бегство. В толпе драка. Клубок человеческих тел катился к гостинице. Троцкий поднимал руки, призывал к тишине. Но его голос тонул в шуме драки. Марк видел Шинского. На лице торжество. Когда напряжение драки достигло наивысшего предела, он подал знак. В Троцкого полетели гнилые яблоки и какая-то другая гадость. Его увлекли с балкона. Он ушел под торжествующий рев сталинцев.

Сценарий Шинского был разыгран до конца. Но последний акт, акт возмездия, хотел дописать Юра. Марк увидел его, когда он продирался сквозь толпу к Шинскому. Был страшно бледен. Из угла разбитого рта сочилась кровь. Рубинами падала на рубашку. Пот и кровь на лице Юры. Он добрался до Шинского. Молча схватил его за горло. Но Юра был слаб. Истощен дракой. А Шинский откормлен, в расцвете сил. Вырвался. Ударил Юру портфелем. Потом, не удовлетворившись, сорвал с помоста доску. Обрушил на Юрину голову. Марк бросился на помощь Юре, но его оттеснили. Теперь драка шла у асфальтового котла.

Учебная жизнь долго входила в русло. Но вошла. Политические страсти поутихли. Сталин прочно занял положение вверху. Шинский прочно уселся в кресло ректора университета. Юра Вегун исчез. Исчезло много других приверженцев Троцкого. Одних выслали из Москвы. Других не выслали, но исключили из университета. Некоторых отправили в лагерь. Юру Вегуна увезли на Соловки. Высылку Троцкого Марк одобрял. Ему казалось, что политические разногласия не имели такого уж большого значения. Всё дело было в том, какое начало станет господствующим в партии. Революционный ультра-снобизм Троцкого, или идущий снизу большевизм масс. Жалко Юру, но есть ли у Марка право быть сентиментальным? Юра должен переболеть своей болезнью, и тогда он увидит, что ни у кого нет монополии на высшую правду, что правда у них общая, коллективная. Марк верил, что Юра переболеет, но боль за него не отступала. Часто подолгу бродил по улицам. Первый раз узнал, что в жизни есть бессонница. Уставал от необходимости всё время – настойчиво упрямо – убеждать себя в том, что так нужно, что так должно быть. В одну бессонную ночь судьба дала ему Ваську. Беспризорник из тех, какими тогда была полна Москва. Марк вернулся в общежитие под утро. На лестнице было темно: опять лампочки вывернуты. Одно из обычных занятий беспризорников. Вывертывают лампочки на лестницах и продают на толкучке. Зажигая спички, он поднимался по лестнице. На площадке второго этажа чуть было не наступил на кучу тряпья. Тут стоял тошнотворный запах одеколона. Тряпье оказалось спящим беспризорником. Во сне он издавал носом хлюпающие звуки. Валялась пустая бутылка из-под тройного одеколона. Напился, маленький бродяга, заснул. Марк начал трясти его. Беспризорник проснулся, рванулся из его рук.

«Дяденька, я больше не буду», – верещал правонарушитель. Марк молча и упрямо тянул его за собой вверх по лестнице. Толкнул в свою комнату, зажег свет и разглядел преступника. Мальчик лет десяти со смешным курносым носом. Копна не волос, а перезревшей осоки на голове – волосы серо-пепельные, слиплись в колтун. На лице черные пятна – следы асфальтовых котлов, какие-то коричневые подтеки и царапины. Пойманный продолжал хныкать, обещал, что он больше не будет, но в его глазах не было страха. Может быть, маленький волчонок вовсе и не знает, что такое страх.

Марк не нежно поступал с ним. Он спросил, как его звать, тот ответил, что Васькой звать, и опять перешел к хныканью. Расспрашивать его было бесполезно, всё равно совет. Держа его за руку, чтоб не убежал, Марк поставил на керосинку чайник с водой. Начал вынимать мальчонку из его невообразимо вонючего тряпья, чему Васька отчаянно сопротивлялся. Вынул. В тряпье мальчик выглядел низкорослым, неуклюжим, в голом же виде оказался тонким и длинным с ясно выпирающими ребрами и худыми ключицами. От грязи совсем коричневый. Боролся изо всех сил, визжал, даже пробовал кусаться, но Марк тыльной стороной ладони смазал его по губам: не кусайся мол! Васька чрезвычайно стыдился быть голым и обеими руками прикрывал некое место своего хилого и грязного каркаса. Когда вода нагрелась, Марк вылил ее в таз и потянул к нему Ваську. Тот на таз смотрел так, словно в нем не вода, а расплавленный свинец.

«Иди, иди, красная девица», – говорил Марк, силой наклоняя Ваську над тазом. Он ожесточенно натирал ему голову мылом, а Васька пищал, матерно ругался, но продолжал обеими ладонями прикрывать то, что он полагал неприличным показывать. Из соседней комнаты пришли Леонид и Алеша Байрон, пришли ругаться – нельзя ночью шуметь – но увидев в чем дело, помогли Марку отмыть звереныша. Марк вытер ему лицо, повернул к свету и засмеялся:

«Да ты, брат, совсем конопатый», – сказал он.

«Ты сам конопатый», – сердито сказал Васька. Теперь на нем была рубашка Леонида, она доставала ему до колен, прикрываться ладонями больше не требовалось.

Ваську они уложили на пустовавшую койку в Марковой комнате – от Юры Вегуна койка осталась. Марк уже засыпал, когда Васька спросил его:

«Марк, а, Марк! А ежели я встану и убегу, что тогда?» «Будешь дураком, вот и всё. Спи!» «А если украду, что тут есть, и убегу?»

«Я ж тебе сказал, что дураком будешь. Забрать тут нечего. Придет воскресенье, повезу тебя в один дом и устрою там».

«Это куда же, в детский приют?»

«Я еще не знаю».

«Если в приют, так ты и не пробуй. Не будь лягавым», – сердито сказал Васька.

Днем, когда у Марка было два свободных часа после обеда, они с Васькой гуляли. Ходили по улице – большой и маленький, похожие на братьев. Оба конопатые. Девушки кое-как приспособили Ваське штаны. Пиджак на нем был женского покроя.

На Страстном бульваре китайки с изуродованными ногами продавали растягивающихся бумажных драконов. Старухи торговали семечками, отмеривая гранёным стаканом. Зазывали к себе мороженщики. Не бульвар, а мелочный базар. Какой-то беспризорный собрат Васьки занимался книготорговлей. У него была пачка брошюр, железнодорожные тарифы на 1916 год, но он пронзительно голосил:

«Что делает жена, когда мужа дома нет. Всего десять копеек. Что делает жена, когда мужа дома нет».

«Марк, пойдем в кину!» – просил Васька.

Марк на такие просьбы не откликался. Тягостно тогда было у него на душе. Судьба Юры волновала. Отношения с Леной не наладились. О Наташе тревожно думалось. Проводит время с Костей, сыном профессора Пряхина. Не нравился он Марку, очень не нравился. Всегда нарядно одет. Наигранно-веселый. Порочное в глазах. Чувствуется нехорошее возбуждение. Такое возбуждение Марк пережил в ту ночь, когда случайная женщина шептала ему слова любви. От них кружилась голова.

Однажды, гуляя с Васькой, Марк говорил себе, что надо бы поехать к Наташе. Предостеречь ее. «Но как это сделать?», – спрашивал он. – «Какое предостережение я могу дать?»

«Марк пойдем в кину!» – канючил сзади Васька. – «Картина-то какая интересная, гроб в Индии показывают».

«Ну вот, ты еще заплачь!» – рассердился тогда Марк. – «И что ты пристал – пойдем, да пойдем в кину. Во-первых, не кину, а кино, а во-вторых, у меня нет денег».

«Ха! Да я тебе мигом червонец сработаю. Дай спички!»

Не спрашивая, Васька запустил руку в карман к Марку. Взял спички. Марк не придавал значения его словам, за хвастовство принял. Где он может достать червонец?

Но Васька не шутил. Марк видел: вьется впереди по улице. Вот, остановил нарядную женщину. Она, порывшись в сумке, что-то протянула. Неужели деньги? Васька сорвался с места, исчез в переулке. В тот же миг женщина подняла крик. Марк подо-

шел. Никто не понимал, что с нею, а она кричала, звала милиционера.

Появился милиционер. Захлебывалась словами. Рассказала. Она действительно сунула Ваське деньги, когда тот показал ей спичечную коробку. Уверяла, что в коробке было много живых вшей – черных, шевелящихся. Мальчик грозил обсыпать ее ими, если она не даст червонец. Сказал, что вши собраны им с тифозных больных.

Марк ушел. На бульваре небольшой павильон, в нем кофе, пиво и мороженное. Услышал – кто-то его зовет. За стеклом мордочка Васьки. Сидел за столом, пил кофе с настоящими сливками, ел пирожное. Звал, но Марк прошел мимо. Догнал у Никитинских Ворот.

«Видел?» – спросил хвастливо. – «В минуту сработал».

«Видел. И хочу уши тебе надрать», – сказал Марк.

«Это ты, Марк, брось». Васька на всякий случай подался назад.

«И бросать нечего», – сказал ему Марк. – «Ты мне дал слово свои замашки оставить и слова не сдержал. Остановил женщину и отнял червонец. А может быть у нее последние деньги. Ты теперь на эти деньги пирожные покупаешь, а потом пойдешь и еще бутылку водки отхватишь. Ну, как не стыдно!»

«Чудак ты, Марк», – сказал Васька. – «Да разве бедные бабы такими бывают? Идет в мехах, кольцо на руке блестит, и зуб золотой в роте тоже блестит».

«Не в роте, а во рту», – поправил Марк.

«Когда я говорю в кину, ты говоришь в кино, а когда я говорю в роте, ты говоришь во рту. Ты сам не знаешь, как правильно», – сказал Васька. – «А баба эта – буржуйская стерва, вот что!»

Васька шмыгнул носом, не по необходимости, а от возмущения.

«Ты мне этот классовый подход брось», – сердился Марк. «Не имел ты права отнимать червонец».

«Я червонца и не отнимал. Со страху она и не увидела, что два червонца, а не один дает. Но я не виноват, я просил один».

«Как это – просил? Ты грозил ей тифозными вшами в коробке. Откуда ты их взял?»

Васька страшно развеселился. Извлек из кармана коробку. В ней теперь были обломленные спичечные головки. Когда он встряхивал, они шевелились. Испуганная женщина могла принять их за вшей.

Марк повернулся и зашагал в сторону общежития. Скучающий Васька плелся позади. Кино для него потеряло привлекательность. Потом он исчез.

В общежитии Марка ждала подруга Наташи. Просила его ехать с нею. Рассказывала почти мужским голосом. Наташа вернулась под утро. Долго плакала. Потом ушла. Нашли на чердаке. Вынули из петли. С тех пор молчит.

Полутьма в комнате. Скатерть со стола закрывала окно. Наташа комком на кровати, лицом к стенке. До самого подбородка подтянула колени. Столько отчаяния, столько беспомощности! Может быть и не слышала, как вошел Марк.

«Наташа!» – тихо позвал он.

Комок на кровати вздрогнул, еще сильнее сжался и голосом Наташи прошептал:

«Не троньте меня. Ах, пожалуйста, не троньте!»

«Я посижу около тебя», – сказал Марк.

Молчали долго, очень долго, а потом: «Марк, о чем ты думаешь?»

Наташа опиралась на локти. Смотрела на него. Очень влажные глаза.

«Я не знаю, Ната. Ни о чем не думаю».

Всем телом подалась к нему. Распухшие губы, сухой, нездоровый блеск глаз.

«Марк, ненавись меня, как я себя ненавижу!»

Вскочила, обхватила его шею. Тоненькие руки. Сотрясалась от рыданий. Надламывалась. Он поднял ее, вернул на прежнее место. Крепко вцепилась в его руку:

«Не уходи, Марк, мне страшно! Всё тебе расскажу».

Путалась, сбивалась в словах. Прерывала себя плачем.

Рассказывала:

Не знает, как это случилось. Всё время думала о нем. Когда его долго не было, звонила по телефону. Ходили в театры, в кино. Приводил ее к себе домой. Познакомилась с его родителями. Привыкла к нему. Вчера поехали за город. Там озеро. Большая компания. Есть шалаш. Пили вино, пели. Потом все куда-то разошлись. Она только с ним. Это было страшно. В первый раз наедине. Он был пьян. Хотела удержать его. Сказал, что уйдет. А кругом темно. А потом эта мысль, что всё так просто. Было

страшно. Он требовал, она не могла решиться. У него горячие руки. Не было сил сопротивляться. Закричала, стала вырываться. Рвал на ней платье. Ноги отнялись. Не было силы кричать.

«Это мерзко, Марк, ах, как мерзко!» – вскрикнула она...

Наташа вскоре уехала из Москвы. На вокзале ее провожали Марк с Васькой и полногрудая девушка, обладающая мужским голосом. На лице Марка всё еще синели рубцы, но Наташа не смела спросить о них. Связь меж ними прервалась. Может быть, Наташа хотела всё бывшее забыть.

Вскоре и Алеша исчез. Поехал учительствовать на Урал. С полгода переписывались, потом – нет. Жизнь разводила их. Не наладилась связь и с Леонидом. Он к семье вернулся, в Кострому. Марк был уверен – Кострома хорошего врача приобрела.

Ваську от Марка забрали, в школу определили, но он скоро сбежал и затерялся. Марк всё ждал – появится Васька, но не появился. Лена совсем от него отдалилась, и Марк принял это отдаление...

Он сдавал выпускные экзамены. Рисовалось возвращение к себе, в родной хлебный край ставропольский, жизнь с теткой Верой. Но однажды его вызвали в кабинет ректора. Шинского не было. В ректорском кресле сидел человек с желтым, невыразительным лицом. Всё в нем было мелким. Низкий лоб. Глаза неопределенного цвета. Кроме Марка, было вызвано еще два десятка студентов. Все коммунисты. Незнакомый человек с мелким лицом стал на ноги. Мелок и ростом. Заложив ладони рук за пояс, стягивающий гимнастерку, сказал:

«Давайте знакомиться, товарищи. Я – Ежов, заведующий отделом ЦК партии. Вас я пригласил вот для чего. Нам нужны подготовленные работники для партийного и правительственного аппарата. По решению секретариата, вы подлежите партийной мобилизации. Товарищ Шинский организует для вас досрочный выпуск, это уже налажено. Сейчас я скажу, кто из вас куда поедет».

После нескольких других, он назвал Марка.

«А вас, товарищ Суров, мы предназначили на Дальний Восток», – сказал он. «Это большая честь. Край далекий, важный. Придется работать в трудных условиях».

В мыслях Марка пронеслись и растаяли родные степные места. Не видать ему их. И не сбыться мечте тетки Веры. Все эти

шесть лет она провела на колесах – от одного сына к другому, от другого сына к дочери и, конечно, к Марку в Москву. Привозила с собой нехитрые гостинцы, штопала белье Марку, Юре, Леониду и всем, кто ей под руку попадался, наслушавшись их студенческих споров, уезжала, но Марк знал: скоро вернется. Она его непристроенным почитает и надолго оставить одного боится. Мечтает, старая, что окончит Марк свое обучение, и поедут они к себе в степь. Марк учителем будет, а она за ним доглядит и невесту присмотрит. А тут восток дальний, разве повезешь мать в эту неизвестность? От матери уйдешь, а как уйти от неизвестности и имеет ли он право уйти?

«Я постараюсь хорошо работать», – просто сказал Марк Ежову.

И вот, поезд увозит его. На самый далекий край русской земли. День и ночь будет он стучать колесами, не один день и не одну ночь – и всё на восток. А позади – перрон московского вокзала. Провожающие друзья. Старушка в черном – тетка Вера. Марк ее спешно от Корнея вызвал, мечту ее о возвращении с ним в степи порешил, и она смирилась, и это приняла от своего поскребыша. Не плакала, провожаючи его. Опиралась на палку. Приложив руку к глазам, смотрела вслед поезду. Может быть всё еще шепчет, старая, слова, с которыми рассталась с ним: «Не удержу я вас. Все вы разлетаетесь. Храни тебя Бог!»

«На-вос-ток! На-вос-ток!», – без усталости стучали колеса.

В таком стуке, как всем известно, каждый слышит то, что ему хочется слышать, а Марку больше всего в тот час нужно было грусть расставания приглушить, уверенность почуять и он, прислушавшись к колесному перепеву, подумал, хоть не своими, а из песни словами, но совсем твердо подумал:

«На восток, так на восток. Там ведь тоже русская земля».

VIII КОЛИБРИ ПРИНОСИТ СЧАСТЬЕ

Может быть, Хабаровск совсем другим стал. Нынешнего его облика не зная, допустимо возомнить, что теперь и дома высотные в нем построены (слух такой в газетах часто печатается), и улицы

замощены, и водопровод во всех домах имеется (и даже вода по нему подается без перебоев), а то может и канализация не только по главной, но и по всем другим улицам и улочкам пролегла; но в то не совсем близкое время, когда Марк в него попал, все будущие благие перемены – от высотности до общегородской канализации – еще даже в планах не фигурировали, и новое в одном лишь доме советов цементно-мавзолеевого облика выражалось, да еще в том, что, ставши столицей обширнейшего края, Хабаровск много тысяч всякого служилого люда в себя впитал, что и дало повод какому-то шутнику сказать о нем: три горы, две дыры и сорок тысяч портфелей. Главная, Карломарксова, улица городской вид и тогда имела – дома на ней каменные, в два и три этажа – но от нее, как от туловища сороконожки, боковые улицы и переулки ответвлялись, а в них – одноэтажное царство. Тут дома были из бревен, тротуары из досок – щелястые, ногу на них сломать легче легкого – заборы в полтора человеческого роста, водоразборные колонки на углах немощеных улиц, крылечки у домов в лучшем старо-купеческом стиле – одним словом, поселение устоявшееся, прочно сохраняющее свой особенный лик.

Хабаровск того времени провинциальной свежести и прелести всё еще был полон. Земля далекая, холодная и, может быть, по этой причине редко где в других местах люди зелень так берегли и цветами так любоваться умели. Очарование Хабаровска и зимой не исчезало. Зима бывает суровая, но в ней выпадает много ясных, даже солнечных дней, когда весь город тонет в сверкающей белизне и предстает таким чистым, девственным, что просто невысказанно поверить, что в нем не всем легко дышится. А ночью, если она тихая и звездная, вовсе чудо происходит, дивно хорошеет Хабаровск. Мир становится глубоким, таинственным и совсем по-новому в человека всматривается. Чудо преображения с небес на город опускается, и несут его потоки искристого звездного света, щедро изливающиеся на спящий город. Ночная жизнь в Хабаровске в те времена была приглушенной – город дневными трудами живет, ночью же отдыхает – и потому в зимние ночи редко-редко люди на улицах появлялись. Идет такой редкий прохожий по ночному городу и как бы ни был он перегружен невеселыми дневными мыслями, прелесть ночного мира его от них хоть на короткую минуту отвлечет. Обязательно услышит он

тонкий стеклянный звон чистоты неповторимой – снежинки под ногами весть о себе подают; с удивлением заметит, что ветви деревьев зимой вовсе не голые, а алмазной тяжестью голубого снега к земле гнутся; и поймет вдруг – тишина! Ах, какая непотревоженная тишина бывает в зимнюю хабаровскую ночь! Идет человек и чувствует – вокруг она. Холодная, колючая, искристая и такая плотная, что ее грудь нужно проламывать; раздастся, пропустит его через себя и за спиной опять смыкается, впереди же – новые валы плотной тишины, голубым светом пронизанной, впереди – нерушимый, совсем особый мир, в котором ничего нет и очень много чего-то, что ощутишь, а не выразишь.

В одну такую алмазную ночь невеселые люди в крайкоме партии занимались невеселым делом – заседали. Описывать ночные заседания – мука одна, но и ее приходится принимать, это когда от таких скучнейших ночных бдений истекают события, с которыми нашему сказу по пути.

Марк стоял у окна, повернувшись к ночи спиной. Восемь месяцев прошло с тех пор, как дальний край втянул его в себя; срок небольшой, но Марка он своей печатью ясно отметил. Короче всего будет сказать, что за этот малый срок Марк прошел через пору окончательного созревания, и его теперь лишь с некоторым затруднением можно парнем назвать, а лучше сказать о нем, что он – молодой ответственный товарищ. Может быть, этот переход от парня к молодому ответственному не был бы таким ускоренным для Марка, да тут обстоятельства сыграли свою роль. На востоке дальнем произошло его первое настоящее столкновение с жизнью. И до этого в стороне от жизни он не был, крепко впаян в нее с детства, но одно дело брать от жизни ответы, и совсем другое – ответы ей давать.

В крае встретили Марка ласково, но тут же и жестокость над ним совершили, на тяжелый пост назначили. В краевом исполкоме под его начало отдел дали и сказали: выгребай. Точно так сказали, как тогда, когда его, подростка диковатого, посылали в университет.

За полночь уже перевалило, а заседание продолжалось, и самое нелепое состояло в том, что все присутствующие тут знали, что решать им ничего не нужно, всё уже решено в Москве, и ни у кого из них нет силы то решение изменить. Марк стоял у окна,

спиной к ночи, и так сжимал рот, и так хмуро глядел, что сразу было видно: слова человек не произнесет. Он думал, что и Виноградов напрасно спорит – ведь ничего изменить нельзя. Скорее всего, тот понимает это и сам – ничего изменить нельзя – но спорит из гордого упрямства. И еще потому, что очень уж он не похож на всех них. Беспартийный инженер, приглашен на заседание для консультации. Правда на его стороне, но кто из них, партийцев, осмелится поддержать его с его правдой, и какая правда может быть сильнее директивы Сталина! Марк хмуро обвел взглядом людей – нет, тут не было таких, которые могли бы стать на сторону Виноградова. И Марк не станет, хоть он и пришел на заседание защищать виноградовскую правду. Узнал, что Сталин уже решил, и смирился. Предкрайисполкома Баенко, который не дольше как утром этого дня был полностью согласен с Виноградовым, теперь сидит молча, и в глазах нет-нет да и вспыхивает усмешка. Потешается над редкостной ситуацией: беспартийный инженер на заседании крайкома оспаривает приказ Сталина. И, наверное, потешается над Вавиловым, который не знает, как всё это прекратить. Марк перевел взгляд на Вавилова. Секретарь крайкома был первой настоящей привязанностью Марка в крае. Всё импонировало в нем – и то, что был он большевиком-подпольщиком, и то, что, будучи малообразованным человеком, вырос он до понимания огромных проблем времени, и то, наконец, что у Вавилова редкостная среди партийных руководителей способность по-настоящему понимать людей и мучиться, когда нужно на них накладывать партийные взыскания, а то и еще более сурово наказывать. Вот и теперь он старается довести заседание до конца и не обидеть Виноградова. Удалил стенографисток, чтобы высказывания Виноградова не перешли на бумагу. Другой на его месте попросту оборвал бы того, сказал, что права голоса у него тут нет, а то и пригрозил бы, но Вавилов страдает, непрерывно курит, чешет ладонь о седую щетину подбородка, морщины на лице стали на шрамы похожи, но грубо остановить Виноградова не хочет. Марк благодарен ему за это. Ведь так легко обидеть беспартийного инженера на заседании крайкома. И так мало он заслужил обиду.

Когда Марк глядел на Вавилова, тот как раз чесал сразу обе ладони о щетину щек. Потом, словно решив любой ценой закон-

чить спор, он взял со стола лист бумаги, с которого уже несколько раз читал текст московской телеграммы. Сказал твердо, словно голосом и тоном хотел всем дать увидеть ту итоговую черту, которую он подводит:

«Указания центрального комитета партии мы не имеем права оспаривать. Я был бы плохой секретарь крайкома, если бы согласился с Виноградовым и Суровым. Директива совершенно ясна: немедленно завозить людей на место строительства, не взирая на трудности. В телеграмме товарища Сталина так и сказано: “не взирая на трудности”. Не будем терять время на споры. Единственная зимняя дорога – лед Амура. Если мы упустим эту дорогу, всё пойдет к черту, и нам тут не усидеть. Через тайгу тысячи людей не проведешь. Навигация начнется не скоро, да и плавучих средств на Амуре – кот наплакал. Одним словом, товарищи, я требую прекратить дискуссию и все силы бросить на доставку людей к месту строительства Большого Города».

Марк перевел взгляд на Виноградова – сдастся он теперь, или будет продолжать? Нет, Виноградов не сдавался. Он опять поднялся с места. Стоял высокий, худощавый, сильный. Марк поймал себя на мысли, что любит его. У него высокий узкий лоб в гармошке морщин. Очень спокойные, уверенные в себе глаза. Чертовски крутой, упрямый подбородок. «Каким он был в молодости?» – спросил себя Марк. – «Может быть был костлявым и неуклюжим парнем, похожим на Юру Вегуна». Почему-то Марку было приятно думать, что Виноградов – это повзрослевший Юра. Тот был таким же упрямым.

«Я всё же снова обращаю ваше внимание», – сказал Виноградов. Вавилов взмахнул рукой, останавливая его:

«Нет, товарищ Виноградов, уже всё сказано. Поймите, другого выхода нет. И права обсуждать, кто прав – вы или Москва – у нас нет. Вы – главный инженер строительства Большого Города, назначенный Москвой. До назначения начальника строительства, вы и начальник. Ваши возражения против транспортировки людей к месту строительства можно было рассматривать, как ошибку. После личных указаний товарища Сталина, они могут выглядеть иначе».

В голосе Вавилова была просительная нота, и Виноградов уловил ее, но ничем этого не показал. Дождавшись, пока секретарь крайкома умолк, он спокойно продолжал:

«Я должен вас предупредить, обязан снова и снова предупреждать, что посылка тысяч людей в тайгу без надлежащей подготовки практически ничего не даст, но будет стоить многих жизней».

Обрюзгший человек – он сидел у стола Вавилова, заполняя собой глубокое кожаное кресло – шумно вздохнул и проговорил сиплым, режущим слух голосом:

«Надо запретить эти разговорчики. Сталин приказывает, а Виноградов, видите ли, не согласен. Он смеет свое суждение иметь. Не понимает, что надо поддержать энтузиазм нашего комсомола, взявшего на себя строительство Большого Города».

На этот раз оборвал Виноградов.

«Энтузиазм, о котором говорит товарищ Синицын», – кивком головы он указал на сиплоголосого, – «энтузиазм прекрасная вещь. Но на свете, кроме энтузиазма, есть деловой расчет. От него не скрыть четырех вещей, которых в Москве не хотят понять. Первое, людям в этот холод на берегу реки негде жить. Почва промерзла на большую глубину, и даже землянки невозможно вырыть. Второе, людям нечем будет питаться, так как проект строительства еще только утвержден, и на место ничего не завезено. Переброска продовольствия отсюда – дело трудное и ненадежное. Третье, люди не могут отправиться в такой путь и выжить в тайге в своих городских пиджаках и негреющих пальто. Нужна меховая одежда, а ее нет. И, четвертое, людям нечего сейчас делать на месте будущего города, так как ни инструментов, ни машин туда еще не доставлено. Как беспартийный инженер, я лишен права понимать энтузиазм, но кое-что понимаю в строительстве. И я обязан предупреждать вас, снова и снова предупреждать, что посылка людей не нужна, грозит множеством бедствий».

Марк почти не прислушивался к тому, что говорилось. Всё уже сказано, дальше идут ненужные повторения и вариации. За то время, что он в крае, ему открылась важная и очень простая истина: приказ Сталина неоспорим. Логические доводы рассудка, показания термометра, неизведанность пути по льду, ненужность всей этой затеи, обещающей лишь страдания и гибель людей – ничто не может ни отменить, ни поколебать приказ. В Марка это знание вселяет вялость, в сиплоголосого Синицына – злость,

в Баенко – равнодушие. Ощущение автоматичности было новым для Марка, но теперь оно было постоянно с ним. Все они были винтами и винтиками машины власти, и каждому винту и винтику положена нагрузка и функция, и каждый обречен на износ и замену.

Марк невольно любовался Виноградовым. Среди них он – единственный, кто сам по себе, просто человек. Все другие – винты и винтики, объединенные в машину их чувством партийности, дисциплины, сознанием, что так должно быть. А Виноградов сам по себе, сила в себе. «А наша сила в чем?» – мысленно спросил себя Марк, и тут же ответил. В совместности. В партийности. Стадности. Влились в общее. А Виноградов не влился. Его воля вне совместности. В нем самом воля, и она его воля, а не общая.

До этого ночного заседания они много времени провели вместе. По поручению Вавилова Марк готовил доклад для крайкома, Виноградов помогал ему. Они говорили меж собой о том, что должно быть сделано для подготовки к строительству Большого Города, но мимоходом Марк многое узнавал о жизни самого Виноградова, этого дон-кихотствующего, но страшно занятого человека с очень любопытной судьбой. Года за четыре до всего того, что уже на Марковых глазах происходило, Виноградова за какую-то мнимую контрреволюцию осудили на десять лет лагерей и привезли на Дальний Восток. Здесь он скоро прославился среди чинов ОГПУ своим действительно большим инженерным талантом. Самые трудные постройки в зоне вечной мерзлоты возводились по его проектам. Такое строительство было тогда тайной великой. Сплошь и рядом бывало так, что построят сооружение, а оно при первой же оттепели валится. У Виноградова этого не случалось – особое чувство обстоятельств и условий ему было дано. Как все знают, у чекистов изредка меценатство проявляется: не прикончили человека, значит следует его талантам покровительство оказать. Некоторые неудержимо талантливые арестанты и в тюрьмах свою работу продолжали – котлы прямоточные изобретали, аэропланы новые конструировали, театр на Медвежьей Горе такой создали, что он московскому Малому нос утирал. Виноградов в русло такого чекистского меценатства попал, и тут идея города на Амуре его увлекла. Повезли Виноградо-

ва в Москву вместе с его проектом, к Сталину доставили. Тот выслушал его, немедленно согласился с идеей, тут же освободил его из заключения и назначил главным инженером строительства Большого Города.

Когда Виноградов уходил, Сталин остановил его у двери и сказал:

«Ваш проект хорош, но в расчетах есть одна ошибка, которую нужно будет исправить». «Какая?» – спросил Виноградов.

«Вы растягиваете срок строительства Большого Города и заводов на восемь лет, всё это нужно построить в два-три года».

«Невозможно!» – сказал Виноградов.

«Возможно!» – заверил его Сталин. – «Больше напряжения и жертв, меньше сентиментальности, и невозможное станет возможным».

Вскоре по всей стране стали раздаваться призывы к молодежи: на стройку Большого Города! Россия такая страна, в которой всегда найдется много энтузиазма, и веры, и легковерия, и готовности потрудиться для общего дела, и нет ничего удивительного, что призывы к молодежи погнали молодых энтузиастов на Дальний Восток строить Большой Город. В крае растерялись. Приезжающих негде было селить, нечем кормить. Виноградов слал в Москву одну телеграмму за другой, прося отложить приезд людей до весны и лета. Вавилов и Баенко поддерживали его. А наплыв продолжался, и когда ударили по-настоящему трескучие морозы, в крае было уже больше двух тысяч добровольцев, ждущих отправки на место строительства. Ютились они в холодных бараках, отчаянно простужались, заполняли больницы.

Марк рассказал обо всем этом на заседании крайкома, предлагал те меры, которые они выработали с Виноградовым, а главная из них – прекратить посылку новых партий добровольцев-строителей. Он был уверен, что крайком согласится с этими мерами, но всё, как оказалось, переменялось. Когда Марк закончил свой доклад, Вавилов сказал, что вопрос о завозе людей на место строительства уже решен. Он прочитал телеграмму Москвы. Сказал, что им нужно сделать всё возможное, чтобы директива товарища Сталина была выполнена. Марк умолк. Не имеет значения, что все они думают. Сталин приказал, это всё! Россия – корабль. Сталин у руля. Это от плаката: кормчий революции. Таких плака-

тов много повсюду. На нем Марк видел Сталина, себя же не видел. Сталин у руля, Марк в кочегарке. Как может он возражать приказам, идущим с мостика?

Виноградов спорил долго, настойчиво, а Марк молчал. Знал, что спорить бесполезно, думал совсем о другом.

Его раздумья прервал Вавилов.

«Что ты скажешь об этом предложении, Суров?» – спросил он.

«Я не слышал предложения», – признался Марк. Синицын сердито сказал:

«Во время заседаний нужно думать о том, что относится к делу, а не витать в мечтаниях».

Марк хотел было ответить, но его опередил Вавилов.

«В двадцать четыре года, товарищ Синицын, не только дозвоительно, но даже обязательно мечтать», – сказал он. – «Нам с тобой, старым чернорабочим партии, мечтать не пристало. Разве только ты помечаешь о том, как хорошо бы не иметь язвы желудка, а я – дырки в легком».

Вавилов подошел и похлопал Марка по плечу – он всегда так делал, когда хотел показать кому-нибудь свое расположение.

«Я думаю, товарищи, что Баенко внес хорошее предложение», – сказал он, отходя к своему месту. – «Кроме всего другого, о чем мы договорились, мы пошлем Сурова с первым транспортом. Уполномоченным крайкома. Товарищу Виноградову мы даем хорошего помощника. Вы, товарищ Виноградов, можете твердо рассчитывать на нас. Всё сделаем, чтобы вы могли выполнить директиву товарища Сталина».

Вавилов говорил так, словно Виноградов и не спорил против этой директивы. Было видно, что очень доволен тем, что Виноградов наконец умолк, смирился. Сказал:

«На этом ставлю точку, заседание закрывается. Разбегайтесь по домам, а если кого жена не пустит, время-то позднее, а жены не любят поздних возвращений их благоверных, то тот может ко мне приходить. Моя супружница в нетях обитает, поехала к дочери, да там и засела. В Ростове, вы знаете, климат более ласковый».

Вавилов всегда после длинных заседаний любил немного побалагурить. В комнате теперь было шумно, люди, вжившиеся в ночные бдения, разбегаются не очень охотно.

«Марк пойди сюда!» – крикнул Сеницын. Марк подошел. «Хочешь матюкнуть меня?» На Марка Сеницын смотрел маленькими и хитрыми глазками, в которых и следа не оставалось от той злости, с какой он напал на него во время заседания.

«За что?» – спросил Марк.

«Для саморазгрузки. Ты весь вечер злишься, даже конопушки на лице заметнее стали. Матюкнись на деда, облегчись душевно».

Марк смеялся. Сеницын сам себя назначил ему в деда, и умный этот дед, ох, какой умный! А то, что он часто злится, слывет людоедом, от двух причин происходит: от ума и от язвы желудка.

«Ладно, дед», – сказал Марк. – «Я уже привык к вам. Вы лучше с Виноградовым помириться».

«Придется», – сказал Сеницын, со вздохом поднимаясь на свои толстые больные ноги и потирая ладонями поясницу. – «Если бы успехи достигались тем местом, на каком мы сидим, то не только социализм, а коммунизм давно был бы уже построен», – сказал он. – «Героические мы задницы, твердокаменные заседатели... Добре, пойду мириться, как ты говоришь. Знаешь, Марк, я его побаиваюсь. Виноградов мне кажется большим, а мы маленькими, и маленькие кусают большого во все допустимые и недопустимые места».

Тишиной была полна ночь. Подняв воротник шубы, Марк шел по пустынной улице. После табачного дыма в кабинете Вавилова, грудь просила свежего воздуха – глубокого, во всю силу легких, вдоха. Но накаленный морозом воздух обжигал горло, и надо было дышать осторожно, через ворс воротника. Идти в мягких унтах по утрамбованному насту, под которым до весны скрылись тротуары, было удобно и легко. Шуба защищала от холода, оставались открытыми только глаза. На них мороз ожесточенно напал: ресницы и брови превратились в льдинки.

Тут будет уместно высказать некоторые мысли о Марке – может быть дальше для них и места-то не найдется.

Университет существенно переработал его, но основу духовную не затронул; потому не затронул, что основа эта, вся до конца и последнего витка, на ткацком станке революции была соткана – революции и лет потрясенных. Конечно, как мы уже сказали, повзрослел Марк, в мыслях окреп и безудержные порывы сменились в нем организованной мечтой, но спроси его – во что веру-

ешь? – и он, хоть и по-другому, но скажет то, что всегда говорил: в счастье людское верую, в дело наше верую. Правда, теперь-то Марк знал, что обетованное счастье не рядом, не за следующим поворотом их общего пути ждет их, а придется к нему идти долго и трудно, но ведь это знание, при всей его важности, не может быть главным. Главное то, что он по-прежнему верил и знал, очень твердо знал, что цель их достижима, и что она так велика, так судьбоносна, что к ней нужно напролом идти – жестоко идти, без колебаний и сомнений.

Марк имел зоркие глаза, но полное отсутствие опыта разочарований. Конечно, в его жизни были личные разочарования, даже болезненные, но разочарований больших, гражданских, если это слово тут уместно, у него не было. Нельзя сказать, что жизнь не давала ему указаний; такие указания были, да Марк от них отгораживался своей партийностью, верой в ум и опыт старших товарищей и сознанием, что без ошибок и срывов их великого дела не построишь. По его тогдашнему понятию, любую ошибку можно исправить, любой промах устранить, если основная цель остается ясной и непрерывное движение к ней совершается. Вера в цель была шорами, надетыми на его глаза; из-за них он только вперед видел, а то, что по сторонам проносится, что позади остается, как-бы вовсе и не замечал

В этом одна удивительная особенность русского характера выявилась – однолюбство, исступленная приверженность единоверию и легкость, с какой мы подавляем сомнения, не зная им подлинной цены. Сомнения мы часто принимаем за слабость, тогда как с них всё великое зачинается. Другой стороной нашего однолюбства является нетерпимость к инакомыслящим. Того, который не согласен с нами, мы сразу к врагам причисляем, огнем и мечом истребляем, не понимая, не зная, не веря, что свобода не с единства, а с различий зачинается и если действительно о свободе болеть, то прежде своей, чужую свободу нужно уважить потому, что ведь может быть и так сказано: моя свобода кончается там, где зачинается свобода другого.

Из-за шор, надетых на него жизнью, видя лишь вперед, Марк не замечал, а замечая не понимал, что происходит много такого, что их далекую цель искажает или вовсе отменяет. Это было время, когда явственно обозначилось умирание партии. Она переста-

вала быть братством свободно верящих людей, из силы водительства, становилась инструментом властного подавления. Верующие, убежденные ей больше не были нужны. Наступало золотое время покорных и ловких. Сверху донизу происходило измельчание, опошление и людей, и дел их, и порывов. Учение партии, хоть и приниженное новыми апостолами всевластия, еще жило, но оно уже теряло свое началополагающее значение: началом становилось не учение, а единодержавная воля. Жестокий прагматизм убивал последние остатки партийности. На место убежденного коммуниста становился ловкий бюрократ, вооруженный хлесткой фразеологией. Вера умирала, фразеология крепла.

Конечно, Марк был еще далек от такого ясного понимания. Должно было многое произойти, прежде чем он от шор освободинлся, но жизнь уже тогда, в хабаровские годы, нагнетала в него ощущение беды, тревожила новым, чему он не мог еще открыться.

Но вернемся к самому Марку, одиноко шагающему по ночному Хабаровску. Ему казалось, что он – единственная движущаяся точка в застывшем мире. Неподвижным был воздух, накаленный морозом. Неподвижны деревья, опустившие омертвевшие алмазные ветви к земле. Не шелохнется бархат ночного неба, в который вшиты холодные блески звезд. Вышел он к обрыву. Внизу лежала величавая громада реки, скованной льдом. Дорога в неизвестность, о которой сегодня говорилось в крайкоме. В затоне вмерзли в лед суда, их только весна позовет к жизни. Другого берега не видно – далеко другой берег Амура. Постояв на обрыве, Марк свернул в боковую улицу. Остановился у домика с четырьмя окнами, постучал в крайнее, мутно освещенное изнутри. С другой стороны тень к окну пододвинулась, да разве с той или с другой стороны разглядеть? Стекло морозными наслоениями затянуто, не увидишь через него. Марк выдернул руку из теплой варежки и поцарапал по стеклу, а потом легонько стукнул. Три раза стукнул. Тень исчезла. За дверью шаги. Он вдруг почувствовал тревогу. Ему показалось, что кто-то смотрит ему в спину. Оглянулся, но никого не было. За дверью справились с примерзшим засовом, открыли, и он вошел.

Снежный сугроб недалеко от дома зашевелился, стал подниматься, принял очертания человека, закутанного в белую шубу.

Из-под белой шапки с длинными ушами – ими, как шарфом, можно обернуть шею – остро и настороженно смотрели темные, широко поставленные глаза.

В комнате было тепло, но озябший Марк льнул к изразцам печки. Ресницы глаз взмокли, отяжелели – оттаяли. Городской пиджак на нем вовсе не гармонировал с меховыми унтами на ногах. Рубашка-косоворотка стала слишком просторной в воротнике. Но, в общем, если приглядеться, то тот же человек, что стоял у окна вагона и думал о матери. Серьезный не возрастом, а чем-то другим, что в нем есть. Но и молодой, способный засмеяться. Молодым стариком такого не назовешь – в нем зрелость молодость не оттеснила, как часто бывает, а в ногу с ней пошла.

Обнимая печку, Марк смотрел на девушку, впустившую его в дом. Та вешала его шубу. Какая-то странная девушка – непривычная русскому глазу. Увидев ее, сразу вспомнишь – Азия тут. Широкие скулы, чуть-чуть заметная косоглазость. Не русская. Но и русского много. Русые волосы, они на голове золотой короной. Матовое лицо. Сквозь тонкую кожу нет-нет да и полыхнет такой яркий румянец, что глаза хочется закрыть. Стройная, заметно длинноногая. Узнавалась во всех своих тайных очертаниях сквозь узкое, простенькое платье. Марк любовался ею. Бессознательная грация. Даже варежки положила на печку как-то по-своему – мягким, нежным движением. Таким движением к цветам нужно прикасаться, а тут – варежки.

«Колибри, ты самая красивая девушка, какую только можно себе представить!» – сказал он.

«Тем не менее, ты выбрал печку, чтобы обнять ее, а не самую красивую девушку».

Колибри говорила несколько растягивая слова. Может быть, поэтому всё другое в ней шло впереди речи – тепло косоватых глаз, белая кипень улыбки, смех пухлых, немного крупных губ.

«Неправда, Колибри», – засмеялся Марк. – «Прежде я обнял тебя, а печку потом».

«Если то, что ты притиснул меня в коридоре к холодной стенке, а потом прижал к такому же холодному меху шубы да еще при этом пребольно наступил на ногу, называется обнять, тогда ты, конечно, прав».

«Катя, Колибри ты моя смешная, не будь придирой. Я обнял тебя со всем свойственным мне пылом. Что касается отдавленной ноги, то с этим ты должна уже давно смириться. Всегда, когда я пытался поцеловать девушку, я наступал ей на ногу».

«Но к тому времени, когда ты собрался поцеловать меня, у тебя уже был достаточный опыт. Я не помню, чтобы при первом поцелуе ты отдал мне ногу. Давить начал позже».

Девушка стряхивала с шубы Марка всё еще не растаявший снег.

«Ты тогда избежала этой участи потому, что я провел специальную подготовку», – сказал он, хлопывая руками по горячей печке. – «Помнишь, я усадил тебя с ногами на диван и только потом поцеловал. Не мог же я лезть на диван, чтобы наступить тебе на ногу!»

Девушка покончила с шубой и подошла к нему. Забросила руки ему на шею – глаза, как звезды, в них – радость, улыбка.

«Да, я помню, Марк!» – сказала она. – «Ты казался мне таким угрюмым, нелюдимым, что я не могла бы поверить. Потом поцеловал. И покраснел. Тебе было стыдно. Но когда я ответила, ты засмеялся. Как всё-таки странно! Мы знали друг друга всего несколько дней и... навек вместе».

«Да, Колибри, всего несколько дней. Но я с первого взгляда понял, что ты для меня. Единственная. Я тебя искал».

Может быть и правда, что любовь раскрепощает человека от пут, которые он сам на себя накладывает. Ведь вот Марк, какой он был тугой человек на нежные слова, а с Колибри те слова из него с необыкновенной легкостью лились. Такие люди, как он, при тугости их на открытое выражение чувств, на самом деле бывают полны нежности к людям. В Марке большая любовь к братьям была, к сестре. Лену он любил, Наташу любил. Но никому, а только матери, да и той лишь изредка, ласковые слова говаривал. А тут, с Колибри, нежные слова давались ему без труда, радостно изливались. Колибри научила его этой легкости.

«Ты для меня. Единственный!» – шептала она. – «Я искала тебя. Долго».

Свет за окном погас. Человек в белой шубе, постояв еще немного, ушел вдоль пустынной улицы в безмолвную тишину, освещенную алмазами звезд.

В темноте комнаты тихие голоса Марка и Колибри.

«Ты опять не поужинал, Марк. Я приготовила для тебя что-то очень вкусное», – сказала она.

Вспыхнула спичка, Марк закуривал. Свет выхватил из тьмы девушку, положившую голову к нему на плечо.

«Марк, скажи», – проговорила она, когда спичка погасла. – «Мне не показалось, что ты сегодня пришел взволнованный? Ты так странно оглянулся, когда входил в коридор».

«Какая-то глупость!» – признался он. – «Показалось, что кто-то смотрит мне в спину».

Помолчали. Он думал, что им нужно ликвидировать двусмысленное положение. Связь с девушкой, которую любишь, должна завершаться нормальным образом, а у них не брак, а какое-то странное сожительство.

«Колибри, мне всё это надоело», – сказал он. – «Мы поженимся, и тогда не нужно будет таиться».

«Да, родной! Но ты ведь знаешь, что надо ждать. Не всё зависит от нас».

В голосе девушки тоскливые нотки и он прижал ее к себе.

«Не бойся, Колибри. Мы найдем выход, должны найти. Нам придется крепко подумать, как выправить нашу жизнь».

«Но как?» – шелестел голос девушки. – «Я ведь всё тебе рассказала. У вас в России так сложно жить. Если бы папа предвидел всё это, мы остались бы в Харбине».

Девушка замолкла. Марк всё знал, всё она рассказала ему. Отец был служащим железной дороги в Манчжурии, там женился на женщине из Японии. Когда появилась Катя, мать воспитывала ее японкой, отец хотел видеть ее русской. Лет до четырнадцати Катя с трудом говорила по-русски, старалась подражать матери. Потом мать умерла. Затосковавший отец всю свою любовь перенес на девочку. Катя легко поддалась его влиянию. Увлекалась русскими книгами, посещала русскую школу. Год назад отец привез ее в Россию, и тут всё это началось. Его арестовали. Девятнадцатилетняя Катя увидела, что Россия совсем не похожа на то, о чем говорил ей отец. Страна ее мечтаний умерла, но сама Катя устояла. Надо было спасти отца. Странные для нее, очень суровые люди приказали ей наняться к японскому консулу. Девушка, одинаково хорошо говорящая по-русски, китайски и япон-

ски, была для них находкой. Она убирала у консула комнаты, стирала и гладила белье, а уходя, уносила в карманах клочки бумаг, вынутые из мусорных корзин. Японцы приказали сжигать эти клочки, но она платила ими за свободу отца, которого отправили на жительство в Туркестан.

Потом из Японии приехал новый сотрудник по имени Йошима. Молодой японец, всегда тщательно одетый и подтянутый. Мрачные люди, получающие от Кати обрывки бумажек, строго приказали ей его ухаживаний не отвергать. Для Кати это очень трудно, у нее Марк, к которому она привязалась, но может ли она рисковать жизнью отца? Теперь она не убирала комнат, а сидела в приемной консула, хотя посетителей совсем не бывало.

Марк был у людей, дающих Кате приказы. Он и раньше встречал их, когда они появлялись в доме советов. Всегда втроем. На тихой, незаметной улице ему открыл дверь один из них.

«Заходите, товарищ Суров», – сказал он. – «Мы не любим, когда к нам приходят, но вы настаивали. Мы готовы говорить с вами».

В большой комнате было тепло. Обстановка купеческого дома. Нельзя было бы догадаться, что здесь находится какое-то странное учреждение, занятое тайными делами. Трое сидели вокруг круглого стола, на столе книги – учебники японского языка. Марк опять отметил про себя, что все трое удивительно похожи друг на друга.

«Водка, ликер, коньяк?» – спросил один из хозяев. Этот был с прозрачными, ничего не выражающими глазами.

«Нет, спасибо, я по делу», – сказал Марк, садясь у стола. – «Я пришел говорить о Кате Антиной».

Человек с пустыми голубыми глазами, было похоже, что он в троице старший, откинулся к спинке кресла. Барабания пальцами по столу, сказал:

«Мы это знаем, товарищ Суров. Давайте говорить о деле. Итак, Катя Антина. Что же дальше?»

«Я хочу, чтобы вы оставили ее в покое!» – сказал Марк. – «Мне нечего вам говорить о моих отношениях с этой девушкой, вы о них знаете. Тот путь, который вы ей продиктовали, ведет к гибели. Нельзя Катю, спасающую своего отца, заставлять делать... невозможные вещи».

Человек сплел пальцы рук, хрустнул ими, но голубые глаза оставались пустыми, ничего не выразили.

«Вы хотите сказать, что нельзя заставлять Катю заниматься шпионажем?» – спросил он бесцветным голосом.

«Да! Если вы думаете, что это самое точное слово».

Снова сидящий против него человек хрустнул пальцами и, не повышая голоса, сказал:

«Вы очень нежны, товарищ Суров. Будучи столь нежным, вы даже избегаете называть вещи своими именами. Слово шпионаж вам кажется дурно пахнущим, не правда ли? Наверное, про себя вы сейчас думаете, что вот мол, приходится разговаривать с грязными шпионами, втягивающими Катю в свое ремесло. Белоснежная Катя, и вдруг шпионаж, какой ужас! Для краткости нашего свидания, уточним положение. Катя Антина, как человек, нас не интересует. Человечков много по улице бродит, и мы ими не занимаемся. Но как наш агент, она должна и будет работать. Можете как угодно расценивать этот род работы, нас ваша оценка не интересует, но если вы хотите знать наше мнение, то мы можем сказать, что нигде нельзя так успешно послужить партии, как на том участке, куда мы поставили Катю Антину. Ваши отношения с нею нам известны, и мы их терпим. Они не мешают нам. Но если станут мешать, мы оборвем их, можете в этом не сомневаться. Не хочу вам грозить, но всё же помните, что если вы попытаетесь мешать нам, ваши отношения с Катей будут оборваны. У нас для этого есть достаточно возможностей. Теперь подпишите, и до свиданья».

Он протянул Марку лист бумаги – письменное обязательство не разглашать тайны разговора. Марк молча направился к двери, не подписав. Его не остановили. Рассерженный, вышел он на улицу. Нет, он так не сдастся. В тот миг он был уверен, что не сдастся, но вот, прошло уже несколько недель, а он всё еще не знает, что сделать и как спасти Катю от тех, втроем изучающих японский язык.

«Не бойся, Колибри, мы найдем выход», – опять сказал Марк.

Девушка теснее прижалась к нему. Окно, отгородившее их от светлой ночи морозным узором, подслеповато шурилось, словно слушающая, о чем они говорят меж собой.

«Знаешь, Марк, Йошима офицер, а не дипломат», – сказала девушка. – «Я почему-то стала ужасно бояться его. Каждый день он два часа учит русский язык, но японцам трудно научиться хорошо говорить по-русски. Я удивляюсь его упорству. Зачем ему это?»

«Для шпионажа, как и...» – Марк оборвал, не договорил.

«Ты хотел сказать, что это ему нужно для шпионажа, как и мне нужен японский язык? Я знаю, то, что я делаю – шпионаж, но если иначе нельзя? Ты покинешь меня, Марк. Кому же охота иметь дружбу с шпионкой!»

Говорила, а в голосе дрожь, слезы.

Марк шептал ей, успокаивал:

«Моя маленькая Колибри, ты глупая, смешная птичка. Ну, как ты могла подумать, что я сравниваю тебя с этим желтолицым разбойником? Я сказал, что русский язык нужен ему для шпионажа, но я знаю кое-кого, и ты их знаешь, кто упорно учит японский язык. Может быть не два, а три или четыре часа в день. О них я говорил, не о тебе».

На рассвете Марк принес из коридора охапку дров, разжег печку. Огонь зарычал в трубе, изгоняя накопившийся за ночь холод. Колибри наблюдала за ним. Ей было смешно. Такой неуклюжий – за все цепляется, расплескивает воду, похож на медведя в своих меховых сапогах.

«Марк!» – позвала она.

Он наклонился к ней. Ее руки появились из-под одеяла, охватили его шею. Поцеловав голые руки девушки, он укрыл ее до подбородка.

«В комнате так холодно, что Колибри может отморозить крылышки», – сказал он.

В голосе уже не было прежнего тепла; девушка почувствовала перемену.

«Нам предстоит расстаться, Колибри. На короткий срок», – сказал он. – «Я уеду, но скоро вернусь. До отъезда я буду очень занят, боюсь, что мы не сможем встречаться часто».

«Но Марк, я не могу не видеть тебя. Мне без тебя совсем плохо, совсем тоскливо».

«Понимаешь ли, Колибри, мне придется работать по ночам. И днем много работать».

«Но ты и так приходишь только под утро».

«Это правда, но я не уверен, что до отъезда я буду часто приходить. Меня посылают туда, где будет строиться Большой Город».

«У вас в России всё или большое, или великое», – тихо сказала девушка. – «Перед всем этим человек себя совсем козявкой чувствует. Если ты не можешь, тогда я буду приходить к тебе».

«В моей комнате не только Колибри, но даже ворона не выдержит, так в ней холодно. Живу в доме с центральным отоплением и в чудовищном холоде. Отопление никогда не работает».

«Всё равно, я буду приходить к тебе», – шептала девушка. – «Я буду греть тебя. Хорошо?»

Марк неловко повернулся, и с ночного столика посыпались мелкие вещицы. Упало и разбилось зеркало. Какие-то шпильки, приколки, флакончики – всё оказалось на полу. Он опустился на колени, собирал всё это.

«Разбилось зеркало!» – тихо и печально проговорила девушка. – «Это очень плохая примета».

«Примета моей неуклюжести, не больше!» – сказал Марк. Ему под руку попала крупная голубая брошь, которую Катя носила на воротнике кофты. На ней – колибри из голубого камня. Раскинула крылышки и раскрыла клюв, словно издаёт радостный крик. Марк загляделся на эту вещицу, перешедшую к Кате от матери.

«Из-за этой брошки, я назвал тебя Колибри», – сказал он. – «Птичка показалась мне такой же радостной и светлой, как ты. С тех пор ты для меня – Колибри».

«Знаешь, Марк, мама говорила, что колибри приносит счастье», – сказала девушка, начиная одеваться.

Уже было мутное утро, когда Марк вышел из домика. Мимо проходил китаец в белой шубе и длинноухой шапке. Марк вдруг почувствовал: кто-то смотрит ему в спину. Он обернулся, но китаец удалялся, глядя себе под ноги.

Марк во власти новых забот – подготовка первого транспорта к Большому Городу. Виноградов возложил на него трудную задачу – экипировать людей. Марк устраивал повальные обыски на складах учреждений. Найденные вещи, нужные для транспорта, правдой и неправдой он получал для Виноградова. Трест заготовки мехов долго отбивал его атаки, но должен был сдаться. После

нескольких заседаний у Вавилова, просьб, требований, угроз меха были отданы для строительства, и из них начали шить спальные мешки. На складе экспортной конторы было с сотню женских шубок из голубой белки. Они висели длинным рядом в холодном складе.

«Какие замечательные!» – радовался Марк.

Начальник конторы заверил:

«Первый сорт. Заграницей очень ценятся».

Но Марк любовался ими вовсе не по этой причине. Начальник конторы трагически воздел руки, когда услышал, что он хочет получить их для строителей Большого Города, которые и представления не могут иметь, какие на самом деле это замечательные шубки и как важно выполнить экспортный план.

В тот же день начальник конторы стоял перед Вавиловым и, вытирая пот с лица, твердил:

«Не могу, товарищ секретарь крайкома, не могу. Хоть нарежьте – не могу! Валюта это. Под суд пойду, если отдам эти шубы внутреннему рынку».

Вавилов через Москву получил и валютные шубы.

В один из тех дней, Марк имел очередную стычку с Южным, вторым по рангу чекистом на Дальнем Востоке. Был это человек рыжий, жирный и для всякого мундира оскорбительный. Марк был знаком с ним с первых дней в Хабаровске, и всегда он вызывал в нем смешанное чувство удивления и неприязни. Пост Южного не маленький, но сам он был какой-то мелкий, крикливый и неприятный. Марк теперь пришел к нему всё с тем же делом—экипировку для строителей Большого Города искал. Южный принял его. Сидел в кресле, заполнив его до отказа опарой своего бесформенного тела.

«На складе пограничных войск имеется много полушубков и валенок. Дайте их строительству Большого Города», – сказал Марк.

Южный завозился в кресле, недовольно засопел.

«Вы, Суров, знаете, что у нас много полушубков и валенок?» – спросил он. – «А откуда знаете? Вы наблюдаете за тем, что поступает на наши склады?»

Марк старался сдерживать раздражение.

«Скорее наоборот. Это ваша обязанность наблюдать за мной, а не моя за вами», – сказал он. – «Вавилов справлялся в вашем

отделе снабжения, и ему сообщили, что теплая одежда имеется, вот он и послал меня».

«Ну, и что? Вы, Суров, в роли няньки при Виноградове состоите?»

«Я выполняю партийное поручение, а Виноградов в няньке не нуждается. Речь сейчас о полушубках и валенках, а не о нем».

Марк злился. Думал о том, что этот самый Южный возил Виноградова в Москву с его проектом. Охотно играл роль соавтора. А потом Виноградова освободили, и Южный уже ненавидит его. По потерянному соавторству скучает.

«Ни полушубки, ни валенков я вам не дам», – крикливо сказал Южный, а когда он кричал, все падежи русского языка у него произвольно смещались. Он сидел в новеньком мундире, который не сдерживал его расплывающегося киселеобразного тела. Марку стула не предложил.

«Вы ничего не получите», – кричал он. – «Может быть вам хочется знать, сколько у нас пограничных войск? Вы думаете, мне неизвестно, что вы сегодня были на армейской базе? Устанавливать военные запасы на нашем языке называется шпионажем. Понятно вам это?»

Марк посмотрел в узкие, заплывшие глаза Южного, увидел в них злость, сам злостью наполнился, но сдержался.

«То, что вы сейчас сказали, глупая шутка», – сказал он. – «Партия знает меня не хуже, чем Южного. На военных базах я был, и от вас поеду к командующему армией. Уверен, что он иначе отнесется к просьбе, чем вы. Можно подумать, что для вас безразлична гибель людей в пути».

«Мне это будет не безразлично, когда они погибнут», – крикливо сказал Южный. – «Если погибнут, вы и Виноградов поймете, насколько мне это не безразлично».

После Южного, Марк пошел в штаб армии. Подтянутый адъютант облил его голубым сиянием глаз. Эти глаза, должно быть, предназначались девушке, но произошла ошибка, и они были даны человеку, затянутому в мундир. Может быть, адъютант стыдится своих девичьих глаз, и потому хмурился так сурово. Пригласил он Марка следовать за собой и привел в кабинет командующего. Блюхер дружелюбно улыбнулся навстречу, Марку сразу стало легко и просто изложить просьбу.

«Я не осмелился бы беспокоить вас, Василий Константинович, если бы не крайняя нужда», – сказал он.

«Знаю, всё знаю», – прервал Блюхер. – «Вавилов со мной говорил, просил помочь. Не легкая это задача, мой друг. Даже для командующего особой краснознаменной не легкая. Впрочем, нам легких задач вообще не оставлено, даже пара валенок становится проблемой чуть ли не всесоюзного значения. Но всё, что могу, сделаю».

Блюхер сказал синеглазому адъютанту:

«Дайте телеграмму, посланную наркому».

«Я придумал вот что», – сказал он Марку. – «Мы объявим первый транспорт к месту строительства военизированным походом. В Москве это любят. Это даст нам право выделить обмундирование».

Адъютант принес копию телеграммы.

«Но здесь речь идет о трехстах пятидесяти комплектах зимнего обмундирования», – сказал Марк, прочитав. – «От нас же требуют, чтобы первый транспорт был в тысячу человек».

«Знаю! Но просить тысячу комплектов, наверняка не получить ни одного. Поверьте мне, что это так».

«Вы не представляете себе, Василий Константинович, как много значит ваша помощь», – сказал Марк.

Блюхер улыбнулся. У него было несколько бледное лицо, широко поставленные глаза, и когда он улыбался, то щурился, и оттого казалось, что он сам радуется своей улыбке.

«Теперь давайте поговорим о другом», – сказал он. – «Ведь вы брат Корнея Тимофеевича?»

«Да».

«Как поживает старый рубака? Постарел? Когда-то мы с ним вместе воевали».

«Он счастлив», – сказал Марк. – «Или я надеюсь, что счастлив. Влюблен в службу, ничего больше знать не хочет. Любит говорить, что у лошади голова большая, пусть она и думает».

Блюхер развеселился.

«Узнаю», – сказал он. – «Узнаю Корнея Тимофеевича в ваших словах. Он всегда был такой... незадумывающийся, непосредственный. Чудесный товарищ. Будете писать, передайте ему мой привет».

Марк шел по улице. Морозный воздух был чист и прозрачен, к небу тянулись столбы дыма из труб. Триста пятьдесят комплектов зимнего обмундирования делали его счастливым. Впереди из переулка показалась женщина в длинной шубе. Колибри. Никто другой в городе не носит такой смешной меховой шапки, похожей на шлем летчика. Она, должно быть, была у трех близнецов, изучающих японский язык.

Девушка испуганно вскрикнула, когда руки Марка обхватили ее сзади и приподняли. Марк тормозил ее, словно хотел вынуть из шубы. Шапка-шлем на голове сбилась на сторону, волосы густой волной залили плечи и спину – теплая, жизнью пахнущая волна. На лице девушки тревога.

«Что с тобой, Катя?» – спросил он. – «Сегодня утром я оставил тебя радостной и веселой. Что случилось?»

Из переулка, из которого до этого вышла Катя, появилась неуклюжая фигура, закутанная в рваную меховую шубу. Сквозь воротник выглядывало коричневое лицо китайца. Катя проводила его взглядом.

«Почему я так часто вижу этого китайца?» – прошептала она.

«Мало ли их в городе!» – сказал он. – «И все похожи один на другого».

Катя гладила рукав Марковой шубы.

«Не знаю, Марк, должна ли я рассказать тебе об этом», – сказала она. – «Хотела скрыть, но раз ты встретился мне на улице, то это – судьба. Эти люди приказали мне фотографировать бумаги у консула. Учат фотографии. Требуют, чтобы я ukrала зеленую папку, которую Йошима всегда запирает в сейф. Дали мне ключ».

Перед Марком мелькнули люди, склонившиеся над учебниками японского языка. Катя попала в их сеть, и теперь сеть затягивается. Прижавшись к нему, она говорила, обдавая лицо теплом своего дыхания:

«Марк, милый, я не хочу. Это отвратительно. И страшно! Но они неумолимы. Ты знаешь, что я буду это делать, не могу не делать. Для папы».

Первым побуждением Марка было пойти и увидеть близнецов, защитить от них Катю. Но тут же мысль – бесполезно! Колибри права – они неумолимы.

«Колибри, родная!» – сказал он ей, сжимая руку. – «Да, я знаю, ты будешь это делать. Люблю тебя до боли, хочу помочь тебе вырваться, и не вижу, как и чем помочь. Но мы найдем выход, должны найти. Обещай мне быть осторожной. Я скоро вернусь, и тогда мы будем вместе отбиваться. Ни одного рискованного шага, это ты должна мне твердо обещать».

Марк взял девушку за плечи и приблизил ее лицо к своему.

«Ни одного!» – повторил он, словно стараясь погрузить это слово в широко раскрытые глаза Колибри. – «Они будут требовать от тебя, грозить тебе, но ты не бойся. Они не захотят потерять тебя. Тем временем я вернусь».

«Понимаю», – сказала она, и очень печальным был ее взгляд. – «Знаю, что ты уедешь, не можешь не уехать. Но возвращайся скорее, я так буду ждать тебя!» В голосе слезы.

«У нас еще четыре дня до отъезда», – сказал Марк.

«Я буду ждать тебя, Марк. Сегодня, и когда ты уедешь, и всегда буду ждать». Она провела рукавом по глазам, смахнула слезы.

Но что такое четыре дня для любящих сердец! Пролетели они коротким мгновением, и пришло утро расставания. Перед рассветом из-под косогора, со льда реки, пошел на город могучий, упрямый гул. Ровным басом рычали моторы, залихватски верещали пропеллеры. На речной лед выползали грузовики и аэросани. Они медленно растягивались в длинную черную ленту, останавливались, не заглушая моторов. Вокруг них копошились люди, обряженные фантастически неодинаково. На одних морские бушлаты и мягкие пыжиковые унты. Армейские полушубки на других. Дамские манто из голубой белки. меховые малицы. Но в одном все одинаковы: молодость.

Первый транспорт. Семьсот строителей Большого Города.

Среди молодых лиц резко выделялась черная, лопатой, борода инженера Смирнова. Начальник колонны. Он проверял укладку груза. Из заросли бороды торчала коротенькая похрапывающая трубка. Небольшие глаза под густыми бровями всё видели, всё подмечали. Смирнову не нравилось, что люди много кричат, смеются, ведут себя так, словно на праздник собрались. Мороз ослабел, но к ночи он опять обрушит мертвящее дыхание. Каж-

дую каплю сил надо беречь, а эти танцуют. Не понимают, что север покоряют без шума, упрямо; север шума не любит.

Смирнов поднял глаза на косогор, улыбка шевельнула его дремучую бороду. Марк всё еще стоял на высоком речном берегу и рядом с ним девушка. В Смирнове шевельнулось сожаление. В его жизни было много берегов, да мало девушек выходило провожать его, таежного волка. Давно это было, когда он впервые приехал на Дальний Восток. Разбогател. Потом, в революцию, всё потерял. Пять лет назад его арестовали, привезли туда, где он прожил много лет, и сказали: «Строй!» И Смирнов строил. Дело знакомое, всю жизнь им занимался. Строил упорно, яростно. О том, что строит социализм, не думал, в самой работе радость находил. Социализм ведь может строиться и людьми, которые его вовсе не хотят, а труд свой любят.

«Марк, родной мой, возвращайся скорее!» – умоляюще сказала девушка. – «Я буду бояться без тебя. Совсем одна».

«Я буду бояться за тебя, моя Колибри. Но ты недолго будешь одна», – сказал Марк.

«Мне страшно», – шептала она, держась за его руку.

На лед выскользнули крошечные аэросани с каким-то игрушечным пропеллером. В них – Виноградов. Они бойко пробежались по льду, заняли место в голове колонны.

Марк поцеловал Колибри, а она, охватив его шею левой рукой, крестила правой, и ее губы, вдруг принявшие скорбное и молящее выражение, шептали: «Храни тебя Бог!»

Теми же словами его когда-то провожала мать. От этой мысли в Марке взволнованность струной натянулась, он еще раз, перед тем, как расстаться, крепко поцеловал Катю.

Марково место было в кабине тяжелого грузовика, везущего походную мастерскую. Рокот и вой нарастал, колонна медленно двинулась с места. Колибри стояла на косогоре. Не видела, как из ворот за ее спиной вышел китаец в белой ветхой шубе. Он ушел в сторону. Караван уже скрылся из глаз, а она всё стояла и печально глядела вдоль реки. Косоватые глаза были полны слез и казалось, что в них течет серебряный ручей, освещенный солнцем. От глаз две влажные полоски вниз. Девушка вытирала их тыльной стороной ладони, но они оставались влажными. С испугом оглянулась вокруг. Проходили люди, но чужие ей. За ее спиной был

большой город – чужой город. На главной улице, японское консульство; чужие люди там. Дальше, на боковой, те трое, которых она боится – чужие и страшные. Повсюду чужие. Она клонила голову книзу, вытирала влажные полоски на щеках, но они оставались влажными. Вернулись сани с Виноградовым. Он поднялся на высокий берег, пошел было в сторону города, но потом остановился, оглянулся и повернул к Кате. Подойдя, снял шапку, поклонился, сказал:

«Простите, что обращаюсь к вам, не будучи знакомым, но я видел вас с Марком Тимофеевичем. Если могу быть полезным, то буду рад».

«Спасибо, мне ничего не нужно», – дрогнувшим голосом ответила Катя. Виноградов что-то заметил в девушке, сказал ободряюще:

«Марк Тимофеевич скоро вернется. Если что, прошу разыскать меня. Инженер Виноградов, тут меня знают. Буду рад помочь, если моя помощь потребуется».

«Спасибо, мне ничего не нужно», – опять тихо ответила Катя.

Виноградов поклонился, пошел через парк к городу. Боже, как много ей было нужно. Или совсем немного. Хоть самую малость любви. Понимания ее судьбы. Жалости к ней.

«Совсем одна», – прошептала она и тихо пошла в сторону города.

Когда крошечные сани с Виноградовым вернулись назад, караван повели за собой огромные сани Смирнова. Позади колонны двигался грузовик с походной мастерской. Тяжелый караван с грохотом и скрежетом уползал всё дальше.

Амур самая величественная из рек, какие дано познать человеку. Рейн, Дунай, даже Днепр, даже Волга – просто реки, Амур же – Его Величество Река. От монгол понесла она свое имя, а по-монгольски амур не любовь, а величавое спокойствие, безграничная мощь. Пустынны берега реки. Царствует на них первозданный хаос. Нехоженная земля оберегает свою девственность лютыми морозами, непроходимыми топиями, хищным таёжным зверем.

Марк, сидя в кабине грузовика, мысленно прочерчивал путь каравана к тому месту, где строительная фантазия Виноградова назначила быть Большому Городу. Невдалеке от Татарского про-

лива деревушка Терпское. «Здесь будет город заложен!» Восточный форпост военной индустрии. Река – единственный путь. Тяжелый, малоизведанный и опасный, но единственный. С берега посмотришь – ледяная гладь, никаких препятствий на ней, знай, двигайся! На лед вступишь – вовсе не гладь, легко не пройдешь. Снежный сухой наст под ногами расползается, а под ним – лед острыми, режущими кромками к небу повернулся, грозит: не тронь меня, а то покалечу! Человеку налегке двигаться можно, приспособится, а ведь в нашем случае совсем о другом, речь идет – о караване, который семь сотен людей везет, немалые грузы, горячее в бочках. Тут не поскачешь – спасибо, если три-четыре километра за час одолеешь. Аэросани незаменимыми поводырями были, без них автомобилям и с места не сдвинуться бы. Снежный наст, что песок глубокий, в нем автомобилю увязнуть – плевое дело. А аэросани шли. Своими широкими лыжами-ползунами они в снегу две колеи прокладывали, а по ним автомобили с рыванием ползли, и водители на рулевых баранках со всей силой играли, чтоб из колеи не выбиться.

Изредка караван замирал на льду, люди на берег высыпали. На кострах консервы разогреют, чай вскипятят, а там, смотришь, уже приказ от головы колонны идет: всем по местам! И опять ползла черная гусеница, потрясая таежный мир моторным грохотом.

«Надо безостановочно двигаться!» – твердил Смирнов Марку. – «Остановка в таком пути отдыха не дает».

К концу второго дня пути механики и водители были уже похожи на мучеников. Их по двое на каждую машину и сани, но отдых им не выпадает. Нет-нет, да и вспыхивала позади колонны зеленая ракета, пущенная вверх Марком. С какой-нибудь из машин случилась авария, требовалась подмога. Водители, матерясь, устремлялись к хвосту каравана, толпой набрасывались на остановившуюся машину, и делали это с таким ожесточением, словно хотели напугать закапризничавший мотор. И странная вещь: автомобиль снова обретал свою машинную жизнь, а механики и водители уходили вперед. На их руках кровавые царапины и бледные пятна морозных ожогов. Страшно кусач накаленный морозом металл.

Молчалив, угрюм был транспорт Смирнова. Теперь не пели в нем песен, даже словами перебрасывались скупое. Семьсот ребят, едущих авангардом, забивались поглубже в кузова, с тоской всматривались в медленно движущиеся берега. Страшны они для новичков, впервые попавших в дикую окраинную землю. Здесь власть человека ничтожна, власть же стихии безгранична.

Марк с сомнением приглядывался к ребятам, замечал: отчаяние ими овладевает. Собрали их со всей страны. Украинцы здесь и волжане, москвичи и уральцы, беломорцы и кубанцы. Даже узбеки из теплого Туркестана, даже калмык из степи, даже осетин с гор – все тут есть. Выстоят ли они встречу с этой землей?

Тайга взирала на крошечных людей, посмеявших нарушить вечную тишину; взирала так, словно раздумывала, чем наказать их. Ночью вселенская могучая пустота становилась особенно страшной. Темнота скрадывала берега. Фары автомобилей и аэросаней слали желтые золотистые снопы в ночь, но они не пробивали черную пустоту. Автомобильные огни боролись с ней, но отчаяние безнадежности было в их борьбе. Марк ощущал эту безнадежность, росла в нем тревога. Тревога за Колибри? Да и за нее, но и за всех тех, кто в темную ночь пробивал себе путь автомобильными огнями. Он как-бы чувствовал дыхание ребят, едущих с караваном, отличал в нем нарастающий страх. Днем этот страх сквозил в глазах, в растерянной покорности, с какой выполнялись приказы, ночью же невидимо повисал над караваном.

Ночью грузовиком с походной мастерской правил механик Таманов – молчаливый, угрюмый, похожий на медведя, в неположенное время покинувшего берлогу. Иногда процедит сквозь зубы невнятное ругательство и потом опять надолго замолчит. Молчал он не только по свойственной ему нелюбви к многословию, но еще и потому, что разговаривать ему было трудно. Язык распух и с трудом вмещался во рту. Ему много приходилось воевать с закапризничавшими моторами. Видел Марк, с какой отчаянной решимостью нагибался он, чтобы продуть трубку бензопровода. После этого на трубке оставались кусочки кожи с губ Таманова.

Однажды ночью задремавший Марк почувствовал: напряглось тело Таманова. От идущей впереди машины оторвался какой-то комок, он пересек лучи фар, исчез в темноте. Не понимая еще,

что он делает, Марк прыгнул на лед и бросился вслед. Как только свет фар остался позади, его всосала в себя густая, непробиваемая тьма, из которой доносился удаляющийся вопль. Марк бежал по льду, не видя льда, ничего не видя. Темнота стала красной, словно кто-то поджег ее. В небо взлетела красная ракета, Таманов давал сигнал тревоги. При красном свете Марк увидел неуклюжий комок, с воплем катящийся впереди него по льду. Он напрягал все силы, чтобы догнать его. При последней вспышке ракеты, навалился, прижал ко льду. Вопль стал еще пронзительнее. Человек, подмятый под себя Марком, рвался из его рук. Перчатка с левой руки Марка была потеряна и зубы барахтающегося человека вдруг впились в его голую руку. Было слышно – кто-то бежит вслед за ними по льду, хрипло дышит.

«Сюда!» – позвал Марк, не вырывая руку из зубов человека, грызущего ее с каким-то животным визгом.

Догнавший, споткнувшись, упал рядом. Он торопливо шарил руками по двум барахтающимся телам, рывком вырвал человека из-под Марка. Таманов. Потом они шли назад к огням, кажущимся бесконечно далекими. Таманов с одной, а Марк с другой стороны держали воющего человека. Неожиданно совсем нежным голосом Таманов сказал:

«Ничего, сынок, пройдет. Ты не бойся, оно ведь только попервоначалу страшно».

Вой переходил в плач. Детский плач, хватающий за душу. Марк в темноте не мог разобрать, кого они ведут. Подумал, что это тот семнадцатилетний парнишка, которого он приметил днем. В его глазах было что-то недоброе, истерическое. Тот был одет в беличье манто. На этом белка. Знать, тот самый. Нежным басом, Таманов продолжал разговаривать с плачущим.

«Как звать-то тебя?», – спросил он.

«Серегга», – всхлипывая ответил беглец.

Серегу втиснули в кабину, дали сигнал, и караван пополз дальше. Скоро Серегга спал на плече Марка. Таманов долго молчал, а потом сказал с таким выражением, словно через долгие раздумья он к этой мысли пришел:

«Дитё оно и есть ребёнок. Долго ли ему напугаться».

На остановках Марк и Смирнов вели между собой очень тревожный разговор. Оба они чувствовали: надо что-то предпринять.

Ребята начинают сдавать. Всё труднее заставлять их покидать машины и идти пешком, а без пеших переходов – обмораживаются. Уже двое аэросаней даны в распоряжение врача.

На одной из остановок, Смирнов у костра рассказал об опасности, грозящей им – полыньи. Даже в самые лютые холода, на Амуре встречаются места, прикрытые лишь тонкой коркой льда. Коренные амурцы по каким-то неуловимым признакам обнаруживают полыньи, но и они часто попадают впросак. Невозможно знать, в каком месте путников по льду ждет ловушка. Лед везде одинаков, покрыт ровным слоем снега, на глаз прочен и надежен, а где-то вдруг переходит в тонкую корку, под которой колыхается вода. Смирнов говорил о притоках Амурса – холодных и теплых. Реки Сунгари и Уссури приносят тепло, которое проникает за сотни километров от мест впадения. Но всё это уже не важно. Важно то, что есть полыньи, они очень опасны, и их нужно бояться.

«Ребята, нужно меньше сидеть в автомобилях и больше пёхом переть. Для пешего полынья не так страшна», – сказал Смирнов в заключение.

Но когда был дан сигнал продолжать путь, все семьсот ребят забились в кузова. Не помогли страшные рассказы Смирнова о ледяных ловушках.

В передних санях Смирнов вез старика-амурца, много раз ходившего по льду Амурса до самого пролива. Называли его штурманом. Ночью зажигался прожектор, он освещал лед впереди. Старик сидел в передней части саней и не спускал глаз с ледяного поля. Что-то видел или думал, что видит. Поднимал руку и указывал направо или налево. Водитель послушно поворачивал сани, а следом сворачивал и весь караван.

В серый безветренный день, когда черная тайга, белесоватое, лишенное красок небо, угрюмые берега как-бы подчеркивают бесконечность давящей пустоты, случилось то, чего боялся Смирнов. Неожиданно в центре каравана возник многоголосый крик. Горохом вываливались люди из кузовов автомобилей, разбежались в стороны. Марк бежал от хвоста колонны. Автомобили пятились назад. Впереди – черный провал во льду. Он тянулся метров на тридцать. Тяжелая маслянистая вода в нем колыхалась, и вместе с нею колыхались куски поломанного льда.

На Марка набежал человек с безумными глазами. Его рот был открыт в крике. Он кричал, что две машины ушло под лед. Марк был у черного пролома одновременно с аэросанями Смирнова – они прибежали с другой стороны. Исчезли тяжелый трехосный грузовик, шедший в центре колонны, и полуторатонка. В тяжелой машине было два водителя, оба погибли. В малой, кроме двух водителей, четыре пассажира. Двое успели выскочить и повиснуть на твердой кромке льда. Их вытащили на лед. Около них хлопотал врач. В несколько минут они превратились в замерзшие колоды, внутри которых еще тлела жизнь. Одежду с них спорили ножами. Голые лежали на льду. Их оттирали. Старик-амурец смачно плюнул в сторону. Слюна на лету замерзла, резко щелкнула по льду.

«С Амуром шутковать нельзя», – сказал он. – «Сурьезная река, не любит, когда прут по ней дуром».

Спасенных завернули в меха и погрузили в аэросани. Врач натер их какой-то мазью, а Смирнов приказал влить в них неразведенного спирта. Все обнажили головы, постояли минуту над холодной могилой первых шести жертв Большого Города, а потом хвост колонны обошел по льду и примкнул к передней части.

На пустынном левом берегу поднимались столбы дыма. Если подойти поближе, то под этими столбами обнаружатся крошечные избы. Вросли в землю, опасно выглядывали из-за снежных сугробов. В окнах, вместо стекол, олени пузыри. Говорят, что они лучше держат тепло. Село Терпское, на месте которого назначено быть Большому Городу. Затерялось в безбрежной дикой природе. Крошечный клочок земли вымолили люди у тайги, чтоб построить свои жалкие хатенки. Не отвоевали, а вымолили. Суровая природа борется с сильными, а слабых походя уничтожает или вовсе не замечает. Она оставила эти хатенки и их обитателей: пусть живут, убогие! Таких жалких и давить-то не стоит.

Однажды олени пузыри в дырах окон начали легонько пошумливать – вроде и ветра, нет, а пузыри шумят, что за чудо? Вышли люди из хат, стали переключаться испуганными голосами – такого еще не было, чтоб пузыри в окнах беспричинно шумели. Потом услышали: издали идет глухой, но могучий гул. Испуганные люди торопливо крестились. Гул становился всё слышнее, уже можно было различить, что идет он из-за сопки, за кото-

рую сворачивает Амур. Из-за нее выползла гусеница. Издали так себе, небольшая гусеница, ногой раздавить можно. За первой другие поползли. Чем больше их появлялось из-за косогора, тем свирепее гул. Дурным голосом взвыла старая Маланья, что когда-то у шамана обучение проходила и с тех под ведьмой слыла. «Батюшки, светопреставление!» – голосила она. Хромой мерин, единственный конь в селе, который и держался только для того, чтоб невод из воды вытаскивать, вырвался из сарая и с резвостью не по годам в тайгу подался, а за ним следом поскакали два медвежонка, которых один охотник старался приручить. И людям надо бы в тайгу бежать, спастись от ревущих гусениц, да острые глаза их уже рассмотрели, что не гусеницы то, а караван – сани, а за ними автомобили. Из-за поворота, вслед за караваном, толпы пешеходов показались.

Смирнов был в передних санях рядом со старым проводником, но Марка в заднем грузовике не было. Он с теми, кто пешком, шел. После происшествия у полыньи Марк и Смирнов долгую беседу имели, и всё о том же – как людей взбодрить. Смирнов яростно хрипел трубкой, говорил, что народ сборный, случайный, и весь этот поход – дурацкая затея. Марк хотел ему сказать, что если это так, то Смирнову не надо было соглашаться с Виноградовым, когда тот назначал его начальником колонны, но не сказал, во время вспомнил, что Смирнов не вольный человек, а ссыльный. Только упорству Виноградова они были обязаны тем, что их в ледовую дорогу вел этот бывалый таёжный волк.

Успокоившись, Смирнов глухо сказал, что, по его мнению, Большой Город будут строить заключенные. Марк напомнил ему, что комсомол взял почин, и Смирнов еще ожесточеннее захрипел трубкой.

«Я не о почине говорю, а о деле», – сказал он. – «Погубим общими силами побольше молодых ребят, и на их место погонят заключенных. Тех уж и вовсе никто не считает».

Марк поделился со Смирновым своей мыслью, на которую его навела полынья. Смирнов долго пыхтел трубкой, а потом сказал, что Маркова мысль ему нравится. Если не поможет, сказал он, то и вреда никакого не принесет.

Под вечер караван приблизился к берегу, и всем людям было приказано собраться у головных саней Смирнова. С них Марк

обратился к ним. Сказал, что он до этого не имел права сообщить им секретный приказ. Блюхер объявил транспорт военным походом. Читал Марк приказ. Подчинить военной дисциплине. Считать находящимися в составе дальневосточной армии. Призвать к мужественному и самоотверженному выполнению долга.

Марк свернул лист бумаги, спрятал в карман. Ни тени сомнения не появилось у людей, и только Смирнов, наблюдавший эту картину, удовлетворенно оглаживал бороду.

Сознание военной дисциплины сначала придавило ребят, но потом прибавило им сил. Марк был неумолим: четыре часа пешего перехода и два – отдыхать в кузове автомобиля. И неумолимыми были его помощники – он выбрал их из бывших военнослужащих. Обратится комсомолец к Таманову, например, и скажет: «Товарищ командир, разрешите в автомобиле ехать, ноги натер», а Таманов приказывает разуваться. Осмотрит ноги и скажет: «Ты, товарищ боец, портянки наматываешь так, что не только ноги, а мозги натереть можно. Вот, смотри как это делается». Перемотает парню портянки и приказывает: «Вставай!» Тот встанет. «Можешь идти?» Парень попробует, ничего, вроде уже и не так болят ноги. И шагает свои четыре часа, не жалуясь. А врач докладывал Смирнову, что обмороженных больше не поступает.

Марк строго следил, чтобы смена отдыхающих производилась точно по расписанию. Отдыхавшие вылезали из кузовов замерзшие, синие, трясущиеся. В каждой смене больше двухсот ребят. Две смены шагают, одна отдыхает. Построит Марк только что отдохавших, всмотрится в посиневшие лица, в трясущиеся тела и командирам, к этой смене прикрепленным, скажет: «Задание: атаковать левый берег реки со льда. Выбить противника из опушки, подходящей к берегу. Прочистить берег до того вот далекого поворота реки и присоединиться к основным силам через тридцать пять минут».

Командир посмотрит на часы и его поведет судорога – за тридцать пять минут столько отмахать! Но рассуждать нельзя, ведь и командир уверен, что он мобилизован по приказу Блюхера. А если, к тому же, он еще и из заключенных или ссыльных, то у него и расчет свой есть – такая служба даром не пропадет. Гаркнет он на свою замерзшую смену, построит ее в боевой порядок и бегом ведет в атаку на левый берег, кричит ура, а за ним другие кричать

начинают. Почти вовремя к назначенному месту выведет свой отряд. Посмотрит Марк на часы: «С опозданием работаете, товарищ командир. На три минуты позже. Точности нет». Говорит так, а у самого в груди поет от радости. Вернулись люди усталыми, но повеселевшими, полными жизни. Даже песню затягивают.

Со своей сменой и Марк отдыхал. Заваливался вместе с ребятами в грузовик, мгновенно в мертвый сон погружался. Потом снова шагал с пешей колонной, да так и довел ее позади каравана до Терпского, которое казалось недостижимым, а теперь – вон оно, столбы дыма в небо шлет!

«Теперь начинается самое трудное!» – сказал Смирнов Марку. – «Прошу вас сохранить военный порядок еще на несколько дней. Он будет нам здесь даже нужнее, чем в походе».

«Но Блюхер может посадить меня в тюрьму. Ведь всё это иллюзия – приказ и прочее», – сказал Марк. Но тут же перед ним мелькнуло открытое лицо Блюхера, и он добавил: «Впрочем, вероятно не посадит, а посмеется. Да он и в действительности смотрит на нас, как на военизированный поход – сам в Москву об этом писал».

Врач разместил обмороженных и больных в хатах, но что будут делать остальные? Пустынный берег, мрачная тайга – как здесь укрыться человеку?

«Надо немедленно устраиваться», – сказал Смирнов. – «Прикажете рыть землянки». Смирнов подумал и добавил: «Но из этого ничего не выйдет. Грунт промерз, и землянки не отроешь. Придется рыть просто ямы, чтобы хоть как-нибудь защититься от холода».

«Товарищи!» – сказал Марк, построив строителей. – «Одной из задач командующий армией поставил умение устраиваться зимой в условиях пустынной местности. Начинайте рыть ямы для укрытия. О роте, которая раньше других укроется под землю, а также о ее командирах, будет особо доложено товарищу Блюхеру».

Люди вгрызались в землю. Промерзшая, она сопротивлялась, звенела, не желала поддаваться их усилиям. Запылали костры, ими оттаивали почву. Сантиметр за сантиметром углублялись люди вниз. Первым пришел к Марку Таманов. Он дышал тяжело, с хрипом, знать, немало работал сам. На его лице была ледяная корка – замерзший пот.

«Докладываю, что шестая рота укрылась под землей», – сказал он.

«Вы – первый», – сказал Марк. – «О вас, товарищ Таманов, я специально доложу в штабе армии. Вы много сделали для успеха транспорта».

Таманов улыбнулся. Пять лет назад он был командиром взвода красной армии, а потом попал в ссылку.

Вскоре и другие роты укрылись. Ямы сверху забросали ветками, засыпали землей. Оставался только узкий лаз. Смирнов приказал эти отверстия затянуть парусиной – не пожалел брезентов с автомобильных верхов. Рота Таманова тем временем отрыла яму попросторнее, которую сразу же назвали штабной. Она предназначалась для Смирнова.

Полторы сотни ям опоясали Терпское, и в каждой могло уместиться четыре-пять человек. Костер раскладывался прямо на земле, на дне. От него шло тепло и дым. Оттаивающие стены давали сырость. Тепло, дым и сырость неразлучны, человеку долго пробыть в этой могиле очень трудно. Подземные жители часто выскакивали из ям, стирая копоть, грязь и слезы с лиц.

На берегу началась борьба сотен людей за жизнь. Не за будущий Большой Город борьба, не за то, чтобы выполнено было решение Москвы о немедленном начале работ, а за собственную жизнь. Нет, здесь не думали о городе и о том, каким он будет, а думали только о том, как не погибнуть.

Прошел день, прошел другой, а на третий Смирнов спросил Марка. Они стояли над штабной ямой и спрашивая, Смирнов смотрел вдоль подземного города, а не на Марка.

«Мне кажется, что мы думаем об одном и том же, не так ли?» – сказал он, похрапывая трубкой.

«Вероятно», – ответил Марк. – «Вы о том, что ребята начинают сдавать?»

«О том», – подтвердил Смирнов. – «На каждых десять тут поставлен комсомольский организатор, на каждых сто человек – парторг, а ребята сдают. Почему бы это?»

Он искоса поглядел на Марка, но тот молчал. Смирнов сам знает, что в этих условиях происходит проверка человека, а не силы партийной организованности. Они пошли вдоль лагеря, сделали круг и вернулись к штабной яме. Печальное зрелище.

Люди на краю отчаяния. Жмутся кучками к ямам, а из ям валит едкий дым. Иногда кто-нибудь из них, промерзши до костей, ныряет вниз, но скоро опять вылезает, вытирает слезящиеся глаза, кашляет, проклиная всё на свете. Они подошли к одной такой кучке. К ней двинулись люди от других ям, образовалась толпа. Марк чувствовал, что ребята чего-то ждут от него и Смирнова, но что они могли бы сказать им!

«Товарищи, надо выдержать!» – тихо сказал Марк. – «Это единственное, что нам нужно. Надо выдержать!»

Толпа подземных обитателей росла. Восточные лица, русские лица. Похудевшие и почерневшие. Заросшие бородами и усами. Ребята были сумрачны.

«Зачем нас сюда привезли?» – раздался вдруг голос. – «На гибель послали?» Толпа ждала ответа.

«Я всё знаю, товарищи! Не хочу успокаивать вас», – ответил Марк. – «Предстоит очень трудная зимовка. Но надо выдержать, ничего другого не остается». На душе у Марка было так же мутно, как и у всех этих ребят. Он снял шапку и вытер ладонью неожиданно вспотевший лоб.

Сказал: «Товарищ Сталин требует отправки. Приказ самого Сталина. Мы его выполнили. Теперь надо бороться за жизнь. Не гнаться. И помогать друг другу».

Молодой узбек, укутанный во всевозможное тряпье и всё время подпрыгивающий от холода, вдруг прекратил свои прыжки и приблизил лицо к Марку. Стал говорить, перешел на крик:

«Зачем говоришь! Мы всё понимаем! Я – секретарь райкома комсомола. Сталин приказал потому, что он не знает, как это выглядит. Дело не в Сталине, а в тех, кто организует стройку. Вредители! Нам еще в Хабаровске говорили, что начальником строительства враг народа. Это он загнал нас на смерть».

Перед лицом Сурова промелькнуло печальное лицо Виноградова.

«Но мы будем бороться, мы выдержим!» – крикнул узбек.

Все молчали, узбек в недоумении оглянулся.

«Привычка к агитации», – думал Марк. – «По инерции проявил энтузиазм. У других даже привычки этой не осталось».

«Совершенно верно!» – сказал Марк. – «Главное, не падать духом».

Люди хмуро смотрели в землю. Смирнов, молчавший до сих пор, вынул трубку из зарослей бороды и сказал:

«В этом самом месте или немного подальше зимовали казаки Дежнева, пошедшие открывать новые земли. Вырыли они такие же ямы и забрались под землю. Сильные это были люди. Казалось, обязательно должны они погибнуть – ни пищи, ни теплой одежды у них не было. А весной вылез Дежнев из ямы, а за ним его товарищи. Страшные, закоптелые, худые, но всё-таки живые».

Маленький курносый парнишка спросил:

«Как же это они, живые то есть, остались?»

«А живыми они остались потому, что знали один секрет этой земли», – сказал Смирнов. – «Если человек духом не падает, то земля его прокормит. Если слаб, без веры в себя, то погубит его земля. У казаков Дежнева не было пищи. Но были у них крепкие руки и, главное, сознание, что никто им не поможет, если они сами себя не спасут. Стали они выходить на охоту, и охота давала им шкуры для одежды и мясо. Рыбу через проруби ловили. Так и вытянули, дождались солнца».

Смирнов погрузил трубку в бороду и замолчал.

«Так это было где-нибудь в другом месте!» – вскрикнул широкоплечий парень в армейском полушубке. – «Разве ж тут когда-нибудь бывает солнце? Посмотрите!»

Все оглянулись. Хмурой, тяжелой волной набегала на берег тайга. Низкое небо цеплялось за вершины деревьев. Действительно, трудно поверить, что здесь может появиться солнце.

«Нет, это было здесь!» – сказал Марк. – «А солнце, оно ведь тоже сильных любит, вот таких, как были казаки Дежнева. Перезимовали они, а потом новые земли открыли, прославились».

«Вот сукины сыны, казаки те!» – с восторженной веселостью сказал широкоплечий крепыш в полушубке, по-видимому волжанин. – «И зачем только они открывали на наше горе. А нельзя ли, товарищ Суров, закрыть ее, землю-то эту?»

С трудом раздирая спаянные морозом губы, люди смеялись. Смех, начавшись на низких и безрадостных тонах, становился громче, веселее.

«Петька Шувалов приехал закрывать землю!» – сказал кто-то в толпе.

«А что-ж, и очень даже просто!» – вскрикнул волжанин, которого назвали Петькой Шуваловым. – «Дежнев открыл, а мы закроем. Дежнев в деле мало смыслил. Не видел того, неграмотный казачина, что нам надо иметь такую землю, чтобы на ней теплая печка стояла, мы на печке лежали, а в печке борщ варился, а потом горшок сам собой к нам скакал, и мы тот борщ хлебали. Нет, лучше пусть не скачет, пусть его дивчина чернобровая подает и при том улыбается и нас по головке гладит. Вот на такой земле мы вполне можем быть молодцами».

Шутливое балагурство Петьки разглаживало лица ребят, заставляло улыбаться. Довольный всеобщим вниманием, он продолжал:

«Мне определенно здесь нравится. Печки, правда, нет, но чернобровая дивчина предвидится. Видели, сколько их в Хабаровск понаехало? Как только станет тепло, товарищ Суров приволокет их всех сюда. А мы к тому времени хоромы выстроим, а вокруг хором конюшни и для прочего скота помещения. Ну, конечно же, и печки потеплее, чтобы наши чернобровые носики себе не поотморозили».

«Что ж ты, в конюшнях-то, медведей держать будешь?» – крикнули из толпы.

«Зачем же медведей? Мы скотину разведем. Я это предусмотрел и для развода привез».

Петька пошарил в лохмотьях под своей военной шубой. «Вот!» – вскрикнул он.

В его руке была мышь, он извлек ее из глубин своего одеяния. Держал ее на раскрытой ладони, а кругом хохот стоял. Скорее всего он эту мышь тут, в Терпском, поймал, но ему хотелось дать ей другую биографию.

«Петька скотом обзавелся!» – смеялись ребята. – «Разводить будет скотину для Большого Города».

Петька спрятал дрожащего мышонка в свою одежду.

«Как бы насморк не схватил!» – сказал он. – «С Волги, из дома везу. Порода уж очень хорошая, тут такой не найти. Отец осенью засыпет хлеб в закроем, приходит весной – пусто! У них аппетит – держись только! Я и захватил одну помоложе для Дальнего Востока. Товарищ Смирнов, прошу на паек эту животину зачислить».

Ребята смеялись, сразу стало видно, что все тут молодые, несломленные.

Смирнов, а за ним Марк полезли в штабную яму. Дымно, сыро, неприятно. Опять обсуждали самый страшный вопрос: провиант. Грузовики, провалившиеся под лед, были нагружены продовольствием. Их гибель чуть не на половину уменьшила запасы. Два-три месяца выдержать можно, а что потом? Если за это время не пришлют транспорт, то катастрофы не избежать, так как там уже начнутся бураны.

В яме повара, заведующий складом, два местных жителя. Сидели на корточках, ждали Смирнова. Сырость, перемешавшаяся с дымом костра и крепчайшего табака, заставила Марка присесть к полу, долго кашлять. Преодолевая приступы кашля, (они пройдут, как только «вдышишься» в эту плотную вонь, заменившую воздух), Марк слушал Смирнова, на которого, кажется, никакая вонь не действовала.

«Каждую крошку надо беречь», – говорил тот. – «Жителей Терпского прошу, не откладывая, начать подледный лов. Дадим в помощь наших людей».

«С мясом плохо», – сказал заведующий складом.

«С мясом не плохо», – горько пошутил Смирнов. – «Плохо без мяса. Мясо только больным. Без жиров люди будут слабость, зима жиров требует. Но ничего не поделаешь. Мясо только больным давайте».

Марк наконец откашлялся, придвинулся к костру.

«Я думал вот о чем», – сказал он. – «Мясо по берлогам лежит, и его найти надо. Охотников среди молодежи нет. В Терпском всего два охотника согласны отправиться в тайгу – мало они добудут. Единственный выход – нанайцев искать. Местные жители уверяют, что где-то недалеко должно быть их стойбище, еще с осени они прикочевали в эти места. Отправлюсь я в тайгу, буду искать их. Как вы думаете, товарищи?»

«Найти их не легко. Иголка в стоге сена», – сказал Смирнов. Но Марк видел – сам он об этом уже думал. Когда остались в яме вдвоем, обо всем договорились.

На рассвете следующего дня над подземным городом прошли к реке трое.

«Если за три-четыре дня вам не удастся найти их, возвращайтесь». Это сказал Смирнов. Огонек зажженной трубки тлел в самой его бороде.

«А я думаю, что вам лучше отправить и последние аэросани. Как я могу уехать, когда я нужен здесь?» – сказал Марк простуженным голосом.

Они проходили через площадку, с которой вечером стартовал в обратный путь пустой караван. Теперь тут были только одни аэросани, на них Смирнов отправит Марка, когда тот вернется из тайги.

«Вы, действительно, очень нужны мне здесь. Но вам необходимо вернуться в Хабаровск, защитить нас от новых бед», – сказал Смирнов.

«Мне кажется, что все беды мы привезли с собой. Каких еще ждать?» – сказал Марк.

«Представьте себе, что там решат вместо транспорта с продовольствием, послать новый транспорт с людьми».

«Это невозможно!» – вскрикнул Марк. – «Тогда мы определенно погибнем».

Смирнов сказал страшное, но Марк знал: такое безумие возможно. Приказ Сталина, кто может ему противиться? Не снимая варежек, попрощались. Марк спустился на лед, где его уже поджидал проводник. Неся лыжи в руках, двинулись к правому берегу. Смирнов стоял, попрыкивая трубкой. Когда две человеческих фигуры где-то на середине реки исчезли из вида, он отправился назад к своей яме.

На правом берегу Марк и проводник стали на лыжи. Тайга встретила их тьмой, да такой густой и непробиваемой, что, казалось, в ней и шагу-то ступить нельзя. Начинаящийся рассвет на берегу остался, тут же – царство мертвой ночи. Но каким-то образом в ней многое угадывалось. Деревья угадывались, и Марк обходил их; след от лыж проводника вовсе невиден был, а Марк по чувству держался его; сверху черная пустота неба висела, но какой-то свет в ней всё-таки был, потому что ветви деревьев хоть чуть-чуть, но обрисовывались над головой.

Постепенно темень оттеснялась серой мутью, которая где-то между тьмой и светом живет. Зимний день с трудом, но всё-таки проникал в таежное царство. Проводник шел впереди – вроде

и не очень споро, а Марк лишь с трудом поспевал за ним. Время от времени он окликал деда Игната, прося того остановиться, дать передохнуть. Посмеивался дед в мочалистую бороденку, поптичьи тонкое лицо к Марку повернув, а Марк прислонялся к дереву, сил набирался. При этом на себя злился – наравне с древним стариком молодой партбюрократ держаться не может! Дед Игнат был прямо-таки поразительного возраста, а Марку за ним не поспеть. Он спросил его о годах, да дед счета им не вел, отвил:

«А кто ж его знает? Не считано. Старуха жива была, считала, а мне это ни к чему. Умерла она, царство ей небесное, когда мне пятьдесят пять годов было, тогда как-раз первый пароход по Амуру пошел. Напугалась, и Богу душу отдала».

Пароходы по Амуру уже полсотни лет ходят, значит, деду должно быть за сотню лет, а идет, старый колдун, легко, неутомимо. Высох от возраста, пожелтел, но в тайгу на лыжах бегаёт, белку промышляет, и с болезнями скорее всего знакомства не водит.

Дав ему передышку, дед опять начинал свой нескорый, а всё же верный ход. За его спиной огромное охотничье ружье. Такое оно длинное, а дед Игнат так мал, что оно прикладом по снегу чертит и на тот угол приклада, что земли касается, бережливый дед железинку набил. С Марком было ружье поновее и покороче, но ему казалось, что в то время, как длинное дедово ружье ловко обегает все препятствия, его собственное за всякое цепляется – то за дерево, то за обмерзший куст.

Когда совсем посветлело, увидел Марк, что находятся они в странном и путанном растительном мире. Познания его в ботанике ограниченными были, но всё-таки и не так совсем уж ограниченными, чтобы не поразиться удивительным смешением пород. Много было кедров, но тут же невеста тонкая – белокорая пихта. Лохматится корявая даурская береза, а рядом липа. Дубы огромные, неохватные, и тут-же тополя высокие. Ольха корой светится, на ель пушистую поглядывает. Прямо трудно поверить, что всё это в одно место собралось, когда родина у каждого своя, отдельная, и климат каждому разный назначен. Но долго удивляться Марку было нельзя, дед ему времени на это вовсе не давал. Старался Марк не отстать, а сам о себе обидно думал, что это

ему не лыжная прогулка по Воробьевым горам в Москве, где он хорошим лыжником почитался. Но больше всего мысли Марка были заняты теми людьми, на поиски которых он отправился – нанайцами. Видеть их ему не доводилось. Припоминал читанное. Оседлый образ жизни нанайцам не дается – ускоряется среди них вымирание, когда их к оседлости принуждают. Нанаец проходит по тайге хозяином, всё в ней ему знакомо, изучено. Медведь, белка, соболь, россомаха, тигр – ничто от него не спрячется. Но из своего обширного таежного хозяйства он берет только то, что ему нужно для жизни. Не убьет он зверя, когда тот линяет. Не убьет ни одной белкой больше, чем это ему нужно.

Марк вовсе из сил выбивался, поспешая за дедом-проводником, всё чаще просил того приостановиться, дать ему передохнуть. Так до самого вечера шли, а вечер от утра в такое время не очень далеко отстоит, день умирает быстро. И дед Игнат к вечеру притомился. На ночевку стали места не выбирая – в тайге везде одинаково. Старик колдовал над костром, а Марк прислонился плечом к шершавому стволу дерева – свинцовой усталостью было налито тело. Пристроил дед Игнат котелок над огнем, варил мясо, которое в его торбе было. Приказал Марку подносить валежник, а сам строил из него какой-то треугольник. Верхним углом было дерево. От него, как землемерная сажень-шагалка, расходились две стенки – их дед Игнат высотой по пояс смастерил. Костер оказался в широкой части незакрытого треугольника. Сооружение простое, а, может быть, тысячелетия были нужны, чтобы к этой простоте приблизиться – так думал Марк, помогая деду. Треугольник принимает тепло, удерживает его в ограниченном пространстве своего чрева, а дед в чреве том, опять же из валежника, что-то вроде низких нар устроил.

Поужинали мясом и хлебом, хлеб у Марка был. Дед в том же котелке начал чай кипятить. Снег в желтоватую воду в котелке превратился – по цвету никакого другого чая не нужно, но дед Игнат из своей торбы извлек коробочку, в каких люди махорку носят, и с великим бережением отсыпал на ладонь несколько крупинок чая. Подумав, добавил еще немного, и скоро чай был готов.

Марку уже ничего не нужно было. Пока дед считал чаинки, он влез в треугольник, лег на нары из хвороста, поворочался, под-

миная сучья, и почувствовал: сон теплую мохнатую лапу ему на глаза положил. Мелькнула тревожная мысль о Колибри, просились какие-то другие тревожные мысли, но он уже спал.

Проснулся он от людских голосов. Ярко горел костер. Вверху, меж вершинами деревьев, уже зарождался рассвет. Дед Игнат стоял у костра над двумя кучами меховой ветоши.

«Тю! Да как это вы подошли, что я, да не услышал?»

Одна меховая куча зашевелилась, из нее – тоненький смех. Смех оборвался, послышался незнакомый голос, странно выговаривающий слова.

«Мы с Уреном. Урен говорит: дым есть. Далеко. Отдохнули. Потом пошли. Пришли. Вы спите. Подложили дров в костер. Спали».

«Ну и лешие! Чтоб я, да не услышал! Никогда того со мной не было». Дед Игнат говорил это очень сердито.

«Старый ты стал, Игнат, старый» – ласково смеялась куча меха. – «Спишь крепко. Тигр нос откусит».

Марк вылез из треугольника, присел к костру. Теперь он мог разглядеть гостей. Тот, что говорил с дедом Игнатом, был уже пожилой. Широкий расплющенный нос торчал над жидкой растрепанной бородачкой, в которой легко было отличить один волос от другого. Маленькие глаза внимательно и весело смотрели из косога разреза век. Человек жевал. На губах клубилась желтая пена, и несло от него крепким запахом жевательного табака. Второй – совсем молодой. На крепкий остов туго натянута желтая кожа – гладкая и блестящая. Это – лицо молодого. Такие же, как у старшего, косые глаза. Борода едва намечается. Оба одеты в малицы.

«Мы их ищем, а они, вот они, нанайцы то есть!» – сказал дед Игнат Марку. – «На ловца и зверь бежит».

«Да, да!» – радостно кивал головой старший. – «Узнали, много людей на Амуре. С Уреном посмотреть пошли. А Урен говорит: дым. Сюда повернули».

«Как они могли узнать о людях на Амуре?» – думал Марк. – «Кругом таёжная глушь, безлюдье».

«Я – Таныло», – продолжал между тем старший. – «А это мой сын Урен. Я – председатель».

Это была удивительная удача. Марк знал, что туземные кочевые советы одна из фикций. Хранят туземцы родовой строй; раньше были у них старшины, потом старшины стали называться председателями, а всё остальное осталось по-прежнему. Но сейчас самое главное то, что Таныло здесь.

«У вас, товарищ Таныло, много богов. Я не знаю, который из них послал вас, но спасибо ему за это», – сказал Марк. Он рассказал Таныло о положении у Терпского. «Главное пища», – сказал он. – «Мы просим нанайцев помочь перезимовать строителям Большого Города. Нужно мясо, много мяса».

Таныло долго сидел молча, жевал табак, думал.

«А скажи, зачем, привез людей? Город строить? Теперь зима, строить нельзя. Зачем не подождал? Тепло будет».

«Таежный охотник сразу понял то, чего не могут понять в Москве», – подумал Марк. Сказал:

«Приказано и никто этого не может изменить. Сам Сталин из Москвы приказ дал».

«Сталин не знает тайгу», – сказал Таныло. – «Не зимовал в ней. Белку не стрелял. Как может давать приказ? Спросить надо тех, кто знает. Я в городе жил. Но знаю тайгу. Почему не спросил? Трудно будет. Сколько людей привел?»

«Семьсот».

«Плохо. Трудно будет. Назад веди». «Невозможно!»

«Я Сталину письмо буду писать», – сказал Таныло. – «Я грамотный. Напишу, что нельзя. Умрут люди. Много умрет. Таныло знает тайгу. Трудно будет. Всем вместе трудно. Помогать будем, но трудно. Не любим мы охотиться на хозяина. Медведя так зовем. Но раз надо, хозяина поднимать будем. Олени у нас есть. Но олени – если совсем плохо. Мало оленей».

Таныло говорил короткими фразами, и табачная слюна пузырилась на его губах. Кажется, ничего нового он не сказал, а в Марке его слова пробудили жгучую тревогу, словно только теперь он понял, что ждет людей на пустынном берегу реки. Нет, ему от этих людей не уйти. Мелькнула мысль о Колибри, оставшейся совсем в одиночестве, но он торопливо отогнал ее. На пути к Терпскому, когда он сидел рядом с Тамановым и золотистые мечи фар врезались в темноту ночей и гибли, раздавленные ею, мысль о Колибри неотступно шла за ним, думал он о возвраще-

нии к ней, но когда караван подошел к месту будущего города, посмотрел он на пустынный берег, скованную морозом тайгу и столбы дыма, поднимающиеся к небу; когда вырыли дымные ямы, и все, в том числе и он, стали походить на пещерных людей, и уже стало им безразлично, сколько копоти и сажи накопилось на лицах, понял Марк, что он не может, не должен уйти. На берегу это еще не было окончательным решением, но слова Таныло словно загородили ему дорогу назад.

Дед Игнат уложил в котомку котелок, остатки мороженого мяса, спички. Таныло говорил с сыном на своем языке, а Марк дописывал письмо Смирнову. Писал ему, что не может уйти назад. Если в Хабаровске решат послать новый транспорт с людьми, как он воспрепятствует этому? Всё, что он мог бы сказать, скажет Виноградов. Здесь же он принесет хоть какую-то пользу. Останется с нанайцами. Найдет связь с другими стойбищами. Всё продовольствие, какое может дать тайга, будет посылать на берег. Марк просил Смирнова написать Виноградову. Пусть тот побывает у Вавилова и Баенко, передаст им его письмо. Писал, что они поймут, что он, как коммунист, не мог поступить иначе.

Чертя по снегу прикладом огромного ружья, дед Игнат ушел в обратный путь. В противоположную сторону двинулись трое. Как только стали на лыжи, неуклюжие Таныло и Урен обрели способность двигаться с удивительной ловкостью и быстротой. Они то и дело останавливались и молча поджидали Марка, отстающего от них.

Прошло дней десять. Подземный город у Терпского бедовал, люди от холода под землей, как кроты, прятались. Пустынно на берегу, и трудно было поверить, что здесь обитают сотни людей. Попривыкли они к норам; без особой нужды не вылезали из них. Изредка пробежит в дыму человек и исчезнет, нырнув под землю, да в обед потянутся к избе, в которой устроили кухню, а кончится раздача обеда – опять безлюдно.

В штабной яме всегда кто-нибудь был. Черная борода Смирнова теперь не особенно выделялась – много черных, русских, светлых бород отросло у обитателей подземного города. Трудно было Смирнову управлять этим городом, заполненным неопытной, Севера не знающей молодежью.

Самые продолжительные визиты в яму Смирнова делали повара. Продовольствия оставалось совсем мало. Снизили норму жиров до пятнадцати граммов на человека. Крупа выручала, но долго ли на крупе протянешь?

«Что сегодня на обед будет?» – крикнет кто-нибудь проходящему повару.

«Суп из крупы».

А из ямы в яму уже передается:

«Сегодня на обед опять дорога в социализм будет». Так ребята прозвали ненавистный крупяной суп.

Смирнов держался внешне спокойно. Ходил меж ям, похрапывая своей короткой трубкой. Глазами по сторонам не шнырял, а нет-нет, да и окидывал ищущим взглядом опушку тайги на другом берегу. И однажды увидел: потянулась из тайги темная цепочка. Острые глаза Смирнова сразу подсчитали – пять оленьих упряжек. Бросил он мундштук трубки в заросли бороды, где положено быть рту, дымил в полную силу. Из ям выскакивали люди – страшные закоптелые, оборванные. Они бежали навстречу обозу. Смирнов остался на месте. Олени испуганно поводили глазами и тревожно фыркали, выталкивая из себя клубы теплого пара. Низкорослые и косоглазые люди шли за узкими нартами. Обоз поднялся на берег, где стоял Смирнов. На каждом санях было по медвежьей туше, крепко притороченной веревками. Вокруг шум, свист, хохот. Смирнов, пряча улыбку в бороду, сказал.

«Не хотел бы я быть медведем, когда нанайцы близко. Ни в какой берлоге от них не укрыться».

Нанайцы, к которым Смирнов обращал свои слова, замотали головами: не понимают по-русски. От последних нарт подошел неуклюжий нанаец, на губах у него желтая табачная пена. Рядом с ним другой, молодой. У этого кожа на лице словно натянута на остов – такая она гладкая и блестящая. Олени низко, к самой земле, опустили головы, тяжело дышали. Тот, с табачной пеной, подошел к Смирнову, протянул руку. Засмеялся тоненьким, радостным смехом, а потом сказал:

«Таныло я. А это Урен, сын. Пять хозяев привезли. Хозяином у нас медведь прозывается. Ты – Смирнов?»

«Смирнов».

«Я сразу узнал. Марк говорит: борода у него такая, что птица гнездо в ней свить может. А из бороды трубка торчит. Я не курю, жую табак. Это лучше. Я тебя научу. Куда хозяев девать?»

С шутками и улюлюканьем подземные сидельцы сняли медвежьи туши с саней и поволокли их к яме, вырытой у самых изб. В ней продовольственный склад. Вышедшим на крик поварам кричали:

«Кончай варить дорогу в социализм. Отменяется!»

Когда сняли последнего, пятого, медведя с саней, Урен подошел к туше и ткнул меховым сапогом в то место, где полагается быть голове, но где висели ключья мяса и кожи. Сказал:

«С Марком мы этого хозяина взяли. Подняли из берлоги, лезет он. Я жду, а Марк напугался. Топором ему голову срубил. Шкуру испортил. Неправильная охота».

«Такого черта напугаешься!» – сказал Петька Шувалов, с уважением смотря на огромную медвежью тушу. – «Он мертвый да безголовый страшный, а живой – унеси ты мою душу!»

Тем временем Таныло и пять нанайцев, пришедших с ним, шли меж ям, их провожал Смирнов, лагерь гостям показывал. Нанайцы говорили на своем непонятном языке, неодобрительно чмокали губами, ложились на снег и заглядывали в ямы.

«Плохо!» – сказал Таныло Смирнову. – «Плохо жить в таких ямах. Дыму много. Сырости много».

Из одной ямы торчала голова того самого парнишки, которого Марк догонял ночью на льду. Закоптелый, покрытый сажей Серега впервые видел северных людей. Таныло остановился возле него и вдруг нажал ладонью на его голову. Серега исчез в яме, а Таныло нырнул вслед за ним. В яме он сел на корточки.

«Плохая яма. Неправильная яма», – сказал он. – «Вылезай. Будем новую строить!»

Серега вылез, а вслед за ним полетели котелки, ложки, сумки, отсыревшие одеяла. Таныло что-то крикнул своим нанайцам. Двое из них ушли в сторону тайги, остальные взялись за концы бревен, покрывавших яму, начали откидывать их в сторону. Вскоре яма стояла без верхнего покрытия. Толпа наблюдала, как нанайцы разрушают. Таныло потребовал лопату и когда ее принесли, начал обкапывать яму. Оттаявшая земля легко поддавалась, яму он расширил почти вдвое. Ходившие в тайгу принесли

на спинах вязанки жердей и хвороста. Вдоль стен ямы они вбили жерди. Под ловкими пальцами таежных людей стала вырастать плетеная из хвороста облицовка стены. Прошло меньше часа, а стены ямы уже были заделаны плетеным хворостом. Скоро и пол был покрыт такой же хворостяной сеткой, но погуще.

«Не будет обсыпаться. Не будет очень сыро», – приговаривал Таныло, работая.

Внутри ямы, из хвороста и жердей, нанайцы устроили возвышение, на котором могут спать пять человек. Потом они навалили поверх ямы бревна, засыпали их землей и землю крепко утрамбовали. Оставили узкий лаз. Разложили костер, но не в яме, а снаружи, на земляном настиле. Костер скоро нагрел земляную крышу и в яме стало тепло и бездымно. Петька Шувалов, парень веселый, восторженный и благодарный, полез было целоваться с Таныло, но увидел на его губах желтую табачную пену, махнул рукой и только похлопал его по спине. Таныло радостно смеялся. Подземный город был теперь похож на потревоженный муравейник. Люди разрушали свои ямы и перестраивали их так, как это только что проделали нанайцы.

Старый Айя любил петь песни. Марк и Айя крепко сдружились. Айя – старик. Нанаец. Его Марку в проводники назначил Таныло, и вместе они прошли по тайге много сотен километров – от одного нанайского стойбища к другому, от одной безымянной речки к другой. За эти зимние месяцы стал Марк и сам походить на нанайца. На нем теперь была теплая, оленьими жилами сшитая меховая малица, под ней, из оленя-пыжика, меховая жилетка. Волосы на его голове отросли, торчали клочьями. Борода мужичьего, лопатного покроя. Давно уже он избавился от брезгливости – донашивал почерневшее, обветшавшее белье, умывался только в случаях крайней необходимости, ел мясо без хлеба, если хлеба не было, без соли, не морщасьпил терпкую кровь зарезанного оленя – единственное средство от цынги. Ночевали они у костров, питались, чем тайга накормит, и всё шли и шли, пока не выходили на собачий лай очередного стойбища. Приходили в такое стойбище, а там каким-то неведомым образом уже знали о них. Накормят мясом, напоят чаем, уложат в задней части на куче мехов, в которых вольную жизнь ведут вши, и пока спят Марк с Айей,

нанайцы обоз готовят, грузят на нарты убитого медведя, приводят оленя, который должен пойти на корм людям. Просыпался Марк, а обоз уже готов. Уйдет он, а Марк со старым Айя снова в тайгу, чтобы через неделю, а то и через десять дней пути появиться в другом нанайском стойбище.

А потом воющими чудищами пали на землю бураны. Белесой громадой сдвинулось с места небо и понеслось над тайгой ревающим потоком. Поток бури рвался сверху вниз и снизу вверх, и уже не разобрать, где верх и где низ.

День и ночь, день и ночь ревела свирепая буря над стойбищем. С тоской прислушивался Марк к штормовому вою, заполнившему вселенную, и начинало казаться ему, что этому вою не будет конца. Откидывал он оленью шкуру, закрывающую вход в чум, обжигала его буря залпом жгучих снежинок, и возвращался он к костру, ничего, кроме бушующего белого хаоса, не увидев. Садился опять у костра, а Айя тянул свою бесконечную песню, и Марк начинал улавливать то, о чем поет старик. О духах поет. О тайге. Рассказывает, как белку нужно в глаз стрелять, хозяина из берлоги поднимать. О буре рассказ ведет, как будто это вовсе не буря, а шумный праздник духов.

В кармане под малицей Марк носил записку Смирнова, дошедшую до него через многие нанайские руки. Знал он из нее, что к Терпскому пришло два транспорта – один с продовольствием, другой с людьми. Теперь в подземном лагере около двух тысяч человек. Виноградов сам привел транспорт с продовольствием, но паек опять пришлось снизить.

Сдержан был Смирнов, но из каждого написанного им слова на Марка тревога шла. К записке приложил Смирнов свои карандашные рисунки – любит он рисовать, и когда думал, то часто его думы в рисунки переходили. На них – оборванные, страшные люди, похожие на привидения. Но на одном людей нет. Опушка тайги, небольшие холмики под снегом. Они тянутся правильным рядом. На обороте этого рисунка Смирнов написал несколько слов: «Первое наше строительство. Кладбище». Чуть ниже стоит цифра сорок восемь. Что она обозначает? Хотел Смирнов сказать, что умерло сорок восемь человек? Или это случайная цифра? Может быть, он нумерует свои рисунки? Но тогда почему на других нет номеров?

Буран кончился внезапно, как внезапно начался. Ночью Марк проснулся, прислушался. Тишина. В наступившие тихие дни Марк старался обогнать весну – придет, все пути к Терпскому отрежет. Ослабнет мерзлая корка на болотах, не протащит тогда нарты. Позже разольются таежные речки, тогда не то, что обозу, а даже человеку налегке через тайгу не пройти.

Но весна не дремала. Уже шли Марк и Айя не в малицах, а в коротких куртках, малицы за спиной несли. Днем начинало пригревать солнце, и снег на полянах и опушках становился пористым, рыхлым. Деревья были еще голые, но в них уже бурлила жизнь, и не к земле они клонили теперь ветви, а к небу тянули.

Однажды утром посмотрел Айя на бледно-голубое невысокое небо, проследил глазами полет птиц, приложил ухо к сосне, прислушиваясь к забродившим сокам, потом повернулся к Марку и сказал:

«Всё! Нет зимы. Солнце идет».

Пришли они в стойбище, отправили обоз, а через день он вернулся – не пройти к Амуру. Тайга воду вверх послала, лед на реках чистым стал, текучими ручейками снежный наст уходит.

«Может быть человек дойдет?» – спросил Марк.

Нанайцы сказали – нет! Ни человек, ни зверь через тайгу не пройдет.

«Жди!» – сказал Айя. – «Если к Терпскому хочешь – долго будешь ждать. В обратную сторону пойдешь – меньше ждать. Через горы дорога. Там железный конь бегают».

Старый Айя и Марк в меховом чуме жили, нанайцы для них поставили. Целыми днями лежал Марк на груде оленьих кож и медвежьих шкур, и опять целыми днями пел Айя свои песни. Каждое утро они шли к недалекому болоту, к речке безымянной, на сопку поднимались. Не было пути с островка, на котором стоял их чум в окружении шести других нанайских чумов: ждать нужно! Мысли о Колибри вернулись. Волновали Марка.

Однажды утром, когда поднялись на сопку, Айя поскреб пальцами подбородок, прищуренными глазами обвел горизонт и вдруг сказал:

«Чумы с колесами по Амуру плывут».

Так Айя называл пароходы и дома. Но откуда он может знать, что суда уже поплыли по реке? До Амура много сотен верст – бо-

лотных, таежных, тяжких – как может он знать что там, за этими длинными верстами? Посмотрел Марк вокруг – деревья почки на ветви нагоняют, трава на солнечной стороне сопки из земли рвется, небо солнцем полно – увидел всё это и поверил: идут пароходы по Амуру. Значит, испытание у Терпского кончилось. Впервые за много-много дней улыбнулся он. Но улыбка, не успев зародиться, погасла. Колибри, что с ней? Надо спешить. Словно разгадав его мысли, Айя сказал:

«Через три дня и ночь мы пойдем, Марк. Проси шамана, духов пусть на помощь шлет. Шесть деней пройдет, за горами будем. Еще пять деней – ты к железному коню выйдешь».

Айя ходил к шаману просить помощи духов.

Через три дня они ушли из стойбища. Шесть раз поднималось и шесть раз опускалось солнце, а поднявшись в седьмой раз, застало оно их стоящими на берегу неширокой реки, глухо шелестящей в каменных берегах. Здесь они набрали на потухший костер. Айя запустил в золу свою коричневую руку, сказал:

«Тепло. Ночевал кто-то».

Потом снял с куста клок шерсти:

«Собака с ним. Черная».

Айя прошел несколько шагов в одну, несколько шагов в другую сторону и, вернувшись, сказал, махнув рукой вдоль реки:

«Туда пошел. Один он и собака. Догонишь, вместе пойдете. Двоем лучше».

«Почему тебе не пойти со мной, Айя? Пойдем, гостем моим будешь. В чуме с колесами к Терпскому поплывешь», – сказал Марк.

Старик кивал головой, смеялся:

«Нет, в тайге останусь. Не любит Айя больших каменных чумов. Оленей нет, белку негде промышлять. Таныло ждет. Жёнка ждет. Оставайся с нами, Марк. У нас хорошо. Тайга. Белку будем стрелять. Женим тебя. Нанайцы маленькие будут».

Старик радостно смеялся, словно хотел дать Марку понять, как действительно хорошо то, что он ему предлагает. Марк смотрел на высохшего Айю – на его сероватую бородку, нос, спешащий вдогонку за разбегающимися скулами, слезящиеся глаза – и думал, что Айя неотделим от этих диких мест. Конечно же, он никуда не уйдет. Вернется в стойбище, будет сидеть в чуме, петь

свои песни, да так и настигнет его спокойная смерть, которая для него всего лишь переход от костра людей, к костру, у которого пляшут и поют духи.

«Оставайся, Марк. Помогать Таныло будешь. Начальником будешь».

Но как Марк знал, что не пойдет с ним старый Айя, так Айя знал, что не останется Марк в тайге. Разным мирам принадлежат они. Оборвав смех, Айя сказал:

«Иди рекой. Никуда не сворачивай. Одно, два... Пять деней иди. Догонишь того, который ночевал, вместе пойдете. Собака с ним черная. Придешь к большой реке. На другой стороне каменные чумы и железный конь бегают. Там кричи, лодку зови».

Айя вытряхнул из мешка продовольствие и поделил его на две части – меньшую упрятал в свой мешок, большую – в сумку Марка. Серdito закричал, когда Марк сделал протестующий жест:

«Бери, Марк! Молодой ты. Зубы крепкие. Много-много есть надо. Аие хватит. Тайга прокормит. Бери, а то сердитым буду».

Марк ушел с каменной косы, а Айя долго еще стоял, опираясь на свое древнее ружье. Потом и он исчез в тайге.

Города, дома, люди – всё казалось Марку давно промелькнувшим сном. На самом деле – нет городов, домов, людей, а вся земля вот такая дикая, неисхоженная, как та, что перед ним раскрывалась. И только две реальности существовали для него: его путь и большеглазая, яркоротая девушка в конце пути, повторяющая снова и снова:

«Марк, вернись, я совсем одна. И так боюсь!»

Прошло три дня, прошло две ночи, и наступила ночь третья. Может быть, завтра Марк увидит железную дорогу, обещанную стариком-нанайцем – шел он очень быстро – а может быть, и через год. Но если даже через год, он всё равно дойдет. Он шел вдоль берега. Не удалось и сегодня догнать того, что двигался впереди. С ним, как сказал Айя, черная собака. Опять не удалось догнать, а день уже вытеснен ночью. Марк облюбовал для ночевки группу кедров на самом берегу реки, сбросил под ними мешок, поставил ружье, хотел было начать собирать валежник для костра, как заметил вдалеке огонек. Должно быть тот, с собакой. Прикинув на глаз расстояние и решив, что огонь горит

метрах в семистах, не больше, Марк отправился дальше. Но он обманулся, ему пришлось идти долго. Река в этом месте круто загибается, образует дугу. Марк был на одном ее конце, костер горел на другом – на глаз близко, а на самом деле далековато. Часа два пробирался он по берегу. Костер давно пропал из вида, но если идти вдоль реки, то обязательно придешь на него. Когда он уже решил, что ему не дойти и лучше остановиться и заночевать, далеко по реке увидел он огонь – крошечное золотое пятно в крошечной тьме.

Большой пес стоял у костра, повернувшись головой туда, откуда шел Марк. Он не рычал, не лаял, не двигался. Марк, заприщипав его, остановился. Легонько свистнул, но пес на Марков привет никак не реагировал. Костер догорал. Протянув к нему ноги, под деревом спал человек. Марк принес сухого валежника. Вышел к реке и вернулся с водой в котелке. Поставил котелок на огонь, начал ужинать. Из всего, что ему дал с собой в дорогу Айя, оставалась еще вяленая оленина и хлеб. Сухое мясо раздиралось на длинные волокна, эта мясная вермишель была соленой, твердой, но если подержать ее во рту не глотая, то она размякнет, и тогда станет вкусной и сочной. Марк отдирав волокна, медленно жевал их, а пес стоял на коротких мохнатых лапах и упорно смотрел на него. Бросил он ему несколько волокон, тот подхватил их на лету, незаметно проглотил и снова принял ту же позу окаменелой неподвижности. Спящий пошевелился, приподнял голову.

«Вставайте, будем чай пить», – сказал Марк.

Человек молчал. Теперь он опирался на локти, рассматривал Марка. Он, должно быть, очень высокого роста, так как ноги почти дотягиваются до костра. Поджал их, убирая подальше от огня. Удлиненное лицо с неряшливой бородкой, какие отрастают у очень молодых людей. Беловатые волосы на голове. Седой? Нет, скорее светловолосый.

«Хотите чаю?» – спросил Марк. – «Сахару, правда, нет, но заварка еще имеется».

«Нет, я не хочу чаю», – сказал человек.

«У меня есть вяленое оленьё мясо и хлеб», – предложил Марк.

«Спасибо, я сыт», – сказал человек и откинулся на спину. Помолчали.

«Вы, кажется, побриты?» – сказал вдруг человек. – «Если у вас есть бритва, то я вам буду очень благодарен».

У Марка бритвы не было, но он научился довольно ловко пользоваться лезвием безопасной бритвы, закрепленным меж двух палочек.

«Я побрею вас утром», – сказал Марк. – «Мое бритвенное оружие сложное и опасное».

«Спасибо», – односложно сказал человек.

Марк подождал, но человек затих, и тогда он спросил его, кто он? Ответа не было, человек спал. Марк лег с другой стороны костра, с наслаждением вытянулся. Человек, которого он догнал, не хочет вступать в разговор. Странно! Может быть, устал и завтра будет другим.

Таежную тьму, кажется, можно взять в руку и на ощупь определить, какая она тяжелая и плотная. Костер догорал; он уже не отгонял тьму, а изнемогал в борьбе с нею, превратившись в груды жара, выбрасывающего короткие язычки синего пламени. Тьма мертвая; без конца и края тьма, окутала весь мир, и ничего уже нет, всё стерто, поглощено. Немыслимо, невероятно, чтоб нашлась сила, способная поколебать эту тьму, отодвинуть ее, или хотя бы ослабить. Но вот, далеко-далеко, родился слабый свет. Робко, неуверенно он вошел в царство тьмы, начал крепнуть и вдруг, во мгновение ока, набросил на тайгу огромный ковер переливчатого серебра. Это внезапное чудо совершила луна. Она послала авангард светлых лучей, а потом и сама выплыла на небо – уверенно, властно выплыла, давая всему миру видеть, что это она, голубая луна, владеет над тьмой и побеждает тьму. Темная громада тайги превратилась в серебряное море. Заиграли переливами листья деревьев, пролегли по реке светлые, зыбкие дороги, поплыли в вышине облака. Самые шаловливые из лунных лучей пробежались по вершинам деревьев в поисках лазеек и, найдя их, юркнули вниз, заметались меж деревьев, сплелись в причудливый хоровод на лесной траве, на живых и мертвых древесных стволах. Дерзкий прорыв лучей был таким неожиданным, что молодой медведь, отдыхавший под кустом, тихо рывкнул. В другом месте лунный луч храбро побежал к тигру, терзающему добычу. Тигру показалось, что это приближается враг, он грозно зарычал и со всей силы вонзил когти в лунный блик, но тот не-

вредимым выскользнул из-под страшной лапы и побежал дальше, выхватив по пути голову мертвого пятнистого оленя, пожираемого тигром. Вверху загудели дикие пчелы: спотыкаясь о бугристые края, лунный луч проник в их дупло, и пчелы сердитым гудением хотели остановить светлого вторженца. Не успели успокоиться пчелы, испуганно закричала птица, а на ее крик откликнулись другие птичьи голоса, которые, очень рассудительно, сквозь сон, сказали: «Замолчи! Ведь это только луна».

Черный пес лежал, положив голову на передние лапы. Огонь уже погас, раскаленный жар покрылся налетом черной золы, а пес всё такими же строгими, неподвижными глазами смотрел в чрево умирающего костра. Острый, всё замечающий нюх собаки должен был ловить запахи тайги, в которых так много привлекательного; скорее всего пес и ловил эти запахи, но они не волновали его. Близко проشمыгнул какой-то мелкий зверек – совсем легко было бы догнать его, но собака осталась неподвижной. На берег выпрыгнули две козули. Если б беспечные шалуны знали, что за ними следят глаза большого и страшного пса, они не пили бы так долго и так спокойно.

Серебряно-голубой свет щедро струился над миром. Марк спал, укрывшись рваной малицей – заснул и ни разу не пошевелился – но тот человек, которого он застал у костра, если и спал, то урывками и очень беспокойно. Во сне он издавал протяжные стоны, и в таких случаях собака приподнимала голову и глядела в его сторону. Потом он проснулся и сел, словно какая-то мысль подняла его. Он принес охапку валежника, усилил костер. Присев к свету, что-то писал в тетради. Марк спал, ничего этого не видел.

Перед рассветом всё вокруг затянулось молочным туманом. Марк вдруг почувствовал, что кто-то прикасается к нему и мгновенно проснулся. Перед ним был человек с ружьем за плечом. Только теперь Марк мог рассмотреть его. Действительно, человек высокого роста. Молодой, худой. На лице резко выдаются скулы. Глубоко запавшие глаза. И голова седая, теперь Марк был уверен – седая. Скатанное по-солдатски одеяло через плечо – казалось, что это огромная змея обхватила человека.

«Извините, что я разбудил вас», – сказал человек. – «Я подумал, что может быть вы согласитесь исполнить мою просьбу».

Марк сел. Человек говорил так, словно ему было очень трудно произносить слова:

«Я хочу дать вам тетрадь. Прошу передать ее в Когочу. Ведь вы в Когочу направляетесь, так ведь? Я написал здесь в тетради, кому передать. Вы окажете мне очень большую услугу, если исполните просьбу».

«Конечно», – сказал Марк. – «Но разве вы сами не в Когочу идете?»

Марк хотел было сказать, что отсюда можно попасть только в Когочу – во всех других направлениях лежит мертвая тайга – но человек прервал его. Он словно не хотел слышать его слов.

«Спасибо... Я надеюсь, что вы исполните мою просьбу».

Положив рядом с Марком тетрадь, он пошел вдоль берега.

«Постойте, ведь я обещал побрить вас», – крикнул Марк, не зная, чем остановить этого странного человека. Но тот не обернулся. Черный пес угрюмо поплелся вслед.

Марк кипятил чай, завтракал вяленой олениной, а сам неотрывно думал о странном человеке, который оставил ему тетрадь и, как было видно, не хотел вступать с ним в беседу. Куда он пошел, если думает миновать Когочу? Кругом – таежное море, в котором человек чувствует себя потерянной пылинкой. Куда и зачем он пошел?

Во весь тот день Марк не мог отделаться от мысли об этом человеке. Он шел, но когда солнце было еще высоко, он всего себя почувствовал заполненным усталостью. Решил пораньше остановиться на ночевку. Может быть, и на этот раз он преодолел бы усталость и шел до наступления полной темноты, как и во все эти дни, но мысль о тетради, которую он нес в своей сумке, не давала ему покоя. Расстелив малицу под деревом, он присел. Отдохнет, а потом уже займется костром и едой. Вынул из сумки тетрадь в черном коленкором переплете. Под обложкой заложен лист бумаги, вероятно вырванный с конца тетради. На нем имя: Мария Тарпова. Адрес: Контора геологической экспедиции. Когоча. Этой Марии Марк должен вручить тетрадь. На первой странице тщательно, с закруглениями и завитушками, выведено: «Записки для памяти геолога Петра Сергеевича Новикова». Имя чем-то знакомо Марку. В задумчивости он листал лист за листом. Его глаза стали ловить повторяющееся слово уголь. Это слово помогло

вспомнить. Этот Петр Новиков с год тому назад упоминался в связи с шумихой, поднятой в газетах по поводу открытия залежей угля. Марк вернулся к началу тетради, начал читать. Переходил с одной страницы на другую, с этой на следующую, и когда вовсе стемнело, разжег костер и уже при огне дочитал до конца.

Записки для памяти геолога Петра Сергеевича Новикова

Мама, родная моя, ты не напрасно говорила, что родился я под счастливой звездой. Я нашел уголь! Да, я, П.С. Новиков, в прошлом году окончивший институт, нашел залежи угля в том месте, где их присутствие не подозревалось. Сейчас я нахожусь в Хабаровске. Выхожу на дорогу великих. И решил с первых же шагов на этой дороге вести эти записи. Для тебя, мама, и еще для одной женщины, которую я люблю иначе, чем тебя, но так же сильно. В Хабаровске мне сказали, что Москва очень заинтересовалась моей находкой. Дело в том, что уголь там, где я его нашел, решает проблему снабжения топливом будущих новых железных дорог. Не надо будет возить его за тысячи километров из Донбасса. Сучанский бассейн на Дальнем Востоке дает мало угля. В основном здесь держатся на угле Донбасса. А ты знаешь, мама, что это значит? Если погрузить в Донбассе эшелон углем и направить его на Дальний Восток, то пока он придет к месту назначения, паровоз сожжет в своей топке почти половину всего угля.

В Хабаровске мне обещают полный успех. Все поздравляют. Проф. Заикин предрекает, что мне дадут орден. Нет, мама, не напрасно ты породила на свет твоего Петьку. Признаюсь по секрету: я уже мысленно примеряю орден к моему серому пиджаку, и мне кажется, что красивее всего на нем был бы орден Красной Звезды. Не правда ли, мама, это будет выглядеть скромно и красиво?

Вернулся в Когочу, где находится наш центр. Весь день провел в управлении геологических исследований. Мария радуется моему успеху не меньше, чем я сам. Да ведь у нас давно уже все общее – и радость и горе. Теперь уже недолго ждать, скоро мы

поженимся. Смешная Мария, она все еще сомневается во мне. Когда мы нынче шли с вокзала, она вдруг остановилась и повернула меня лицом к себе:

– Скажи, Петр, если ты станешь очень знаменитым, не охладеешь ты ко мне? – спросила она. Я рассмеялся и тут же на улице поцеловал ее. Смешная, смешная Мария. Стала геологом, а все еще такая же наивная, как и тогда, когда мы вместе учились в школе. Мы обязательно должны поскорее пожениться. Мария сказала, что она...

Черт возьми! Я действительно становлюсь знаменитым. В московской газете обо мне напечатана статья в 139 строк. Строки я посчитал сам. Краевая газета перепечатала эту статью, и тут же напечатала свою, в которой 176 строк. Итого – 315 строк о молодом геологе П.С. Новикове, нашедшем уголь в тайге.

Целую неделю ничего не писал. Совсем сбился с ног. Найденный уголь породил лихорадку. Может быть, так когда-то было в Клондайке. Впрочем, там ведь не было столько учреждений, которые все хотят знать. Я никогда не мог бы подумать, что у нас столько властей, и теперь уже окончательно не знаю, кто кому подчинен. Мне казалось, что исполком является в крае самой высшей властью, а теперь я вижу, что это не так. Вчера я получил телеграмму: «Для доклада Крайисполкому немедленно выезжайте в Хабаровск». Собрался ехать, но меня задержал уполномоченный ОГПУ. Этого уполномоченного я видел несколько раз – серый и невзрачный на вид человек. Сказал он мне коротко:

- Вам не надо ехать в Хабаровск.
- Я получил телеграмму. Краевой исполком...
- Не обращайтесь внимания на краевой исполком.
- Но как же? Я не могу не подчиниться.
- Если вам моего слова недостаточно, вы получите телеграмму от краевого исполкома.

Проговорил это сухо, мне даже показалось – враждебно.

Действительно через час мне принесли телеграмму: «Ваш приезд в Хабаровск отменяется».

Вот тут и разберись, где же настоящая власть и кто кому подчинен. По конституции ОГПУ подчинено органам советской власти, а тут «не обращайтесь внимания на краевой исполком». Насколько все проще в геологии. Проще и точнее.

Хорошо, что я веду эти записки не в виде дневника, так как получился бы не дневник, а многодневник. Опять за четыре дня я не написал ни одной строчки. Разрываюсь на части. Из Москвы прилетел товарищ Горман, большое начальство в ОГПУ. Его все почему-то ужасно боялся, а во мне он не вызвал никакого страха. Он встретил меня совсем просто. Марию я потащил с собой. Стыдно признаться, но мне думалось при этом: «Пусть Мария видит, какой Петр Новиков, пусть видит его славу». Ведь говорить с Горманом – это уже признак славы. Когда мы вошли в кабинет, Горман стоял, повернувшись лицом к окну. Перед ним тянулся местный уполномоченный. Горман повернулся и протянул мне руку. – Очень рад познакомиться с вами, товарищ Новиков – сказал он. – Ваше открытие имеет важное значение. Вы, конечно, рады будете узнать, что принято решение немедленно начать разработку открытого вами угольного района. Говоря это, Горман внимательно смотрел то на меня, то на Марию. Я догадался, что должен представить ее. Услышав, что Мария моя невеста и геолог, он очень дружелюбно протянул ей руку и сказал: – В качестве невесты нашего молодого следопыта, вам приятно будет узнать нечто, что я хотел оставить на конец беседы. Правительство решило наградить товарища Новикова орденом Ленина. Поздравляю!

Горман порылся в папке и протянул Марии московскую газету всего только трехдневной давности. К нам московские газеты приходят на десятый день, этот же номер прилетел с Горманом. У меня при этом известии был довольно глупый вид, и Мария наступила мне на ногу. В самом деле, это было неожиданно. В моих мечтах на моем пиджаке красовался орден Красной Звезды или еще более скромный «Знак Почета», но орден Ленина – это

слишком! Все-таки высшая награда страны, даже для мечты – слишком!

Между прочим, я совершенно не представляю, как можно начать разработку угля. Ведь это по прямой будет более четырех сотен километров от Когочи. Угольный район лежит к глубине тайги, куда не то, что дорог, а и тропинок в короткий срок не проложить. На пути множество болот. И потом, как вывозить уголь из этой глуши?

Впрочем, наверное, есть какие-нибудь способы преодолеть эти трудности, в противном случае в Москве не приняли бы такого решения.

Мария, когда мы вчера ушли от Гормана, удивила меня. Она сказала, что ей он совсем не понравился. Уверяет, что у него совершенно мертвые, ничего не выражающие глаза. Эти женщины, они всегда что-то заметят. Я, например, даже не заметил глаз Гормана.

Мне приказано собираться в дорогу. С несколькими сотнями людей, я должен отправиться к месту, где нашел уголь, и оставаться там до тех пор, пока это будет необходимо. Сейчас конец сентября. Если мы отправимся через три-четыре дня, то к двадцатому октября будем на месте. Придется много, кружить, чтобы объехать непроходимые в это время болота. Мария сказала, что он толкнул ее. Наверное, преувеличивает. Всего месяц, как она понесла моего ребенка, разве может он уже толкаться? Впрочем, все возможно.

Я чувствую, что эти записи будут совершенно непонятны, так как в них нет начала. Что за уголь, почему я его нашел и как нашел? Постараюсь изложить все это, кстати, выпал свободный час.

Мне просто повезло, дико и нелепо повезло. Должен сознаться, что я никак не рассчитывал на открытие, и все мои желания в то время были направлены на скорейшее возвращение к Когочу,

где меня ждала Мария. Когда мы ехали с ней из Москвы на Дальний Восток, мы рассчитывали не разлучаться. Но сразу же по приезде наши расчеты оказались опрокинутыми. Меня направили в изыскательную партию, а Мария осталась в Когоче для систематизации и обработки материалов, которые будут поступать от изыскателей. Вот и получилось, что за год работы я только два раза виделся с ней, да и то на короткий срок.

Наша изыскательная партия провела этот год в тайге, исследуя почву, собирая образцы пород, роясь в вечной мерзлоте. Руководил пожилой инженер Виктов. Он, собственно говоря, не геолог, а путеец, но на нем и лежала главная задача. Он должен был с нашей помощью изучить возможность прокладки железнодорожной магистрали.

Однажды инженер Виктов поручил мне самостоятельную задачу. Я должен был в сопровождении одного рабочего пройти по долине небольшой реки до горной гряды, в которую упирается эта долина. Виктов хотел убедиться, что никаких неожиданных препятствий в этой долине нет. Задача простейшая, требующая лишь крепких ног. Голова могла и не участвовать. Именно по признаку крепких ног я и был выбран.

Если бы в пути я точно придерживался инструкции Виктова, то все обошлось бы тихо и спокойно. Но я нарушил эту инструкцию. На второй день пути я обнаружил, что долина, по которой я иду, уклоняется в сторону. Вскоре я подошел к месту, где она делится на два русла, вроде детской рогатки. Мне следовало бы идти по основному руслу, как этого требовал Виктов, но боковое ответвление показалось мне более коротким путем, и я двинулся по нему. И не больше, чем через два часа, я попал в царство угля. Долина сузилась до размеров широкого оврага, и оба откоса были черными. Угольные пласты висели глыбами над моей головой. Они начинались в двух-трех метрах от поверхности земли, иногда же выходили на самую поверхность. Этот овраг был похож на колоссальный макет в институте геологии, по которому мы изучали геологический разрез пластов земли. Я совершенно не думал, что моя находка имеет какое-нибудь значение, мало ли в земле случайных скоплений угля, не представляющих практической ценности!

В этот день я и мой спутник переночевали на склоне сопки. Отягощенные мешками с образцами породы, мы к исходу третьего дня вернулись к нашей партии. Доложив Виктову о путешествии, я высыпал перед ним образцы. Увидев уголь, Виктов впился в него руками, а выслушав мой рассказ о черном овраге, сказал:

– Знаете ли вы, что это значит? Уголь у самой железнодорожной магистрали! Одно только это может решить вопрос в пользу постройки дороги именно здесь.

Уже на другой день вся наша партия двинулась к тому месту, где я нашел уголь. Пятнадцать дней мы измеряли площадь угольных пластов, рыли ямы. Это было примитивное исследование, но оно дало возможность установить, что мы натолкнулись на угольный район, содержащий промышленные запасы. Виктов подготовил обстоятельный доклад, и с ним отправил меня в Когочу. Я даже не знал, что в докладе честь открытия угля приписана мне и рассчитывал только на то, что доставка доклада позволит мне провести несколько дней с Марией. На самом деле я неожиданно стал героем дня....

Мария. Фактически мы муж и жена, а оформим после. Она говорит, что будет мальчик. Откуда она знает?

Мы готовы к отъезду в тайгу. Оказывается, нас идет не так уж и мало, около полутысячи людей. Начальником является уполномоченный ОГПУ, тот самый, который запретил мне ехать в Хабаровск. Но мое непосредственное начальство – инженер Затецкий. Вежлив, воспитан, деликатен. Повидимому, из бывших. Может быть поляк, но обрусевший. Много лет работает в ОГПУ по вольному найму. О том, что он был когда-то заключенным, я узнал случайно из слов начальника нашей экспедиции. Затецкий очень опытный специалист. Он строил шахты. Прекрасно, повидимому, знает золотодобычу. По совести говоря, я совершенно не знаю, зачем я ему нужен. Разве только в качестве проводника.

Сегодня Затецкий принес мне Хабаровскую газету. В ней опубликована беседа корреспондента со мной. На этот раз я не

обрадовался, а разозлился. Экая скотина, этот корреспондент! Он беседовал со мной, но я ничего подобного тому, что он написал, не говорил. Пошел к уполномоченному ОГПУ. Тот внимательно прочитал газету и спрашивает: – С чем же вы не согласны? Все как будто правильно.

Но ничего подобного я корреспонденту не говорил – настаивал я. – Все, что написано – его выдумка. Я говорил с ним об угле, а не о себе. Смотрите, что он пишет. Я наугад ткнул пальцем и прочитал: «Я горжусь, что живу и работаю в стране, которую ведет вперед товарищ Сталин». Ничего подобного я ему не говорил.

А разве вы не гордитесь, что живете и работаете в стране, которую ведет товарищ Сталин? – спрашивает уполномоченный.

Ну, горжусь, конечно, – мнусь я, – но к чему об этом кричать? Или вот еще: «Для советской молодежи, к которой я принадлежу, великим примером подражания является товарищ Сталин». Даже разговора об этом не было!

А вы полагаете, что это не так? – все тем же гнусно-тихим голосом говорит уполномоченный, который не может или не желает понимать меня. – Вы находите, что это неправда?

Я смотрю в его холодные глаза и мне становится противно.

– Конечно это правильно, но я этого не говорил.

– Я уверен, что вы об этом думали, а задача советской печати выражать сокровенные мысли советских людей – нравоучительно замечает уполномоченный. – Почему сокровенные? Потому, что наши люди не умеют выразить их и таят про себя. Вот печать и выражает их за вас.

«Издавается он надо мной, что ли?» – думал я. А он тем временем продолжал:

– Между прочим, все эти слова вписал я. Вы очень много говорили об угле, но уголь засекречен, и я вычеркнул сказанное вами. Из присущей вам скромности, вы мало говорили о своих чувствах, которые не могут быть засекреченными. Я восполнил этот пробел и, надеюсь, точно выразил ваши мысли. Не так ли?

Я ушел от него словно оплеванный. Зачем они так? Я ведь действительно хочу послужить родине. Сталин для меня великий человек, которому надо подражать. Но зачем же уполномоченному

ОГПУ выражать мои чувства, я мог бы и сам. В этом есть что-то постыдное.

Почти месяц ничего не записывал. 28 сентября мы покинули Когочу, и только 21 октября добрались к угольному району. Пройти было не легко, но прошли. Беда в том, что нет хороших карт: никто эту местность не изучал. Сначала мы пытались двигаться по нашим картам, но из этого ничего не выходило. Там, где на карте тайга, мы попадали в болото. Русла рек на картах нанесены небрежно, и нам приходилось по два раза переправляться через одну реку. Но все это ничто по сравнению с болотами. Маленькой группе еще можно пройти через них, но большому отряду это было невозможно. Приходилось все время уклоняться в сторону и в результате, чтобы добраться до места, нам пришлось пройти не 400 километров, а не меньше шестисот.

Наша экспедиция состоит главным образом из охранников. Их больше четырехсот человек. Несколько десятков людей относятся к гражданской группе, к которой принадлежу и я. С нами движется большой обоз из сотни пароконных подвод, заполненных грузами. Главным образом везется продовольствие. Но на каждой подводе мотки колючей проволоки. Зачем – не знаю.

Уже пятый день мы находимся на месте. Все работаем на постройке большого дома. В тайге рубятся огромные бревна. Пристегивается запряжка из десятка лошадей и бревно волоком доставляется к месту.

Половина охранников занимается колючей проволокой. Мне как-то жутко сознавать, что сюда придут заключенные. Единственно, что здесь готово для них – это площадки, обнесенные проволокой и с вышками для охраны. Иногда мне кажется, что я виноват в том, что этих пока еще неизвестных мне людей приведут сюда и заставят добывать из-под земли уголь, найденный мною. Но всегда в этих случаях на помощь приходит рассудок, который снимает с меня сознание вины. В конце концов, заключенные все равно должны работать. Каждый из них заслужил свою участь. Правда, я много слышал, что арестовывают и без оснований, но

я в это не верю. Ведь никто же не арестовывает меня, раз я ни в чем не виноват.

По-видимому, закончив дом, предназначенный для охраны, вольнонаемных и комендатуры лагеря, мы начнем строить помещения для заключенных.

Странно, но мы прекратили работу. Большой дом готов, и мы в нем поместились. После палаток, так приятно почувствовать над головой надежную крышу. Охранники быстро устроились в доме – бараке, и теперь целыми днями режутся в карты. Надо будет поговорить с Веселым. Веселый – это начальник нашей группы, тот самый уполномоченный из Когочи, о котором я уже писал. Это имя удивительно не подходит к нему; трудно представить себе менее веселого человека, чем он.

Поговорил, и такое ощущение, словно наглотался какой-то гадости. Я подошел к Веселому, когда он разбирал бумаги в своей комнате. Спросил его, как о само собой разумеющейся вещи, когда начнем строить дома или бараки для заключенных. Даже глупо пошутил, сказав, что проволочные заграждения все-таки ненадежная защита от холода. Веселый посмотрел на меня и спросил: – Вы серьезно полагаете, что мы будем строить помещения для заключенных? Не находите ли вы, что было бы странным, чтобы войска ОГПУ занимались этим?

– Но позвольте, как же будут заключенные? Ведь уже зима близко.

– Предоставьте им об этом позаботиться самим. Вы увидите, что человек живучее животное.

– Но все же, как можно приспособиться, попав на квадрат земли, окруженный колючей проволокой? Вы знаете, что значит зима...

– Знаю очень хорошо. И знаю еще многое, чего вы никогда не будете знать. В частности, знаю, что нельзя вмешиваться не в свое дело.

Намек был достаточно ясным, и я ушел от Веселого. Долго бродил по тайге. Обошел площадки, обнесенные колючей проволокой. И все-таки не понял, как могут на этих квадратах выжить люди! Сегодня падает первый снег. И зачем только взяли меня сюда! Я ведь понимаю неизбежность иметь заключенных. В такой большой стране, как наша, всегда будет известное количество преступного элемента, который должен быть от общества изолирован. Поэтому тюремщики тоже нужны нашему социалистическому обществу. Но я-то ведь не хочу быть тюремщиком!

Вчера прибыла первая партия заключенных. Их тысяч шесть. Слава Богу, что среди них нет женщин. Это первое серьезное испытание моей комсомольской верности. Я никогда не мог себе представить, что может быть нечто подобное. Люди прошли пешком от Когочи четыреста верст пути, а редко кто из них одет достаточно тепло. Правда, зима еще только начинается, но все-таки термометр показал сегодня 18 градусов ниже нуля. Шли они 12 дней, и пришли полуживые от усталости, холода, плохого питания. Вместе с ними пришел обоз, нагруженный продовольствием, но, тем не менее, их в пути кормили впроголодь. Оказывается, есть такая норма: для неработающих арестантов. Люди в пути причислены к неработающим, и им выдавалось по 400 гр. хлеба на день и два раза жидкий суп. Дошли не все. Начальник конвоя сообщил Веселому, что он потерял в дороге полтора человека. Я это услышал случайно и понял, что значит потерял. Попросту они не дошли до места и погибли.

Даже начальник конвоя, много видевший на своем веку, развел руками, когда ему приказали заводить людей за проволочные ограждения, за которыми ничего нет.

Веселый запретил гражданским лицам, следовательно, и мне, появляться в том месте, где размещаются заключенные. Издали я видел, как эта огромная масса людей вползла за проволочные ограждения. Стояла мрачной громадой и слушала приказ Веселого. Приказ был короток. Заключенные должны сами рыть себе землянки или устраиваться, как им заблагорассудится; на все это

устройство дается два дня, а на третий все должны приступить к добыче угля.

Прошел месяц, а добыты горы угля. В лагере числится двадцать четыре тысячи заключенных, целый город. Первоначальные ямы постепенно расширились до размеров подземных домиков. Живут группами по 10–15 человек. Холода стоят суровые, и в землянках целые ночи горят костры. Раскладывают их прямо на полу. Кажется, что невозможно выдержать дым, но человек ко всему привыкает. Я часто припоминаю утверждение Веселого, что человек – «живучее животное». Заключенные похожи на привидения. Грязные, пропитанные дымом, обросшие бородами. Людской муравейник копошится с утра до позднего вечера. Растут горы угля, и с каждым днем растет моя ненависть к этому уголю. Она родилась во мне сразу, как только я поближе присмотрелся к заключенным. Жизнь дает мне урок, испытывает мою верность комсомолу, партии, Сталину. Выдержу ли я это испытание?

Я ненавижу этот уголь, вырастающий горами вокруг. Сознание, что я совершил преступление, не покидает меня. Но в чем мое преступление?

Чем больше я присматриваюсь к заключенным, чем больше узнаю их, тем горше становится на душе. Почти все принадлежат к категории кулаков. На самом же деле, все они простые крестьяне, потомки таких же, как они, земледельцев. Их преступление состоит в том, что они не захотели войти в колхозы.

Я понял, почему так молчаливы эти люди, похожие на выходцев с того света. Это люди с умерщвленными душами. Для них нет будущего, и у них отнято прошлое. Боже, если Ты есть, помоги им!

Сегодняшний день принес мне радость. Почти полтора месяца я не брался за тетрадь и ничего не писал в ней. Тяжко писать о том, что происходит вокруг. Но вот, неожиданная радость про-

сится на бумагу. Дело в том, что здесь, где мы находимся, оказалось мало угля, и вопрос о промышленном его использовании отпадает сам собой. Во всяком случае, запасы угля не такие, чтобы создавать здесь постоянную добычу. Мы не ошиблись, ведя летом предварительное исследование. Но мы пользовались слишком примитивными способами. Все наши расчеты были правильными, кроме одного: уголь не лежит сплошной массой, а располагается гнездами. Надо же было случиться так, что все наши точки предварительного исследования пришлись на эти гнезда.

Уйдут эти тысячи людей из тайги, уйду и я. Пусть мне не дают ордена, не пишут в газетах, только бы этот кошмар кончился и освободиться от чувства, что ты обрек несчастных на жизнь в дымных норах. Только Мария могла бы понять меня!

Сегодня уже теплее. Приближается весна. Пять месяцев я не видел Марии, целую вечность. Горы угля все растут и растут. В стороне за лагерем увеличивается число продольных холмов. Могилы. Похоронено уже 1.600 человек. Стараюсь обходить это кладбище, словно действительно я виноват в смерти этих несчастных.

С каждым днем становится теплее. Снег тает. Обозы с продовольствием, которые приходили до этого регулярно каждый день, начинают запаздывать. Сегодня до нас добралась только половина обоза, вторая повернула назад к Когоче, так как лошади не тянут груженные сани по размякшему снегу.

Весна. Тайга ожила – заполнилась пением птиц, шумит ручьями. Обозы совсем перестали приходить. Высланная навстречу группа охранников вернулась с сообщением, что реки разлились, и болота покрылись водой. Ни проехать, ни пройти. Веселый го-

ворит, что это его не смущает. Продовольствия хватит на две недели, а там реки войдут в свои берега. Может быть, он прав, а может быть, и нет. Реки войдут в берега, но болота?

Убежали 12 заключенных. Сегодня восемь из них вернулись – истощенные, измученные, полумертвые. Кругом болота, невозможно пройти. Четверо погибли в тайге. Вернувшихся расстреляли за побег.

Собака Веселого почему-то привязалась ко мне. Ее звать Каро. Она лохматая, черная и очень угрюмая. Я побаиваюсь ее. Зимой я видел, как она по знаку Веселого набросилась на заключенного, пытавшегося бежать. Она повалила его в снег и впиалась зубами в горло. И все это молча, без лая и рычания. Заключенный в тот же день умер.

Каро часто сопровождает меня. Иногда я с ружьем ухожу в тайгу, и он плетется вслед. В нем нет ничего, свойственного собаке. Иногда мы видим козуль. Каро не бросается вслед за ними, как сделала бы любая другая собака, а остается на месте, провожая их мрачным взглядом своих коричневых глаз. Птицы тоже не пользуются его вниманием. Он способен меланхолично рассматривать лесную птицу, прыгающую у самого его носа. Но достаточно повстречать в тайге заключенных, идущих под охраной на порубку леса, и Каро преображается. Шерсть на его спине поднимается щетиной, горло раздувается, глаза наполняются яростью. Мне и жалко этого пса, и вызывает он у меня страх и отвращение.

На нас надвинулась катастрофа. Уже три недели нет подвоза продовольствия. Веселый вдвое уменьшил паек заключенных. Работы прекратились. Сегодня прошел мимо кладбища. Насчитал много новых могил. Похоронено около пяти тысяч.

Веселый сам ездил в направлении Когочи, но к вечеру вернулся. Пути нет. Мария, я совсем теперь не вспоминаю о тебе и о нем, о нашем ребенке, которого ты носишь.

Остатки продовольствия Веселый свез в дом охраны. Заключенным больше нечего давать. Веселый приказал снять посты. Заключенные могут уходить, если хотят. Кое-кто уходит, но возвращается. Тайга непроходима.

Веселый приказал резать часть лошадей. На каждого заключенного придется меньше килограмма мяса. Ни хлеба, ни крупы больше нет. Сколько дней можно будет питаться этим мясом? Два? Веселый утверждает, что этого хватит заключенным на десять дней.

Остальных лошадей он поместил у дома охраны. Они *охранены цепью охранников. Боятся, что и оставшихся лошадей заключенные захватят и съедят.*

Из окна я вижу только кусочек лагеря. Люди, шатаясь, ходят между землянками. Варят в котелках древесную кору. Здесь же лежат мертвые. Теперь их никто не убирает.

Веселый принял решение. С задней стороны дома по его приказу прорезана широкая дверь. В нее солдаты вкатили телеги. На них грузятся остатки продовольствия. Веселый, собрав охрану и гражданских служащих, сказал, что положение безнадежное. Прихода обозов нельзя ждать раньше десяти-пятнадцати дней. Это означает гибель. Он решил думать только о нашем спасении.

Заклученные погибнут, и никто не в силах спасти их. Мы же с обозом уйдем в тайгу, и где-нибудь переждем, а потом, когда вода спадет, проберемся к Когоче.

Мы бросаем тысячи людей на верную гибель. Никогда не думал, что способен на подлость такого масштаба. Оказывается, способен. Иду спасаться с группой Веселого. Мучительно сознавать себя подлецом, но так хочется жить! Сейчас ночь, в нашем доме никто не спит. Веселый выжидает, пока заключенные скроются в землянки, а это будет только под утро, когда станет особенно холодно.

Вечером мимо окна, у которого я стоял, проходили заключенные. Они ослабели, едва держатся на ногах. У самого окна оставился старик. Но может быть, вовсе и не старик. Здесь невозможно узнать, кто стар, кто молод. Лица всех покрылись слоем землистой копоти. Все с бородами, и все в лохмотьях. Заключенный, остановившийся у моего окна, посмотрел в мою сторону и что-то сказал. Я не расслышал его слов, но понял, что он просит есть. Нам Веселый выдает еще паек, и в моем кармане был кусок хлеба. – Кто вы? – спрашиваю я заключенного. – Откуда? – Из-под Москвы – отвечает он. Я протягиваю ему хлеб. Но не успел он взять его в руку, как на него набросилось несколько других заключенных. Завязалась отчаянная борьба. Охранники кинулись из дома, били прикладами по головам, расшвыривали. Потом все расползлись. Тот, который получил от меня хлеб, лежал, уткнувшись лицом в землю.

Затецкий подошел ко мне и сказал: «Ваш гуманизм здесь никому не нужен. Вы дали ему кусок хлеба, а другие задушили его, отнимая этот кусок. Чтобы мы с вами жили, эти должны умереть. Таков закон отбора сильных, и не нам его изменить». В глазах Затецкого столько холодного и жестокого равнодушия, что я молча отошел от него. Все еще не могу смириться с той ролью, которую выпало мне играть. Но знаю, что играть буду. Ведь жить-то чертовски хочется! Задушенный заключенный так и остался под нашим окном. Вокруг дома уже лежит несколько десятков трупов – застрелены охраной при попытке уворовать лошадей. Сколько

осталось в лагере живых, я не знаю. Везде трупы. И все-таки людей много. Они ползают по лагерю, уходят, качаясь, в тайгу. Каро все время находится около меня. Что ему надо? Если у него есть способность понимать, то он знает, что я ненавижу и боюсь его. За эти дни Веселый трижды давал ему приказ, и Каро бросался на намеченную жертву и душил ее. А потом возвращался в дом и угрюмо подходил ко мне.

Пора, Веселый дает сигнал готовиться.

Я не знаю, сколько дней прошло – может быть три, а может быть, двадцать. В эти дни я не отдавал себе отчета, потерял себя, и только сейчас нашел. Все случившееся кажется кошмаром, виденным в горячечном бреде. Я настолько не уверен в том, что я действительно видел все это, что сегодня отправился на место. Да это на самом деле произошло. Я видел то место, там все оставалось так, как и было.

Расскажу по порядку. Нам удалось под утро завести лошадей в дом, запрячь их в телеги. Потом мы с обозом двинулись в тайгу. Нас было около четырех сотен человек и с нами полтора десятка подвод, груженных продовольствием. Все мы были вооружены. Имелось даже три пулемета, их сняли со сторожевых вышек. Уйти нам не удалось. Позади шум и крики. Заключенные лавиной двинулись вслед за нами. Эта лавина не отставала. Мы не могли двигаться быстро, так как лошади с большим трудом волокли телеги. Люди помогали лошадям, но и они сами вязли в отсыревшей болотной почве. К обеду мы прошли не больше десяти километров и выбились из сил, а шум сзади нас продолжался; заключенные двигались по нашим следам.

Мы оказались в окружении болот. Следовало бы попытаться, освободившись от обоза, пройти по склонам сопок, но это значило бы углубиться дальше в тайгу без продовольствия. Вернуться назад и двинуться по другому направлению мы уже не могли – сзади лавина заключенных. Веселый созвал командиров на совещание. Среди командиров и Затецкий. Вернувшись, он сообщил, что принято такое решение: дожидаться подхода заключенных и уничтожить их, а потом вернуться назад к лагерю.

Мысль не стрелять в людей возникла во мне сразу. Я вспомнил мою Марию и того, кого она носит в себе. Это выше моих сил. Взяв с собой ружье, я незаметно ушел к сопке. Не мог окончательно и бесповоротно стать мерзавцем.

Об этом писать тяжело. Но, может быть, мои записки будут единственным свидетельством.

Я дошел до середины сопки, когда сзади донеслись крики, вой и стрельба. Мне было видно то место, на котором остановился обоз. Веселый расположил людей полукругом, словно предстоял настоящий бой с наступающим противником. Между деревьями показались люди. Много людей. Они шли в беспорядке, словно подталкиваемые кем-то в спину. Раздался залп. При первых выстрелах толпа остановилась, но только на короткий миг. С яростным воем она устремилась вперед. От телег неслись выстрелы, били пулеметные очереди, доносились глухие пистолетные хлопки.

Каждый шаг вперед стоил толпе многих жертв. От опушки леса тянулся ковер из трупов. И, тем не менее, она двигалась. Шли, шатаясь, ползли на четвереньках. Все это стремилось к подводам, на которых продовольствие. Веселый послал вперед Каро. Я видел, как черным клубком шерсти метнулся пес под ноги приближающимся людям. Он бросался им на грудь, и они падали под ударами его лап. Смерть – ничто. Подводы с продовольствием стали огромным магнитом, тянущим несчастных к себе. Отойди Веселый и его люди в сторону, и на них не обратили бы внимания. Но охранники стояли на пути к подводам. Я видел: толпа доползла до того места, с которого стреляли люди Веселого, затопила его. Почти не останавливаясь, двинулась к подводам. Веселый со своими остался на месте. Мертвые. Стрельбы больше не было. Продовольствие с подвод было истреблено в один миг. Из леса выползали все новые и новые толпы. Они ловили лошадей, резали их и тут же раздирали на куски. Обглаживали лошадиные кожи. К трупам добавлялись люди, корчащиеся в колिकाх. Каро прибежал ко мне, морда в крови. Его надо было бы убить, но не поднялась рука.

Мне кто-то говорил, что преступника тянет на место преступления. Я кружил по тайге, кое-как добывая себе и Каро пищу. Ружье – единственная моя надежда. Над тем местом, где произошло побоище, носятся стаи птиц. Сегодня я снова на сопке, с которой все тогда видел. Зловоние разложившихся трупов. Между трупами шныряют волки и лисицы. Среди зверей – мир, так как пищи хватает на всех. У опушки леса горят костры, много костров. Я вижу вокруг них людей, много людей. Они варят мясо. Какое мясо? Не то ли самое, какое пожирают волки и птицы? Между людьми и хищниками мир. Все здесь хищники. У всех одинаковая пища.

Куда и зачем я иду? Ведь все для меня кончено, с этим жить нельзя.

Почему я держу путь к Когоче? Увидеть Марию? Но это выше моих сил! Я чувствую себя так, как должен чувствовать человек, насквозь проеденный проказой. Нет Петра Новикова, а есть страшная проказа, которая пожрала Петра с его душой; с его надеждами, чувствами, волей. Это даже страшнее той, островной проказы¹, потому, что там гниет тело, а тут сгнил человек. Могу ли я? Могу ли принести все это Марии, заразить и ее тем, что несу в себе? Ребенок... Боже, Ты знаешь! Еще до того, как ему увидеть свет, его отец погасил для него свет. Зачем я иду к Когоче, когда в другой стороне есть одно-единственное место, где я еще могу быть?

Вечером подошел какой-то человек. Он ел вяленую оленину, пил чай, а теперь спит под деревом. Сама судьба послала его мне –

¹ Как следует из текста 2 тома, наподалеку от Когоче есть остров, куда свозили умирать прокаженных. Новиков добровольно придет туда жить (*прим. редактора*).

он принесет эту тетрадь тебе, Мария. Ты поймешь, и мама поймет, что после всего, меня больше нет. Ужас встречи с вами, любимые и дорогие, невыносим, невероятен, непереносим. Я знаю, что вы обе захотите помочь мне, но помочь мне нельзя. После всего, жить нельзя. Вы будете стараться, чтобы я забыл все это, но я не могу забыть и не должен забыть. Милые, дорогие, простите меня. И когда ты, Мария, дашь жизнь нашему ребенку и он, подросши, спросит об отце, скрой от него правду. Она может отравить ему душу. Если даже частица того, что я ношу в себе, перейдет к нему – он погибнет. Молю тебя, Мария, прости меня за все, моя единственная, и помоги маме пережить мой уход от вас.

Сейчас я разбужу этого спящего человека и отдам ему тетрадь. Прощайте и простите, и когда будете думать обо мне, то всегда помните то, что я вам сейчас говорю: с этим жить нельзя!

Жуткое горе одинокого, потерянного человека потрясло Марка даже больше, чем то страшное, что он описал в своей тетради. В том, что он написал, многое было недосказано, многое выражено бегло, без желания раскрыть все и всё объяснить, но одно было несомненно – человек сломлен. Поражен в самое сердце, полон ощущения проказы, сожравшей всего его.

Ночью на Марка наваливался кошмар. Кружился он в страшном хороводе искаженных человеческих лиц, а в центре хоровода был Петр Новиков. Марк спрашивал у него, требовал ответа, но он молчал и лишь страшными, пустыми глазами смотрел на него. Просыпался Марк, вновь засыпал, и опять вокруг него кружился хоровод. Это было так страшно, что он крикнул Петру, что у него должен быть ответ, что не может всё так остаться, не может всё кружиться и не могут человеческие лица быть такими страшными! Словно пожелав, наконец, ответить, Петр вдруг тонко, протяжно загудел. Марк проснулся. Издалека доходил гудок, вонзавшийся в тишину вибрирующим ручейком. Столкнувшись с тишиной, он скоро умолк. Марк затемно двинулся в путь, и утром вышел к тому месту, где на другом берегу реки находится крошечный полустанок. Это от него ночью подавал свой голос паро-

воз. От полустанка отчалила лодка. Бородатый, мрачно молчащий стрелочник перевез его, а через два часа он с товарным поездом добрался до Когочи.

В райисполкоме, где он бывал и раньше, его с трудом признали. Лохматый, костлявый парень в меховой ветоши мало походил на хабаровского Марка Сурова. Ему дали отмыться, кое-как переодели, и он попросил отвести его в контору геологической экспедиции. Марии Тарповой не было, она ожидалась к двум часам дня из поездки в недалекое село. Марк пошел на телеграф, соединился с Хабаровском. По ленте бежали буквы. Вавилов и Баенко передавали, что рады его возвращению. Поезд на Хабаровск проходил через Когочу в три часа дня, и Марк еще раз побывал в конторе Марии. Она не вернулась. Оставить тетрадь он не решался. Написал записку, что он повстречал Петра Новикова, имеет от него для Марии письмо и, если она не перехватит его, Марка, у трехчасового поезда, то письмо будет оставлено у дежурного по станции.

Поезд стоял на станции всего шесть минут. Он вот-вот тронется, а Марии всё еще нет. Марку ничего не оставалось, как вручить тетрадь дежурному. Войдя в вагон, он выглянул в окно. По перрону бежала высокая женщина. Ей должно быть было очень трудно бежать. Она придерживала руками нижнюю часть живота, сразу можно было определить: носит ребенка. Строгое, несколько остроносое лицо под коричневым платочком. Выбившиеся пряди темных волос. Взволнованный взгляд голубых, улыбочивых глаз. Приметная родинка у левого угла рта.

Поезд тронулся.

«Я оставил тетрадь дежурному», – крикнул Марк женщине. Он был уверен, что это Мария.

«Товарищ, пожалуйста», – крикнула она. У Марка появилось желание выпрыгнуть из поезда и всё рассказать ей, но мысль, что он ведь ничего не может добавить к тому, что написано в тетради, остановила его. Поезд набирал скорость.

На другое утро Марк был в Хабаровске. У вокзала его поджидал автомобиль.

«А вы знаете, товарищ Суров, вас тут уже совсем в мертвые зачислили. Слух был, что пропали вы в тайге».

Молодой исполкомовский шофер, Сеня, отчаянно сигнализировал. Автомобиль скакал по ухабам разбитой, изъеденной временем мостовой, на починку которой всё еще не находилось средств.

«Куда везти?» – спросил Сеня.

Марк указал рукой в сторону реки, и он повернул автомобиль. Марк молчал, внутренне сжимался от нетерпения. Вот и домик. Да, была зима, когда он в последний раз приходил сюда. Легонько царапал пальцами по стеклу, а потом трижды стучал. Почти полгода минуло с того утра, когда ушел караван. Дома ли Колибри?

Незнакомая женщина открыла дверь. Улыбнулась. Марк смотрел на нее в растерянности. Его мысли так были заполнены Колибри, что появление другого лица поразило его.

«Вы к нам, товарищ? Заходите, пожалуйста!» – певучим голосом сказала женщина.

Марк вошел в коридор. Сейчас в комнате он увидит Колибри. Переступил порог и остановился – не та комната. Но в этом маленьком коридорчике живет только Колибри, другие жильцы ходят через двор. Кровать с металлическими шариками, простой ночной столик, этажерка с облупившейся краской – всё это было и тогда. Но не было этих кресел, трюмо на том месте, где Марк вешал шубу, пестрых ковриков на стенах.

«Где Катя Антина», – почти крикнул он. – «Что с ней? Где она?»

«Я не знаю, товарищ», – сухо сказала женщина, согнав с лица улыбку. – «До нас жила здесь какая-то русская или китайка – не поймешь, да слышно было – пропала. В точности я не знаю. Мы комнату заняли по ордеру горсовета, и если вы сомневаетесь, то я сейчас его найду».

Женщина сделала движение в сторону стола, но Марк уже ушел.

«Гони!» – приказал он Сене. Женщина высунулась из окна, в руках у нее была кепка, забытая Марком.

«Никто ничего не знает, товарищ Суров», – сказал Сеня, искаса наблюдая за Марком. – «Всякие слухи ходили, а толком никто не знает. Месяца четыре назад, как исчезла, зима тогда еще была. Я хотел вам сказать, да опасался».

Через несколько минут Марка ввели в комнату с круглым столом. Трое, похожие друг на друга. На столе учебники японского языка.

«Водка, коньяк, ликер?» – как и тогда спросил Марка человек с пустыми глазами.

«Где она?» – хрипло спросил Марк.

Пустоглазый внимательно посмотрел ему в лицо и, отчеканивая каждое слово, сказал:

«Нам нет смысла скрывать от вас. Вы не слабонервная девушка, выдержите. Кати Антиной нет. И не будет. Это всё, что нам известно. Дальше начинается область предположений, которые надо долго излагать. Могу вам только сказать, что Антина сослужила большую службу родине, и если она исчезла, то потому, что она эту службу сослужила».

Марк обессиленно опустил в кресло, а пустоглазый продолжал, не повышая и не понижая голоса:

«Катя дала нам в руки драгоценные нити. Но произошел просчет и... мы на этот раз проиграли. Мы знаем всё о вас, товарищ Суров, доверяем вам. Досадный просчет и временный проигрыш, вот что означает исчезновение Кати. Не забывайте, с каким опасным, хитрым и коварным врагом ей пришлось иметь дело. Расследование было произведено самое тщательное, но дало мало, очень мало. Под утро к ней постучали. Непонятно, почему она открыла дверь, ей это было запрещено. Соседи слышали крик, но когда выбежали на улицу, никого уже не было. Только след от саней, в которые были впряжены две лошади. След потерялся на главной улице. Вот и всё. Это сделали японцы. Ловко переиграли нас на этот раз».

Медленно отодрал Марк самого себя от кресла, поднялся и с колючей ненавистью посмотрел на трех неразлучных друзей. Побледнел до синевы, и конопушки на лице вдруг на маленькие ранки стали похожими.

«Вы, игроки!» – выдохнул он из себя. – «Доверяете мне, говорите вы. Плевать мне на ваше доверие! Какая-то шулерская игра, в которой на кон бросаются чужие жизни. Подлая манера заставлять человека делать не то, что он хочет. Вы принудили девушку заниматься делом, которое для нее омерзительно. Поймали на крючок, на который, вроде червяка, нанизали ее живого отца, а потом говорите: “послужила родине”! Да она и родины-то этой не увидела! Вы испакостили для нее родину. Проиграли в кости Катю! Учите японский, а любой японский щенок проведет вас. Проиграли Катю, а сами остались целы и невредимы».

Марк хлопнул дверью, ушел. Пустоглазый посмотрел на своих постоянных спутников и молча показал пальцем на то место, где у него сердце. Хотел сказать, что Суров поражен в самое сердце, и не надо придавать значения его словам.

Все усилия узнать о Кате больше, чем сказал ему пустоглазый, ничего Марку не дали. Этим делом занимались Вавилов и Баенко. Они позвали к себе Марка и сказали ему, что он должен смириться. Девушки нет, он ее больше не увидит. Блюхер выслушал Марка и вызвал начальника военной разведки. Через несколько дней он пригласил Марка к себе и тепло сказал:

«Я знаю, как вам тяжело это слышать, но Кати Антиной нам не найти. Очень хотел бы вернуть вам девушку, но это выше моих сил. Наши люди полагают, что она жива и исходят в своем предположении из следующего. Иошима несомненно любил ее и не захотел бы погубить. Что она выполняла возле него секретную миссию, он знал. Это видно из того, что он дал ей возможность овладеть документами, которые при проверке оказались фальшивыми. Этот японский разведчик очень ловкий и остроумный человек».

«Но если это так, Василий Константинович, то зачем же ему нужно было похищать ее?» – спросил Марк.

«В этом вопросе наши люди единодушны», – ответил Блюхер. «Иошима хотел обмануть нас своими фальшивками, но допускал мысль, что это ему не удастся, мы раскроем его игру. Зная нравы и обычаи некоторых наших органов, он полагал, и не без основания, что Катя должна будет платить за всё это. Ее могли бы даже обвинить в том, что она по сговору с ним пыталась подорвать наши военные мероприятия, подсунув нам умело составленные японские фальшивки. И тут мы опять возвращаемся к вечному, которое называется любовью. Кроме всех прочих соображений, он должен был думать и о том, что вы вернетесь. Из любви Иошима предпринял похищение девушки. Может быть, видел в этом единственный способ защитить ее. Может быть, боялся вашего возвращения. К тому же, похищение служило целям и основного его замысла. Оно как бы подчеркивало важность тех документов, которые девушка извлекла из его сейфа. Этой задаче мог служить и поспешный отъезд Иошима в Японию. Японцы хотели показать нам, что они отзывают провалившегося разведчика, и тем снова подкрепить свои фальшивки».

«Но как мог Июшима вывезти ее? Не вернее ли будет сказать, что они... ликвидировали Катю здесь?»

«Наши люди верят, что нет, не ликвидировали. А вывезти они могли. При всех наших криках о бдительности, через нашу границу можно перегнать стадо слонов, и мы не заметим. Если, конечно, действовать умеючи».

По ночам Марк впивался зубами в подушку и чувствовал, как в его горле клубится вой; не крик, а вой, рвущийся наружу. И тогда он, среди ночи, уходил в свою рабочую комнату в доме советов. Бешено, яростно работал. Но потом отрывался от бумаг, и лицо его искажалось судорогой боли. «Прости меня, Колибри. За то прости, что потерял тебя. И за то, что все мы не пожалели тебя». Марку казалось, что в темном углу стоит девушка, устремившая к нему косоватые глаза. Золотая корона волос клонила голову вниз. Глаза-звезды были обращены к нему: «Не оставляй меня одну, Марк, я так боюсь!» – шептала она. «Я знал, что ты ждешь, но я был нужен там. Я хотел вернуться к тебе. И опоздал». Колибри делала шаг вперед, но не выходила из темной полосы к свету. «Ты не знаешь, Марк, как я ждала тебя», – шептала она. «Я знаю», – отвечал Марк. Он шел к ней. Шаг, два шага, еще два шага, и он упирался в холодную стену. Прижавшись разгоряченным лбом к стене, долго стоял неподвижно. «Ее нет», – шептал. – «И не будет».

Праздновалось десятилетие освобождения края от японской оккупации. В Спасске были назначены по этому поводу торжества. Приказал Вавилов ехать туда и Марку, хотел оторвать его от дел, в которые тот погружался с болезненным ожесточением.

Было тогда на Дальнем Востоке несколько иностранных консульств. Дипломатический прием в здании городского театра. Повара и официанты выписаны из Владивостока. Из Хабаровска – оркестр. Гостей было немного, человек тридцать русских и с десяток иностранцев. Баенко, выполнявший роль хозяина, чувствовал себя не в своей тарелке – ему раньше не приходилось иметь дела с иностранными консулами. Огромный, лохматый, он на целую голову возвышался над всеми другими. Сутулил плечи и вбирал в них голову, словно хотел выглядеть помельче. Глаза под стеклами больших роговых очков то и дело обращались к дипломатическому агенту, присланному из Москвы.

Начался прием. К Баенко подходили иностранные консулы со своими помощниками. Представляли своих сотрудников. Баенко благодарил, пожимал руки. Японский консул – маленький, морщинистый старик с длинными зубами, выпирающими изо рта. На его лице, обращенном к Баенко, была радостная, чрезмерно радостная улыбка. Позади него молодой японец. И он улыбался, но не так радостно, как его шеф.

Баенко отрекомендовал своих сотрудников. Консул пожимал морщинистой ручкой руку Марка и, за каждым словом наклоняя голову, сказал:

«Очень, очень приятно, что советские правительственные чиновники так молоды, как вы, господин Суров. Позвольте представить вам моего секретаря. Он молод, как и вы, и у вас может оказаться много общего... Иошима».

Марк чуть не задохнулся от неожиданности. Значит, вернулся. Уехал в Японию вскоре после исчезновения Кати. Вернулся. Молодой японец вежливо и дружелюбно кланялся. Его холодная, крепкая рука слегка стиснула ладонь Марка.

Потом был банкет. Марк и Иошима оказались за столом напротив друг друга. Иошима выразил удовольствие по поводу такого близкого соседства.

«Дальний Восток прекрасная страна, не правда ли?» – сказал он, скользнув взглядом по богато сервированному столу.

«О, да! Наш Дальний Восток всегда нравился иностранцам», – ответил Марк.

«Я знаю, что хочет сказать этот русский», – говорили глаза Иошимы. – «Он напоминает о том, что мы владели этой землей, потом должны были уйти». Вслух же он сказал:

«Конечно! Японцы, например, с симпатией следят за развитием восточной части России. Мы всегда хотели иметь общение с вами. Русский язык у нас один из самых популярных. Обычно мы посвящаем изучению вашего языка два часа в день».

«Вы следите, чтобы не опоздать откусить край русского пирога», – думал Марк. – «У вас большие и острые зубы, но слишком маленькое горло, и вы давитесь».

«Это очень приятно, что вас так интересуется всё русское», – сказал Марк. – «У нас, правда, нет такого стремления к общению, но это, вероятно, потому, что мы исторически всегда одни. Редко

кто из нас изучает японский язык, но если изучает, то посвящает этому не два часа в день, а больше. Значительно больше».

Легкая судорога на лице японца, но она быстро исчезла. «Я думаю, что японский язык очень труден для русских, не правда ли?» – сказал он.

«Да, не легко», – согласился Марк. – «Но мне кажется, что японцам русский язык дается с еще большим трудом, чем русским японский. Вы этого не думаете, господин Иошима?»

Глаза Иошимы чем-то грозили.

«Не могу судить», – ответил он. – «Я знаю многих японцев, говорящих по-русски, но мало встречал русских, говорящих по-японски».

«Неужели вам не приходилось встречать русских, хорошо говорящих по-японски? Если не мужчин, то хотя бы женщин?» – спросил Марк. Он первый раз открыто и прямо посмотрел в глаза японца.

«Я знаю, о чем ты говоришь», – ответили ему эти глаза. – «Ты бросаешь мне вызов. Хорошо, я его принимаю». Иошима сказал:

«Мне кажется, что русские, говорящие по-японски, похожи на одно маленькое крылатое существо. Среди птиц его может быть считают насекомым, а среди насекомых – птицей. Это крылатое существо называется колибри».

Говоря это он наблюдал за Марком, а у того на лице разлилась синеватая бледность.

«Колибри приносит счастье!» – прошептал Марк словно в полусне.

«Да, такое поверье есть у нас», – словно из тумана откликнулся японец. – «Но поверье говорит, что счастье приносит колибри, когда вы держите ее в руках».

Марк потянулся было к бокалу с вином, но отдернул руку. Легкая усмешка в глазах Иошимы – заметил, что рука Марка дрожит. Нужно было собрать все силы, раздвинуть туман, приблизиться к Иошимуе.

«Странное поверье!» – сказал Марк. – «Мы верим, что счастье приносят только свободные».

«Это потому, что вы не знаете. В нашем представлении свобода не похожа на то, что вы, русские, называете этим словом».

«Колибри должна была бы улетать от людей», – тихо, больше для себя, сказал Марк.

Японец вежливо улыбнулся, но где-то в глубине глаз продолжало змеиться торжество. Он был похож на охотника, вскинувшего ружье и ждущего удобный момент для выстрела. Момент наступил. Спокойно, растягивая слова, он сказал:

«Колибри и не дается людям в руки. Ее не легко поймать. Но есть на свете земляной жук, который считается другом Колибри. Она всегда откликается на его призыв. О, это очень просто! Жук умеет издавать звук, как будто он скребет пальцами по стеклу. Поскребет, а потом три раза стукнет, колибри и летит на этот звук. Если вам когда-нибудь понадобится поймать колибри, вы попробуйте. Царапанье, три удара, и колибри у вас в руках. А тогда, я вам советую, крепко держите. Иначе может улететь».

На этот раз Марк долго сидел с опущенной головой. Зажимал ладони меж колен, подавляя их дрожь. Йошима сказал почти всё. Катю взяли обманом. Знали, что Марк царапал по стеклу, а потом три раза стучал. Японец наклонился через стол, спросил:

«Что с вами, господин Суров? Вы, кажется, нехорошо себя чувствуете? Здесь, действительно, немного жарко».

Марк поднял голову. Был бледен. Спокойно сказал, и теперь уже не было тумана, а всё приобрело ясные, точные очертания:

«Я думал о вашем странном поверье. Все религии обещают свободу птице. Разве у вас иначе?»

«Нет, но у нас другое понятие свободы, как я вам уже сказал. Мы полагаем, что птица счастлива, когда она у нас в руках. Мы ведь любим птиц, и хотим удовлетворять их желания».

Марк подумал, что Йошима готовится еще что-то сказать ему. Захотелось прямо спросить – жива ли Колибри? – но это было бы безумием Марка и победой Йошимы, который презрительно не ответит.

«Они удовлетворяются?» – спросил он.

«До известного предела – да!» – ответил японец.

Консул уже давно подавал знаки. Извинившись, Йошима пошел к своему шефу. Ушел из-за стола и Марк. В вестибюле он остановился у окна. Ни о чем больше думать не хотелось. Только об Йошимае, которого нужно было бы придушить, но Марк знал – не придушит. Связан. Лишен свободы.

Шаги за его спиной. Баенко провожал японского консула. Голос Иошимы:

«До свиданья, господин Суров!»

Марк повернулся. Японец что-то протягивал ему.

«Я хотел бы оставить это на память о нашей сегодняшней, очень приятной для меня, беседе», – сказал Иошима. – «Пустяк, только на память».

Поклонившись, он ушел вслед за своим консулом. Зафыркал автомобиль. Легла вдоль ночной улицы полоса оранжевого света от фар. Потом за окном опять сгустилась тьма.

Марк разорвал бумажную обертку и нашел под ней брошь Кати. Голубая птичка. Раскинула крылья, раскрыла клюв и беззвучно зовет.

Будь здесь тетка Вера, Марк уткнулся бы ей в колени и заплакал, как в детстве. Но матери не было, а голубая колибри раскрыла клюв в крике, и Марк знал – его зовет.

Очень трудно человеку, когда он слышит зов колибри да не знает, как откликнуться!

IX ИСХОД

Год минул. Мучительный год. Так ничего и не дознался Марк о судьбе Колибри. То верил, что она жива, в сказанном Иошимой надежду находил, а то от веры этой легкокрылой в черную пропасть горя погружался и думал, что тонкие злые руки японца не пощадили ее, и когда думал так, сердце горячим потоком обжигалось, взорваться хотело, да ведь оно не мотор, предельной мощности ему не положено. Марк от горя хилился, но сломиться, нет! – сломиться не мог. Поэт о людях, Марку по судьбе подобных, как-то сказал, что из них гвозди бы делать, такие это крепкие люди, и хоть такое сравнение обидно, но своя правда в нем есть. Человек, конечно, не железная малочёмность, но он, как гвоздь в дерево, может до конца в жизнь погружаться, и так к ней притираться, что не отодрать. Настоящий, однако, человек, даже после больших вбиваний в жизнь, всё-таки не мертвый гвоздь; он

живой душой поверх своего места глядит и хочет знать – верно ли, в ряд ли с правдой и с мечтой жизнь его поставила? И пока это так, пока человек правду чувствует и мечте не чужд, только по крепости он гвоздью подобен; ну, а если того нет, мечты то есть и правды, тогда, конечно, и человека нет, а имеется человекогвоздь, которому всё равно куда его вбивают – в очередное переписывание истории или, скажем, в живые и кровоточащие души людские.

Всегда бывают люди, и всегда бывают человекогвозди, не о том речь, но в потрясенные времена человеку вовсе мало места остается. Человекогвоздь в силу вступает, гвоздевой покой высшим благом провозглашает, и свое приниженное отношение к жизни всем другим навязывает. Как четыре вытекает из дважды два, так приниженность людская и падение ценности человека вытекли из того, что на каком-то крутом повороте пути простая и добрая правда выпала из колесницы русской революции, и тогда, в этот несчастный момент, особые свойства и заслуги человека были отменены, и стал он как бы вовсе и не венцом творения, а пузырем на болоте, о котором люди жестокие еще и скажут, что вонюю тот болотный пузырь наполнен. Марк этого не понимал, не принимал. Страшился понять. Знал – человек их дела, потерявший веру, совсем голым будет. Вера в их общую правду была броней, в которую он – да разве только он? – заковывал душу. Будущее – вот их универсальное оправдание. Оно придет, и если не все их ошибки, срывы, падения оправдает, то всё-таки скажет, что достойны они милости и снисхождения так как, будучи несовершенными и слабыми, взяли на себя подвиг и положили начало векам новых свершений.

Было у Марка оправдание универсальное, но была и Колибри. То есть, ее, конечно, не было, не могло быть, но она как бы и была, он ее присутствие чувствовал, разговаривал с нею, даже спорил. И вовсе то не безумием было, что он чувствовал Колибри и обращался к ней. Знал, что нет ее, и знал – есть, и голос ее слышал. Колибри в нем самом жила, неотделимой от него стала.

Однажды, побывав в районах края, увидел он: страшное творится. Край далекий, до него многое с запозданием доходило, и коллективизация свои настоящие формы приняла позже, чем в других местах России. В Хабаровск он поспешил, и с Вавиловым

разговор вел, а потом в комнате заперся и в работу погрузился. Трудную задачу он на себя взял, но полагал задачу правильной, и если свести к простому его тогдашние мысли, то вот они. Перегибы на местах. Всякого, кто не хочет в колхоз вступать, кулаком объявляют, в списки лишенцев зачисляют, спецналогами бьют. Народ здешний упорный, спецналогами не сломишь, а силой ломать, как уже начали, вред неисправимый выйдет.

Так рассуждал тогда Марк, а если поглубже копнуть, то и самая главная его мысль обнаружится, в вопросе выраженная – зачем? Нужно ли в такой ломке Россию на колхозный лад перекручивать? Конечно, все доказательства нужности ему известны, да ведь доказательства эти исходят от людей, крестьянской жизни не знающих и не любящих; доказательства, не проверенные на опыте, спорные. Силой соединить людей в кучу, а землю в единый клин возможно, но будут ли люди от этого богаче и земля счастливее, вот в чем вопрос? Ведь земля для крестьянина не то, что он ногами топчет, а то, что кормилицей зовет. Тут духовная связь, оборвешь ее – беда!

Колхозы к коммунизму вроде и ближе, но в одном они дальше: в несвободе своего рождения. Марка вовсе не нужно причислять, и сам себя он не причислял, к поборникам свободы; он верил в организованную идеологию, и в силе готов был видеть благо, если эта сила в нужном направлении действует и правдой их дела освещена. Но он был крестьянский сын, этим многое сказано. Усомнился он, что такая коллективизация к добру ведет. Думал об этом, мучился, а в темном углу его комнаты Колибри стояла, мысль его будоражила, и самое главное, что она говорила, так звучало:

«Люди они. Наши люди. Зачем же так жестоко, так автоматически поступать с ними?»

Это шло из него самого, а он слышал как бы со стороны, от Колибри слышал, и отвечал ей:

«Нельзя иначе. Большой лес рубим. Щепки летят».

Колибри: «Щепки? Но ведь это люди, Марк. Живые, хорошие люди».

Марк бледнел от напряжения:

«Так сильно верим в правду нашего дела, что сметаем всех, мешающих нам. Сметаем, не рассуждая».

Колибри: «А может быть не люди мешают вам, а вы мешаете людям строить жизнь?»

Марк: «Они должны строить то, за что борьба шла. Они должны хотеть то, что хотим мы, коммунисты».

Колибри наступала:

«Твой отец и братья погибли коммунистами, но разве они хотели этого? Разве старый Тимофей хотел, чтобы людям было так плохо от своих же? Скажи, Марк, что ответил бы твой отец, если бы кто-то пришел и сказал ему: “Все грядущие поколения людей по всему свету будут иметь безграничное счастье на веки-вечные, если ты, Тимофей Суров, убьешь одного-единственного младенца”. Согласился бы на это твой отец?»

Марк впадал в растерянность:

«Колибри, дорогая, вопрос Достоевского страшный вопрос», – шептал он.

Колибри продолжала наступать:

«Ты среди тех, кто дает на него ответ. Вы говорите – да! Не только одного, а миллионы младенцев бросим в костер. Во имя счастья будущих людей? Но, Марк, уверен ли ты, что будущие поколения людей примут от вас счастье, забрызганное кровью младенца?»

Марк находил ответ в самоосуждении:

«Много жестокого от нас самих, дорогая. Мы – рабы, алчущие свободы, но не знающие ее, боящиеся. Нет, младенец не должен быть убит. На нашем пути Смердяков. Мы устраним его».

Колибри: «Марк, не в вас ли самих Смердяков? Как устранить его, если он в вас?»

Марк: «Мы научимся свободе, ты увидишь, Колибри, мы научимся. Если не мы, то новое поколение. Оно уже идет».

Колибри была неумолима:

«Новое поколение? Но что оно примет от вас и что понесет дальше? Оно научится от вас понимать свободу, как подавление, передаст свое знание следующим поколениям, и новая цепь неволи протянется в века».

Марк: «Этого не будет! Я верю».

Колибри: «Ты лжешь, Марк! Самому себе лжешь! Ты уже сомневаешься. Что ты делаешь сейчас? Хочешь ослабить удар по людям? Зачем? Прими это, как нужное, неизбежное. Закрой твои

уши, чтобы не слышать плача детей и жалоб людей. Стань твердым, тогда ты будешь настоящим большевиком».

Марк: «Я и есть большевик. Мы не можем исключить из социалистического строительства полмиллиона людей. Они нужны нашему делу».

Колибри: «Ты опять лжешь, Марк! Разве ты не видишь, что социализм строится не в свободе, а в насилии? И разве ты уже не думал о том, что твой социализм походит на большую тюремную стройку?»

Марк молчал, умолкала и Колибри. Через несколько дней он пришел на заседание. Докладывал сухо, словно ему было безразлично, какое решение примут по его докладу. Приводил цитаты из постановлений, речей Сталина. Говорил, что в крае имеются перегибы в коллективизации, лишении избирательных прав, проведении репрессий. Вавилов изредка бросал из-под кустистых бровей острый взгляд в его сторону, хотел подбодрить. Очень недовольным выглядел Синицын. Этот сопел, ворочался в кресле и злыми взглядами предостерегал Марка. Равнодушным выглядел Баенко, наверное, думал совсем о другом. Подчеркнуто внимателен Южный. Он не член крайкома, но когда Доринас, начальник краевого ОГПУ, не присутствует на заседаниях, вместо него приходит Южный. Марк всё время чувствовал его напряженный взгляд. Заканчивая свое сообщение крайкому и теперь уже прямо глядя в глаза Южному, Марк сказал, что партия учит во всех затруднительных случаях обращаться к народной мудрости. Предлагал списки лишенных избирательных прав поставить на пересмотр населения сел и городов.

«Это будет вполне в духе указаний товарища Сталина», – закончил Марк и отошел к окну, у которого постоянно стоял, когда ему приходилось бывать у Вавилова на заседаниях.

«Но прежде всего, партия учит беспощадности к врагам», – сказал Южный очень тихо. Все насторожились.

«Совершенно правильно», – сказал Марк. – «Беспощадность к врагам необходима, для этого и существует тот орган, к которому принадлежит товарищ Южный. Но в данном случае речь не об этом. В крае с четырьмя миллионами населения, то есть с двумя миллионами взрослых, не может быть полмиллиона врагов совет-

ской власти. Товарищ Сталин никогда не мог бы одобрить перегиба в этом вопросе».

«Можно подумать, что Суров является здесь личным представителем товарища Сталина», – опять тихо и напряженно сказал Южный.

Марк ответил спокойно, как будто и не было между ними спора:

«Каждый коммунист является представителем товарища Сталина».

Вавилов вмешался. Сказал, что Суров не вполне учитывает специфику края. Здесь относительно больше врагов партии, чем в других местах страны. Привыкли люди жить широко, природа к этому располагает. Коллективный инстинкт мало развит. Южный прав, врагов нужно подавить. Но при этом надо верно соразмерять удары, и в этом смысле прав Суров.

С некоторыми поправками и смягчениями, предложения Марка были приняты.

В коридоре его догнал Сеницын, зажал в угол, толкал пухлым кулаком в грудь, хрипел:

«Балда, ах, какая ты балда, Марк! Бить тебя некому, а бить нужно!»

«Что вы, дед, за что ж меня бить?» – спросил Марк. Чем больше он узнавал Сеницына, тем больше теплых чувств пробуждал в нем этот начальник краевого финуправления. За грубостью, резкостью и подчеркнутой крикливостью Сеницын скрывал самого себя – острое понимание ситуации и жалость к людям скрывал, многое другое скрывал, что тревожило его и хриплый голос яростью наполняло.

«Разве ты не понимаешь?» – хрипел он. – «Неужели не понимаешь, что Южный тебя, меня, даже Вавилова может в бублик скрутить и на веревочку повесить? Какого же ты дьявола сам в петлю просишься? Разве не видишь, что политика сейчас на сокрушение людей направлена, а не на умиротворение?»

«Но, дед», – оборонялся Марк, – «ведь не сокрушением же людей социализм строить!»

«Вот я и говорю, что ты – конопатая балда, Марк», – хрипел Сеницын. – «Кто сейчас думает о том, как египетские пирамиды строились и кого при этом сокрушали? Пирамиды стоят, вот что

важно. И не говори мне, что социализм не пирамида, я лучше твоего знаю, что такое социализм и как его можно в мертвую пирамиду превратить. Послушай-ка моего совета: пойди к Южному, поклонись этой сволочи. Он может обгадить так, что тебя до твоих конопушек и отмыть нельзя будет. И будь осторожен с этими списками лишенцев, не пытайся мировую справедливость восстанавливать. Я думаю, что ОГПУ имеет контрольную цифру сокрушения людей, и тебе ее не поколебать. Может быть, они перегнули, и потому в каком-то скромном размере исправление перегиба возможно, но если ты копнешь глубже, они тебе голову в два счета оторвут. Понятно?»

«Понятно», – сказал Марк. – «Копнуть надо поглубже».

Синицын своим хриплым голосом сказал, и звучало это совсем нежно:

«Балда ты, Марк, таким и останешься. Я еще поговорю с тобой, но надежды, что ты поумнеешь, у меня нет».

Он еще раз толкнул Марка в грудь и пошел в зал заседаний, а Марк отправился к себе, и ему почему-то было очень радостно, и Колибри опять звучала в нем, говорила:

«Вот ты и добился! Ты хочешь быть добрым, Марк?»

«Коммунист не должен быть добрым», – ворчливо отвечал Марк. – «Простой расчет привел меня к мысли защищать людей от перегибов».

Колибри: «Ну, хорошо. Но почему ты всё время думаешь о женщинах и детях, которых изгоняют с насиженных мест?»

«Потому, что сейчас зима, тем, кого изгоняют с насиженных мест, холодно, слёзно». Потом, даже с какой-то радостью, Марк крикнул Колибри: «И еще, дорогая, потому о них думаю, что я сам сентиментальный дурак».

Ему показалось, что Колибри взяла его за руку и пошла рядом.

Месяца через полтора эта история получила продолжение. К Марку пришел Южный – честь, редко им оказываемая партийным и советским работникам. Вошел не постучав. Не поздоровался. Стал у стола, поставил ногу в начищенном сапоге на стул и пошевеливая рукой в кармане (что людьми давно уже определено, как некое действие, не поддающееся выражению на бумаге), сказал, глядя на Марка сверху вниз:

«Ну, так мы с вами вернемся к вопросу о пересмотре списков лишенных избирательных прав. Вы всё еще не верите, что ваше тогдашнее исследование вопроса было ошибочным?»

Марк чувствовал угрожающие ноты в голосе Южного.

«Всё еще не верю», – сказал он. – «Хотите посмотреть?»

Он показал рукой на большой шкаф у стены. Две верхних полки были заняты зелеными папками.

«Это списки лишенцев до пересмотра», – сказал Марк. «Пятьсот сорок тысяч имен. На нижней полке, в коричневых папках, те же списки после пересмотра. Шестьдесят восемь тысяч имен. Как видите, народ внес существенные поправки в наши действия, товарищ Южный».

Южный сел на стул, на котором только что держал ногу. Вытянул в сторону Марка толстый указательный палец. Сказал:

«Вы мне политграмоту о народе, Суров, не читайте. Мы еще посмотрим, что это за народ, который корректировал работу партии».

«Списки лишенцев составлялись в административном порядке, и партия тут ни при чем», – упрямо сказал Марк.

Ему не хотелось напоминать Южному, что списки были составлены в ОГПУ.

«Это всё равно», – сказал Южный. – «Партия это и есть администрация. Партия – это мы».

Марк, подавляя в себе раздражение, сказал: «Насколько мне известно, вы – ОГПУ. Орган партии, карающий меч, всё что угодно, но не сама партия». Южный поднял голос:

«Вы мне политграмотой не оправдывайтесь», – прикрикнул он. – «Я лучше вас всё это знаю, и нечего мне тут петрушку разыгрывать. Это всё не оправдание».

«Я не оправдываюсь», – сказал Марк тихо. – «Я не арестован. Если буду арестован, тогда буду оправдываться. Я лишь говорю, что решение крайкома и крайисполкома выполнено точно и успешно».

Южный поднялся и молча ушел. А еще через неделю из крайкома принесли постановление, принятое в опросном порядке: Марку объявлялся выговор за потерю бдительности. Марк кипел, а Вавилов молча слушал, когда он пришел к нему.

«Это несправедливо», – говорил он Вавилону. – «Ведь вы сами согласились, что пересмотр списков лишенцев был необходим».

«Согласился», – вяло подтвердил Вавилов.

«Тогда почему же выговор? За что? И почему мне одному?»

«Вопросы, на которые я не буду тебе отвечать».

«Только за то, что я хотел, чтобы в деле было меньше злоупотреблений?»

«Мне трудно ответить на эти вопросы, дорогой товарищ, но поверь: выговор – самое лучшее, что могло быть в этом положении».

«Да за что же?»

«Видишь ли, за добрые дела надо платить. Одной рукой ты сделал доброе дело, а в другую получил выговор. Неужели ты думаешь, что это слишком высокая плата?»

Вавилов подошел к сейфу. Вернулся к столу с листом бумаги, молча подал его Марку. Секретное письмо, подписанное Южным. В нем предлагалось наказать Сурова за вмешательство в дела ОГПУ по составлению списков лишенных избирательных прав. Было сказано, что после исключения Сурова из партии, ОГПУ привлечет его к ответственности. Южный, как видно, не сомневался, что Марк из партии будет исключен. Вавилов протянул свой ответ. В нем было написано, что крайком расследовал факт вмешательства Сурова в дела ОГПУ и признал, что этот проступок имел место в силу неясности полученных им инструкций. Учитывая, что М.Т. Суров является молодым членом партии, в прошлом имеет заслуги перед революцией и совершил ошибку по недостатку партийного опыта, крайком решил ограничиться вынесением ему выговора.

«Понимаешь?», – спросил Вавилов.

«Да. Но всё-таки...»

«Понимаешь, что не вынеси мы выговора, Южный вел бы дело. Конечно, он может наплевать на крайком и взять тебя за чуб, но тут Доринас замешан, а своего начальства Южный боится. Доринас говорил со мной, и мы решили... Впрочем, тебя это уже не касается. Давай на этом покончим. И помни, не всякая цена слишком высока, когда есть возможность сделать хорошее дело. Ты его сделал. Ну, и я тебе помог, так что выговор тебе, выговор и мне, хоть это и не написано. Надо быть гибким в наше время.

По прямой не пойдешь, это ты пойми, Марк. Давно я замечаю, горяч ты, прямолинеен. Нет в тебе страха».

«Но я в своей стране, кого же мне бояться?»

«Это правда. Да только страна-то наша словно конь, поставленный на дыбы, своего же лошонка может растоптать. Ты говоришь – в своей стране, а я, что, по-твоему, в чужой? А ведь боюсь. Боюсь».

Растерянность овладела Марком. Он приблизился к пониманию особенности, над которой до этого не задумывался. Два начала воплотилось во всем, что делали люди – властное, нечеловеческое, и другое – человеческое начало, которое способно если не изменить хода вещей, то сделать его всё-таки не столь жестоким. Самовластная система и безвластный человек стоят друг против друга. Система бездушна, чувства ей неведомы, она действует сама по себе, совершенно независима от людской воли. Беспрепятственно действующий автомат. Но и не совсем мертва, система эта. Развивается по неведомым законам. Не терпит ничего абсолютного – ни добра, ни зла; только она одна абсолютна.

«Мы служим этой системе», – думал Марк, шагая в тот день по улице, – «но нам кажется, что система служит нам. Разве в ту ночь, в Спасске, не почувствовал ты себя рабом, Марк? Это тогда, когда желтолицый Йошима запустил свои тонкие пальцы душителя тебе в душу, и ты не убил его. Система запретила, ты покорился. Не так ли покоряются ей все люди? Не от гордыни ли происходит наша вера в то, что человек способен что-то создать и чем-то управлять? А может быть, человек самое управляемое существо земного мира? Может быть, он робот, наделенный памятью о своем человеческом происхождении? Вот, хоть Вавилон – раздавлен покорностью. Даже говорить стал по-книжному. А какой был человек! Да разве он один? Вся партия омертвлена. Каждый по-отдельности хочет добра, все вместе творим зло».

Недели через две после этого Марка вызвали к Вавилону. У него он застал Доринаса. Секретарь крайкома и главный чекист края были людьми одинакового возраста, а на Доринаса возраст не действовал. Марку всегда хотелось понять этого всемогущего человека. При одном его имени, людям становится не по себе. А внешность заурядного профессора. Тонкие черты лица, клинщик бородки, всегда внимательный и доброжелательный взгляд

голубых глаз и вежливая улыбка – что может быть обыкновеннее этого? Семен писал о нем Марку: расчетливый, жестокий человек. Они в гражданскую войну вместе работали. Семен надеялся, что Доринас будет с Марком осторожен, не посмеет ударить – не потому, что работали вместе, а потому, что Семену известно кое-что, чего Доринас боится. Не это ли было причиной, что Южный не мог сломить Марка, замахивался на него не раз, а удара не получалось?

Когда Марк вошел к Вавилону, разговор шел о колхозах. Доринас кивнул Марку головой, здороваясь, а Вавилов показал рукой на стул.

«Как бы то ни было, но приказ Москвы мы выполнили», – говорил Доринас мягким баритоном. – «Что же касается способа выполнения, то это уже вопрос маловажный. Мы живем в жестокое время, и каждый шаг требует жертв».

«Да, да, совершенно верно», – кивал головой Вавилов.

Марк, присев на стул у двери, прислушивался к их разговору.

«Но вот что странно», – говорил Доринас. – «Мы ожидали жестокого сопротивления в амурской и зейской полосе, где живет старое казачество. Но как раз там коллективизация прошла спокойнее, чем в других частях края. Были и там бунтарские вспышки, но меньше, чем ожидалось. Если верить моему заместителю Южному, то относительно спокойный ход коллективизации объясняется его там присутствием».

Доринас улыбнулся и, щелкнув дорогим портсигаром, закурил.

«Я думаю», – сказал Вавилов, – «что потомственные казаки понимают преимущества колхозного строя».

«Это опять из газетной передовицы», – раздраженно подумал про себя Марк. Словно уловив его мысль, Доринас сказал:

«В газетах пишут, что энтузиазм приводит людей в колхозы. Но мы с вами знаем», – Доринас метнул взгляд в сторону Марка, – «и товарищ Суров знает, что они не понимают и долго еще не поймут преимуществ колхозного строя. Для того и существует партия и ОГПУ, чтобы восполнить недостаток энтузиазма. Не правда ли, товарищ Суров?»

Вопрос застал Марка врасплох. Что мог он ответить?

«Итоги коллективизации нуждаются в изучении», – сказал он. – «Необходим анализ, для которого имеется много материалов».

Доринас засмеялся.

«Я знал», – сказал он, – «что вы ответите что-нибудь в этом роде. Ваш брат, Семен Тимофеевич, так же добирался до сокровенного смысла вещей. Кстати, как он поживает? Я слышал, что он ушел из партийного аппарата».

«Да, Семен теперь на хозяйственной работе», – сказал Марк. «Просил освободить его от партийной работы. Здоровье пошатнулось».

Доринас, слушая Марка, вежливо кивал головой.

«Подробный анализ это потом, позже», – сказал Вавилов. – «Сейчас самое важное то, что мы можем сообщить Москве о завершении сплошной коллективизации. Девяносто три и четыре десятых процента хозяйств вступили в колхозы».

«В переводе на язык строгой статистики это означает семьдесят один процент», – усмехнулся Доринас.

«Я не понимаю, что вы имеете в виду?» – спросил Вавилов, и на его лицо набежала тревога. – «Сводки перевраны?»

«Нет, всё правильно!» – успокаивающе махнул рукой Доринас. – «И ваш рапорт Москве верен. Я только хотел сказать, что нынешние девяносто три и четыре десятых процента равны семьдесят одному проценту того количества хозяйств, какое было в крае до коллективизации. Много крестьян подпало под действие закона о кулаках и... в колхозы не вступило. Но ваша сводка верна, выводя процент коллективизации от числа хозяйств, оставшихся после ликвидации кулачества. Необходимые пояснения к ней мы уже послали в Москву. Может быть, мы отпустим товарища Сурова?»

Доринас предложил Марку сесть напротив себя.

«Мне известно», – сказал он, – «что товарищ Баенко очень привязан к вам. Ему сейчас необходима ваша помощь. Как вы знаете, он выполняет специальное поручение товарища Сталина, связанное с заготовкой леса для экспорта. Некоторые... косвенные данные говорят о том, что он нуждается в помощи. Я просил товарища Вавилова командировать вас туда».

Уходя, Марк у самой двери был остановлен вопросом Доринаса:

«Кстати, товарищ Суров, что вы можете сказать о ссыльных, которые участвовали в первом транспорте к Большому Городу?»

Ко мне поступило дело, возбужденное командующим армией. Он ходатайствует об освобождении этих людей».

Марк задушил в себе желание излить негодование. Давно уже Блюхер, выслушав его рассказ о Таманове и других ссыльных, приказал писать от его имени ходатайство об освобождении их. С тех пор дело медленно двигалось по дебрям ОГПУ, и Марк начинал терять надежду.

«Это замечательные люди, товарищ Доринас», – горячо сказал он. – «Потеряв свободу, они остались советскими людьми. И вот, уже год нет решения по их делу».

«Что такое год», – сказал Доринас и вежливая улыбка была на его лице. – «В тюрьму широкие ворота ведут, а из тюрьмы – игольное ушко. Но теперь их дело на ходу, не волнуйтесь».

В тот же вечер Марк выехал к Баенко, и на другой день был на той станции, от которой берет начало зейский тракт.

Марка у таежной станции встретил грузовик, посланный за ним с прииска Холодного. По пути подбирали случайных пассажиров. В лесу увидели женщину с ребенком и двух крестьян в тулупах. Шофер, скаля зубы, сказал:

«Колхознички ждут. Бедными были – на конях ездили, богатыми стали – пешком ходят».

Подобрали и их. Марк пересел в кузов, чтобы женщина с ребенком могла быть в тепле шоферской кабины. Автомобиль с рычанием скакал через ухабы. Отчаянно матерились пассажиры, но подвыпивший шофер неумолимо гнал вперед.

В кузове, кроме Марка, было еще пять человек. Погода для тех мест не такая уж и холодная, но неподвижное сидение заставляло людей посильнее запахивать на себе полы тулупов. Народ случайный – служилый люд из леспромхозов и с золотых приисков да те два колхозника, что подсели в автомобиль вместе с женщиной. И разговоры деловые. О нормах выработки толковали люди, о плохом снабжении, нехватке рабочих рук. Колхозники – те больше молчали, слушали.

«Хорошо еще, что заключенных нагнали в лес, а то хоть ложись, да помирай!» – говорил пожилой человек в круглой шапке. Между шапкой и воротником его тулупа высывался красный нос, пересеченный синими жилками. Ему отвечал голос молодого парня, судя по его словам – бухгалтера с прииска.

«Без заключенных плана не выполнишь», – уверял он. – «План загибают такой, что только диву даешься, а рабочих нет, а снабжение плохое, одежды не получишь. Наш прииск Холодный на обслуживание заключенными перешел, дела теперь у нас поправляются».

«У вас-то дела поправляются, а вот как у заключенных?» – с усмешкой спросил басовитый человек с буйной бородой, для которой не находилось места под тулупом, и она то и дело выплывала наружу. В таких случаях человек распахивал тулуп и тщательно укладывал ее на грудь.

«А что у заключенных?» – вскрикнул бухгалтер. – «Им всё равно, где работать, а у нас им лучше, чем в лесу. Правда, нам первосортных лагерников не дают, а всё больше интеллигенцию и бабьё, слабосильную команду, одним словом, но всё-таки план выполняем».

«Вы, черти золотиносные, не только план по золоту выполняете, но и по случке», – басом сказал бородатый. – «Рассказывают, что у каждого из вас не две, так три полюбовницы среди арестанток имеется. Жен своих с прииска сослали, чтобы не мешали, а сами балуетесь».

Бухгалтер хихикал, уткнув подбородок в тулуп.

«Это, что говорить, у нас с этим в полном порядке», – произнес он каким-то похабным голосом. – «Двести пятьдесят бабочек, да еще каких! С врагами народа знали, в автомобилях ездили, на курортах прохлаждались. Теперь песок к драге возят. А красота осталась. Посмотришь на одну – дух захватывает, на другую – слюной изойдешь. У нас это здорово поставлено».

«Вот ведь, гады!» – с восторженной ноткой в голосе сказал бородатый. – «Баб за ни за что в принудлагерь засадили, а они, как те кобели голодные, накинудлись. А того понятия нету, чтоб баб пожалеть».

«Да мы их и жалеем!» – заливался смешком бухгалтер. – «Смотришь, бабочки одинокие, молодые, как не пожалеть? Пожалеешь одну, а тут другая подвертывается, и ту пожалеть надо. Так оно и идет».

Колхозники принялись есть мерзлый хлеб. Бородач, распаленный рассказом бухгалтера о райском житье-бытье на прииске, плюнул в сторону и с озлоблением сказал:

«Вы, гады, соседи, а на прииск к себе не пускаете».

Бухгалтер вовсе зашелся от смеха.

«Подожди», – сказал он, – «скоро и ваш прииск будет заключенными обслуживаться, тогда поиграешь. Только жена у тебя лютая, как бы без бороды не оставила».

«Без заключенных, да без колхозников, ни в жисть не выполнили бы мы плана!» – сказал человек в круглой шапке и с красносиним носом. – «Почитай всех колхозников, какие есть в этих местах, в лес согнали».

Он обернулся к колхозникам, сидевшим рядом с Марком.

«Правильно я говорю, граждане колхозники?» – спросил он. – «Всех вас в лес согнали, или еще малость по селам осталось?»

«Всех!» – ответил старик с лицом измученного голодом апостола. – «В селах, почитай, одни старики да бабы теперь. Только на воскресный день отпускают из леса, да и то не всегда»

«Раз законтраковались, так надо договор выполнять!» – резонерски заметил бухгалтер.

«Чего там законтраковались», – спокойно сказал колхозник. – «Договор-то на всё село один. Приезжает из леспромхоза начальство, собирает собрание. “Контрактуйтесь”, – говорит, – «в лесу зиму работать. Власти план поможете выполнить и деньжат подзаработаете». А у нашего председателя в кармане уже приказ из района всех оптом законтраковать. Подпишет он за всё село, вот и вся недолга. Деньги говорят, а куда те деньги, корове под хвост, что ли? Аршин ситца дай, и то охотнее работалось бы».

«Ишь, чего захотел», – издевался бухгалтер. – «Деньги ему не по носу, ситцу подавай. А того не понимает, что тут даже люди интеллигентных профессий купить себе ничего не могут. У нас главный бухгалтер в ватнике ходит. Полгода назад его из заключения выпустили, он теперь по вольному найму, и, представьте, не может костюма купить, или хоть штанов, подходящих к его положению».

«Трудно представить», – язвительно пробурчал красно-синеносый.

«Везде так», – басил бородач. – «Рассказывают же, что к Калинин в Кремль пришла делегация от колхозников. Пришли оборванные, и стали жаловаться, что ничего купить нельзя. Магазины, мол, пустые, люди обносились начисто».

«Ну, и что ж Калинин?» – подался вперед старик с лицом апостола.

«Калинин? Он посмотрел на них и говорит: “Вы еще вроде как бы и одеты, а вот в Африке люди так и совсем голые ходят. И ничего, живут”».

«Ну, а те что?» – добивался старик, словно ему очень важно было знать, о чем еще говорили у Калинина.

«А ничего. Верно ведь сказал Калинин. Слышали все, что в Африке голые ходят».

«Верно-то верно», – задумчиво тянул колхозник, – «да у нас ведь климат не тот, трудно голым. А вот промеж нас слух прошел, что ходоки от мужиков у Сталина были, просили колхозы отменить. Пришли, значит, и принесли в мешке двух петухов. Вынули их и на стол друг против дружки поставили. Те, конечно, сразу в драку, клюют один другого, крыльями бьют. “Вот”, – говорят ходоки Сталину, – “как же то возможно, чтоб люди вместе жили и не дрались, когда даже петухи дерутся!”»

Старик замолчал.

«Ну, а что Сталин?» – заинтересовался теперь бородастый.

«Что Сталин, ничего Сталин! Взял он тех петухов и перья с них начисто соскуб. Петухи теперь драться интереса не имели и сидели тихо. Мужики поняли и ушли».

Все в автомобиле смеялись, а Марку муторно было, и он думал, что село теперь переполнено такими сумрачными, как польнь горькими, шутками-рассказами. Дольше всех хихикал бухгалтер, но потом он повернулся к старику и его лицо приняло надутое, начальственное выражение:

«Ты, старый, антисоветскими прибаутками нас не корми, а то не долго тебя в ОГПУ отправить», – сердито сказал он.

Старик испуганно вобрал голову в плечи:

«Да я ничего, разве же я что-нибудь! По глупости и темноте, может, что не так сказал. Извиняйте».

«То-то же, не завирайся!» – сказал бухгалтер.

Автомобиль остановился в том месте, где от тракта ответвляется дорога к прииску Холодному.

«Так что выматывайтесь!» – распорядился бухгалтер. – «Поездили на нашей машине, и хватит».

Все слезли, остался только Марк и бухгалтер.

«А вы что же, товарищ? Приехали, я вам говорю».

Марк сбросил тулуп, под ним у него было кожаное пальто на мягком меху. Спрыгнув на землю, он подошел к шоферу. Бухгалтер, увидев на Марке пальто, какие носят только очень ответственные работники, помрачнел. Вероятно, подумал, что приехало начальство, которого он не рассмотрел. Женщина с ребенком никак не могла словчиться и вылезти из шоферской кабинки. Она высунула наружу ноги в валенках, звала своих спутников, чтоб они помогли ей. Ребенок вот-вот мог вывалиться у нее из рук. Марк взял теплый, чмокающий сверток – от него несло кислятиной спревшего тела и немых пеленок.

«Далеко идти?» – спросил он.

«Далече», – распевным голосом ответила женщина. – «Верстов раньше девять отсюда считали».

«Трудно вам будет».

«Трудно, да надо. Може, кого Бог пошлет, подвезет. Всё бы ничего, да хвора я, печенками маюсь. Пройду немного, а потом долго отдыхать буду. И мужиков задерживаю».

«Отвезите их в село!» – сказал Марк шоферу.

Тот недовольно поморщился, но спорить не стал. Кто знает, кто этот молодой парень в кожаном пальто, которые не продаются, а выдаются только самым большим начальникам.

«Вы к нам на прииск, товарищ?» – спросил, извиваясь, бухгалтер. – «Это не близко, километров с шесть набежит. Кажется, рукой подать, а идти надо в обход сопки, и получается далеко. Автомобиль колхозникам не стоит давать, они пешком привыкли ходить».

«Не ваше дело!» – обрзал Марк, поддавшись раздражению. – «Неужели вы не понимаете, что мне или вам легче дойти, чем больной женщине с ребенком на руках?»

«Но мы всё-таки люди интеллигентных профессий, а они простые колхозники», – сказал бухгалтер.

Марк только теперь как следует рассмотрел его. Длинное, лошадиное лицо с тяжелой челюстью. Маленькие, узко поставленные глаза какого-то неопределенного цвета, напоминающие плевков. Широкий мясистый рот и крупный нос, возвышающийся сырой картофелиной на худом лице. Классический тип дегенерата.

«Пошел к чорту, дурак!» – сказал Марк понизив голос.

Сказал это совсем неожиданно для самого себя. Пошел в сторону прииска. За ним поплелся бухгалтер, вовсе переставший улыбаться.

Воздух был прозрачен и чист, драга совсем близко, но чтобы попасть к ней, надо было обогнуть большой ров, уходящий вдоль сопки. Марк шел, наблюдая жизнь на другой стороне рва. Из черных карьеров, похожих на глубокие раны в земле, выезжали пароконные подводы. Правили женщины в коротких ватных куртках, в штанах. Они отчаянно кричали на лошадей, но те еле переставляли ноги. По-видимому, и дорога эта, и крик женщин были уже так давно им знакомы, что они считали их чем-то обязательным в их лошадиной жизни.

Дорога завернула, и перед Марком возникли низкие, приземистые строения. Дом с деревянным мезонином, наверное, контора. Дальше большие сараи, еще дальше дома и бараки. В стороне четыре барака за колючей проволокой. Эти для заключенных. На отлете небольшой, но щегольской домик с высоким крыльцом.

Марк пошел к конторе. Жарко натопленный и крепко прокуренный дом. В нескольких комнатах склонялись над бумагами служащие. Ему указали дверь в кабинет директора. Здесь его встретил маленький толстяк с одутловатым лицом. Он поднялся навстречу и бабьим голосом сказал: «Товарищ Суров? Я не ошибаюсь? Но я ведь послал за вами машину, а вы пришли пешком».

«Я просил шофера отвезти колхозников в село. Больная женщина с ребенком, не дойдет».

На лице директора появилось неудовольствие, но он подавил его.

«А мне начальник командировки передал, что вы будете проезжать и заночуете у нас», – сказал он. – «Товарищ Баенко находится в леспромхозе. Километров шестьдесят отсюда будет».

Директор сыпал словами, словно они скопились у него в горле и их надо было поскорее выбросить вон. Одет он был по моде, принятой среди партийных работников и хозяйственников. Гимнастерка военного образца, стянутая широким командирским ремнем в том месте, где предполагается талия. За отсутствием талии, ремень всё время полз вверх, и директору приходилось то и дело поправлять его. Синештанные ноги, похожие на короткие

тумбы, обтянутые для прочности хромовыми сапогами самого последнего фасона. Лысоватая голова, лицо шире лба. Всем вместе он походил на уродливую тыкву.

«У нас не так хорошо!» – сыпал он свою словесную пыль. – «С тех пор, как прииск перешел на обслуживание заключенными, нам пришлось выселить наших жен и детей. Ради выполнения плана приходится, знаете ли, жертвовать жизненными удобствами».

«Ты не очень измучен жертвами», – зло подумал Марк. – «Вишь, какой отъевшийся, отмытый, начищенный. Знать, есть кому досматривать за твоим салом».

Директор повел Марка по прииску.

«У нас строжайше запрещено присутствие посторонних, но вам можно показать!» – захлебывался он словами. – «Теперь все работы ведет ОГПУ. Просто и удобно. Подписали с ними договор, и избавились от забот о рабочей силе. А раньше, ну, просто беда. План большой, а рабочих не достанешь. Посылаешь вербовать в село, а там – “мануфактуру давать будете?”. Откуда ее возьмешь?»

Подошли к драге. Она поднимала вверх свой неуклюжий ковш, похожий на раскрытую пасть допотопного чудовища. Здесь шла хлопотливая жизнь. Одна за другой подходили подводы. Останавливались у драги. С десятков женщин опрокидывали подводу, и грунт исчезал в ковше. Пустая телега отъезжала, а на ее место становилась другая, и женщинам опять надо было цепляться за ее скользкие края, подпирать плечами, опрокидывать. Молодые лица. Покрытые потом. Тупое упорство. Во взглядах, обращенных к нему, Марк читал какой-то вопрос.

Маленькая круглолицая женщина, ее Марк сразу заметил, особенно настойчиво рассматривала его. Под грубым ватником узнавалась тоненькая фигура. Ноги в растоптанных валенках. Того и гляди подломятся. Ей было жарко. Концом темного полотенца, заменявшего ей платок, она то и дело вытирала вспотевшее лицо.

Улучив момент, когда директор спустился вниз к жёлобу, маленькая женщина подошла и, чуть-чуть улыбаясь, спросила:

«Об амнистии у нас говорят. Правда ли, что жен врагов народа амнистировать будут?»

«Я не знаю!» – ответил Марк, невольно отводя взгляд в сторону. Ему трудно было посмотреть в бездну черных женских глаз. Трудно и стыдно. В этот момент снизу поднялся директор. Он взмахивал коротенькими ручками, его лицо пылало негодованием. Подбежав к маленькой черноглазой женщине, крикнул на нее:

«Пошла работать! Иди, иди! Знаешь же, что разговаривать с посторонними запрещено. В карцер попадешь, дура несознательная!»

Волоча огромные валенки, женщина возвратилась к подругам. Директор сыпал словами:

«Просто беда с этими бабами. Им строго-настрого запрещено в разговоры вступать, да разве они понимают? Увидят нового человека и сейчас же к нему: амнистии нет ли? Какая может быть амнистия для жен врагов народа?»

Марк спустился по лесенке вниз. В широком жёлобе под густой решеткой бурлила мутная вода. Директор шел вслед, надоедливо тархтел словами:

«Эти заключенные не рабочие, а прямо несчастье! С ними золото добывать – намучишься. А всё потому, что ОГПУ сюда интеллигенцию посылает. Сколько раз просил посылать нам кулаков – не дают. С теми работать одно удовольствие. А эти и за лопату-то не умеют взяться. Вон, в конце рештака, инженер. Что с него толку, когда он только и знает, что очки на носу поправлять!»

К ним подошел высокий, красивый парень в коротком полушубке и в меховой папахе. Марку показалось, что он его видел раньше.

«Товарища Сурова просят к товарищу Ранину», – сказал он, почему-то очень внимательно глядя Марку в глаза.

«Да, да!» – затараторил директор. – «Это – порядок. Товарищ Ранин – начальник командировки. Все посторонние должны получить у него разрешение быть на территории прииска. Для вас это проформа».

Марк пошел с парнем в полушубке, всё еще решая в уме задачу – видел он его раньше, или это ему только так кажется.

«Вы работаете на прииске?» – спросил он его.

«Да... Заведующий конным транспортом», – ответил он не очень охотно.

«Из заключенных?»

«Был. Теперь по вольному найму. Без права выезда». Подошли к небольшому щегольскому домику, парень показал Марку на дверь и молча ушел.

В передней, в которую вступил Марк с крыльца, было полутемно.

«Есть здесь кто-нибудь?» – громко спросил он, с трудом различая предметы.

Из неосвещенного угла отделилась женщина. Он подумал, что она ждала его в этой темной прихожей. Подошла к двери в комнату и толкнула ее, открывая.

«Войдите... гражданин Суров», – сказала она.

Марк вздрогнул, таким знакомым показался ему голос. Вошел в просторную комнату, повернулся к женщине, идущей следом. Перед ним было худощавое лицо, окруженное короной каштановых волос.

«Лена!» – в изумлении воскликнул он. Молча смотрели друг на друга. Лена прислонилась к косяку двери, Марк теперь видел ее всю. Простое черное платье с короткими рукавами плотно облегает бедра и полную, уже не девичью, а по-женски устремившуюся вниз грудь. Слезы в глазах. Но Лена заставляет их оставаться в глубине, не пускает наружу.

«Да. Знала, что ты... что вы приедете».

«Что они с тобой сделали?» – тихо сказал он. – «Лена, как могла ты попасть сюда?»

Тревога ли, горькое отчаяние, или ласка, прозвучавшая в его голосе, но открылась вдруг плотина, за которой Лена удерживала слезы. Раздавленный, потрясенный Марк неотрывно глядел на рыдающую Лену, на ее тоненькую шею, на руки, закрывшие лицо.

«Два года уже в лагерях. Думала, что не захочешь узнать меня».

Лена рыдала, а он стоял бледный, растерянный. Она вытирала слезы платком, смятым в комок, боролась против слез, переборола их. Взглянула на Марка влажными глазами, сказала, кривя губы:

«Бабскими слезами встретила вас, гражданин Суров».

«Почему гражданин? Почему Суров?» – почти механически спросил Марк.

«Заключенным запрещается начальство товарищем называть», – сказала Лена и что-то новое – резкое и обидное – было в тоне, каким она это сказала.

Он обессиленно присел на стул. Всё, что он сказал до этого, было пустяком, совсем неважным пустяком, а самое главное... Что самое главное?

«Как ты попала сюда, Лена?» – спросил он, и опять знал, что не это важно, что говорить нужно вовсе не о том, как она попала сюда, а о чем-то другом.

Лена вовсе перестала плакать, улыбка на бледных губах, совсем ненужная улыбка, как думал Марк. Она села у стола.

«Попала сюда, как и все другие, дорога для всех одна», – сказала она. – «Два года в лагерях. Даже странно, что есть на свете люди, над которыми не стоит охрана. Мне теперь кажется, что весь свет состоит из лагерей. Сегодня узнала: приказано Сурова встретить и доставить в леспромхоз. Суров – это уже другой мир. Ждала и боялась. Думала – не захочет узнать арестантку Лену».

Марк отбросил в своем сознании сарказм ее слов. Слова – пустяк, а самое важное в другом. В чем? Лена рассказывала:

Отца арестовали. Марк помнил его. Высокий молодежавый человек с седой шевелюрой. Он появлялся в университете, чтобы повидать дочь. Лена гордилась им. «Вероятно расстреляли», – сказала она. Лену и мать арестовали вместе с ним. Разделили их, Лена попала в Сибирь. Прииск Холодный уже пятый лагерь Лены. Жизнь погублена, надежды нет. «Если не случится чуда, так и погибну в лагере», – сказала она. Судить ее не судили и срок не установили. Говорят, что до амнистии. Тут все ждут амнистии, Лена не верит в нее. В концлагере надо бороться за жизнь, тяжело бороться. «Жить-то ведь хочется!» – почти крикнула она. Потом снова перешла на тихий рассказ. Стать наложницей начальства или хоть охранника, хоть повара хочет каждая. Если женщина не обзаведется любовником, замучают на тяжелой работе – дадут и место похолоднее, и работу потяжелее, и куском хлеба обделят. Переходят из одних рук в другие, больше всего боятся остаться одинокими. «Ранин третий у меня», – сказала она, а в глазах дерзость, которая украшала прежнюю Лену, а эту, новую, делала еще более жалкой и горькой.

У домика остановился гнедой конь, впряженный в крошечные сани. Из них вылез тяжелый, неуклюжий человек в короткой меховой куртке. На боку – маузер в деревянном футляре. Лена приподнялась с места.

«Ранин вернулся», – торопливо сказала она. – «Он не должен видеть меня с тобой. Не знаю, на вы или на ты называть?»

«Ты знаешь», – сказал Марк.

Лена положила руку на его рукав.

«Марк, обещаю исполнить», – сказала она.

«Обещаю!».

«Не ночуй в этом доме и не ночуй у директора. Иди в тот барак вольнонаемных, что за конторой, там тебя будут ждать. Спроси Владимира».

«Кто это?» – спросил он, но Лена уже выходила из комнаты. На крыльце были слышны по-хозяйски громкие шаги, скрипнула дверь.

«Там вас ждут», – послышался голос Лены.

Вошел Ранин. Ему должно было быть за сорок лет; в густой и спутанной шевелюре поблескивала седина, рот прикрыт нависшими усами, нос широкий и бесформенный. Маленькие глаза быстро, точно обшарили Марка.

«Что ж вы в пальто?» – грохнул начальник своим сиплым басом. Потом крикнул в сторону двери: «Лена, что ж ты не предложила гостю снять пальто?!»

Лена появилась на пороге, молчала.

«Я не гость», – сказал Марк. – «Зашел поблагодарить за присылку автомобиля. К тому же, мне сказали, что я должен получить разрешение быть на прииске».

«Ну, это всё пустое», – грохотал Ранин. – «Мой приятель с лесной командировки письмецо прислал, просил встретить вас. Там ваше начальство, товарищ Баенко, ждет вас».

«Я хотел бы знать, как я могу к нему добраться?»

«И это дело пустое», – басил Ранин. – «Прикажу директору, он вам автомобиль оборудует. А пока раздевайтесь, ужинать будем».

«Спасибо. Тороплюсь».

«Да куда же вам торопиться? Ночевать можете у меня, Лена вам царскую постель соорудит. К директору, знаете, вам не стоит

идти. Он, черт толстозадый, новую конкубинку завел, балуется с нею». Ранин грохнул хохотом, тут же смолк. – «Ночуйте здесь, а завтра утречком отправим вас», – сказал он.

«Спасибо, но вынужден отказать», – сказал Марк. – «Если вас не затруднит, прикажите, чтобы завтра автомобиль был готов пораньше».

Лена медленно отступила в темноту передней.

«Чего же затруднит? Пустое дело! Будет гудеть у конторы. Жалко, что поужинать с нами не хотите».

«Не могу», – сказал Марк, берясь за шапку. – «Как-нибудь в другой раз».

В бараке вольнонаемных его действительно поджидали. Как только он открыл дверь в темный и сырой коридор, из комнаты выглянул человек, пригласивший его войти. Комната барачного типа с застоявшимся воздухом и с тем налетом безуютности, который всегда появляется, когда нет женской руки. Человек, позвавший Марка, был маленький, шуплый старик. Смотрел он боком – в его очках было только одно стекло.

«Располагайтесь», – сказал он Марку. – «Владимир придет позже. Просил накормить вас и спать уложить».

Человек говорил мягким, сильным голосом. Он поставил на железную печку чайник и сковородку, прикрытую тарелкой.

Марк искал, куда можно повесить пальто.

«Кладите на кровать», – сказал старик. – «Вам придется им укрываться. Когда печка потухает, здесь станет так холодно, как в аду».

В комнате было две кровати под серыми солдатскими одеялами, и старик указал на одну из них. Марк положил на нее пальто.

«Я всегда думал, что в аду жарко, а вы говорите, что в нем холодно», – сказал он, чтоб хоть что-нибудь сказать.

«Это зависит от того, какого сорта грешник. Одному в наказание за грехи положен жар, другому – холод. А вы, молодой человек, что предпочли бы, попав в ад?»

Старик был какой-то очень занятный. Марк назвал себя, протянул ему руку.

«Очень приятно», – сказал тот пожимая ладонь Марка. – «Я здесь уборщик. Имя не имеет значения. Жизненная функция – уборка, это важно. Многие говорят, что уборщик я плохой. Это

важно, и даже очень. Могут из царства вольнонаемных вернуть в обитель юдоли и плача».

Старик кивнул головой в ту сторону, где находились бараки заключенных.

«Вы не похожи на уборщика», – сказал Марк. – «В Москве был у нас профессор Бородин, очень вы мне его напоминаете. Кто вы?»

«Я сказал вам – уборщик. А если вы имеете в виду спросить, чем я был в прошлой моей жизни, то я затрудняюсь ответить. Знаю, что был профессором истории в Харькове, но часто думаю, что мне это во сне привиделось. А вы, молодой человек, из славной гвардии чекистов?»

«Нет», – сказал Марк. – «Работаю в крайисполкоме». Он чувствовал неудобство от слов старика и его манеры разговаривать.

«А я думал, что из славной когорты. Пальто на вас кожаное, мехом подбитое, бурки на ногах ответственные, и револьвер вы под подушку положили. Но на нет и суда нет, исполком это ведь тоже недалеко от славной гвардии. У вас еще много времени впереди и надежды не теряйте. Можете еще подняться и войти в сонм чекистов, на Руси просиявший».

«Я не собираюсь входить в этот сонм на Руси, по вашим словам, просиявший», – сказал Марк. – «Вы, профессор, хорошо знаете, как в двух словах обидеть».

Старик засмеялся:

«Даже странно, что вы назвали меня профессором. Это звучит насмешкой, но что-то напоминает».

«Я не смеюсь», – сказал Марк. – «В вас много горечи, и я это понимаю. Вероятно, с вашей точки зрения многое делается не так, как следует. Но в этом виноваты и вы. Не научили. Нам самим приходится искать, и это наше оправдание. Мы ищем человека нового, сами хотим стать новыми. И, конечно, ошибаемся».

Старик внимательно вслушивался в слова Марка, рассматривал его одним глазом, прищулив другой, для которого стекла не было, а выслушав, сказал с заметной насмешкой:

«Диоген искал человека, и для этого ограничил свой мир пустой бочкой».

«Что нашел Диоген?» – спросил Марк, моя руки под рукомыльником у печки. – «Ему даже фонарь не помог, когда он искал человека среди людей. Мы ищем более земного, более нужного».

«Что есть более нужное?» – спросил старик в тон Марку, подавая ему грубое полотенце. Марк промолчал.

«Во времена Диогена», – сказал старик, – «был человек, который весь принадлежал земному – Александр Македонский. Пришел он однажды к бочке Диогена, и убогий мудрец дал ему урок мудрости. Желая отблагодарить его, Александр сказал: “Проси, что хочешь, я всё тебе дам”. Знаете, что ответил Диоген? Он сказал земному владыке: “Отодвинься, и дай солнцу светить в мою бочку». Это всё, что ему было нужно”».

«Мир состоит не из Диогенов», – сказал Марк. «Земные люди хотят земного, и их в Диогенову бочку не упакуешь. Они не так праведны, как он, но они люди, и они ищут».

Старик поставил на стол шипящую сковородку с мясом, чайник с кипятком, положил нарезанный хлеб.

«Это всё, что мы можем вам предложить из земных благ», – сказал он. – «Что касается некоторой умственной игры, которую мы только что с вами вели, то не стоит ею больше заниматься. Мы живем в такое странное время, что обычным умственным усилием его понять нельзя. Можно говорить бесконечно и ни к чему не придти. Желаю вам удачи, мой молодой гость, и с тем отправляюсь в свой закуток, чтобы разложить свои кости на теплой лежанке. Молодые искатели из этого барака соорудили ее для меня из уважения к моему ревматизму».

Хозяин комнаты пришел, когда Марк уже погасил свет. Войдя, он, не раздеваясь, тихо прилег на кровать. Марк не спал. Даже в темноте узнал его – тот самый парень в полушубке, который позвал его к Ранину. Марк взял со стола папиросы, закурил.

«Я разбудил вас?» – спросил человек с другой кровати.

«Я не спал», – сказал Марк. – «Никак не могу решить, почему Лена сказала мне, чтобы я ночевал именно у вас?»

Человек встал с кровати и повернул выключатель. Он стоял высокий, широкоплечий. Этот тупой нос, широко поставленные глаза, развернутые плечи и слаженность в фигуре – где Марк видел его?

«Вы не узнаете меня?» – спросил он.

«Нет, не узнаю», – сказал Марк.

«Помните Воронка? Старик, если колхоз его не уходил, еще должен быть жив».

Марка словно подбросило на кровати. Теперь он знал: перед ним Остап из горного хутора. Он протянул ему обе руки, и так эта встреча поразила его, так взволновала, что он сначала и слова произнести не мог.

«Но как же так, Остап, как же так? И почему Владимир?»

«Меня тут все так зовут. До меня начальником конного обоза был Владимир, так и осталось это за мной».

Только под утро умолкли они, всю ночь говорили – сначала при свете, а потом в темноте. Когда умолкли, Марк уже не мог спать. Он думал о том, что его встреча с Леной и Остапом похожа на плохой роман. Носятся человеки из романа по всему свету, а потом, когда это нужно автору, встречаются. И свет велик, и людей в нем много живет, а вот ведь, встречаются. Марка жгла эта встреча, о рассказанном Остапом думал он. В казачьем хуторе, в котором когда-то ему довелось быть, зеленым несколько лет дали жить спокойно. Но в тридцатом начали людей в колхоз загонять. Кое-кто в горы подался, опять зеленые появились, но мало. Больше упрямством люди брали, не пашкой. Тогда где-то решили, что люди потому колхозам сопротивляются, что среди них много амнистированных зеленых живет. Стали хватать их и увозить. Павла Хлопова первым взяли, отец его к тому времени помер. Остапа арестовали, многих других. Привезли в Краснодар, в тюрьму. Марк ясно представлял себе то, о чем Остап ему рассказал. Объявили решение: Павла Хлопова и еще двоих к стенке, а других – в бессрочное заключение. Вывели всех во двор, Павлу и двум другим осужденным приказали стать лицом к стенке, а Павел им сказал: «Стреляйте, сволочи, в лицо, а не в задницу».

Остапу, учитывая его несовершеннолетие, когда он в зеленых был, легкий срок дали, а по отбытии срока привезли сюда и к лошадям приставили.

На рассвете от конторы подал сигнал автомобиль. Марк оделся, умылся и скоро был готов к отъезду. Остап сидел на своей кровати, курил, ждал, пока Марк рукомойник освободит.

«Остап, я не знаю, что сказать тебе», – сказал Марк, кладя ему на плечо руку. – «Я буду думать обо всем, что ты рассказал мне, и приеду на обратном пути».

«Что об этом думать?» – ответил Остап. – «Всё продумано, проверено, испытано и измерено. Приедешь – рад буду, и Лена рада будет, но тебе радости обещать не могу».

«Это хорошо, что ты подружился с Леной», – сказал Марк.

Остап привстал с кровати, потянулся до хруста в суставах и сказал очень открыто:

«Мы не подружились, мы полюбились друг другу. Люблю я ее, и она меня любит».

Марк хотел сказать, что ведь Лена с Раниным, но осекся, однако Остап уловил его мысль.

«Ты хочешь сказать, что она у Ранина в наложницах?» – спокойно спросил он. – «Это верно, в наложницах. Да ведь будь на то ее воля, она с этой сволочью по одной улице не ходила бы. Я, может, и люблю ее за страдания, какие она безвинно приняла».

Марк уехал с твердым решением вернуться на прииск, но зачем он вернется и что может сказать Лене и Остапу, он не знал. Их судьба поразила его, потрясла, хотя, если вдуматься, ничего в ней поразительного не было – миллионам людей такая судьба дается.

Поздно вечером того же самого дня Марк добрался до пограничного села, в некотором роде таежной столицы. По дороге автомобиль отказал, и он половину пути прошел пешком. В этом селе был штаб пограничных войск. Ни в райкоме, ни в райисполкоме никого не было, и Марк пошел в штаб пограничников. Командир отряда ждал его. Сказал, что он предлагал Баенко помещение у себя, но тот отказался, поселился в хате колхозника. Марк переночевал в казарме, а утром пошел к Баенко, и нашел его в том состоянии одичалости, в которое он не раз впадал и раньше.

В таком состоянии запивал он горькую, и когда это случалось в Хабаровске, то говорилось, что Баенко болен, а когда в других местах, то его старались вернуть в Хабаровск. Скорее всего, Доринас имел от своих людей сведения о том, что Баенко ведет себя странно, и потому Марка послали к нему. На всякий случай.

Баенко находился в мрачном и убитом состоянии, но на этот раз он выдерживал, и к тому времени, когда Марк добрался до него, он уже миновал опасный рубеж. Марк нашел его сидящим на лавке в полутемной крестьянской хате, наполненной запахом кислого хлеба и навоза. Под печкой повизгивали поросята, отгороженные доской. Кроме Баенко, тут была женщина неопреде-

ленного возраста, да ползал годовалый ребенок в рубаше с испачканным подолом, закрученным жгутом назад.

Баенко был предупрежден о приезде Марка. Встретил его хмуро. Враждебно спросил:

«Вавилов на выручку послал?»

Марк повесил на гвоздь пальто, подошел. Баенко следил за ним сердитым взглядом. Пожимая ему руку, Марк сказал:

«Да, Вавилов послал меня к вам. Сказал, что вы нуждаетесь в моей помощи».

«Подумаешь, какой заботливый этот Вавилов!» – со злой насмешливостью сказал Баенко. От своих собственных слов расвирепел и заговорил хрипло, надсадно:

«Бойтся, что свихнусь с генеральной линии и пошлю эти лесозаготовки к растакой матери! Лес требуют, торговать с капиталистами надо, а Баенко людей жми, пока из них сыворотка пойдет. Личный уполномоченный Сталина по всеобщему мордобитию. Все боятся, дрожат, жмут сверху вниз, а внизу вот такие мужики, как Харитон, в хате которого мы с тобой расселись. Посмотри, хоромина какая! Грязь, вонь, насекомых полно. А мы – давай лес! Иди, Харитон, добывай лес, да от нас ничего не требуй. Пусть твоя баба в тряпье ходит, сынишка в собственном дерьме носом ковыряет, а ты добывай нам лес. Харитон нам лес давай, хлеб вези, работай, не разгибаясь, а мы Харитона кнутиком, а ежели кнутика мало, так дубиной... Посмотришь, как люди живут, а потом читаешь газету, словно сказку бесконечную».

«Нищета и до революции была, что же ей удивляться?» – сказал Марк.

Баенко подумал и тяжело поднялся с места – громадный, взлохмаченный и страшный.

«Это верно!» – прохрипел он. – «Но всё-таки хата Харитона тогда поновее была, и не так много в ней вшей, блох и клопов водилось. Одежда на бабе тогда еще одеждой, а не лохмотьями была. И Харитон дома обитал, никто его в лес силком на гнал. Так-то, Марк. Попадешь вот в такое мужичье царство и такой сволочью себя почувствуешь, что не знаешь, что и делать... Возьму вот и останусь в этом селе. Буду колхозником. Приедет какой-нибудь сукин сын, вроде меня или тебя, и погонит лес рубить».

Баенко прошелся по хате, остановился около женщины. Та жалась к печке.

«А что, и очень даже просто!» – хрипел он. – «Женюсь, и будут мои дети без штанов, да без рубах. В коросте зарастут, в навозе. Пойдешь за меня замуж, Настя?»

Женщина испуганно смотрела на лохматое начальство, ничего не отвечала. Баенко отошел от нее. Припадок злости уже кончился. Только в припадке Баенко мог пожелать превратиться из председателя крайисполкома в колхозника, сменить свой удобный городской особняк на дымную и вонючую крестьянскую хату, а свою красивую полногрудую жену на Настю.

«Нет уж», – сказал Баенко. – «Угнетателем быть лучше, чем угнетенным. Правда, Марк?»

Не дожидаясь ответа, он спросил:

«А что Вавилов говорил обо мне?»

Теперь в его голосе не раздражение и злость, а страх, и Марк понимал, откуда он. Баенко постоянно боялся за свое положение. Давно уже минуло время, когда вела его через жизнь вера в правоту и спасительность идеи, которой он служил. Медленно накапливались годы, а вместе с ними и усталость, и привычка хорошо пожить, и еще многое такое, что всё дальше отодвигало его от трудовой среды, из которой он вышел. Исчезла уверенность в собственных силах, умирала преданность идее, и оставался одинокий, полностью зависимый человек. Вспышка собственной воли гасла в Баенко, как гасла она во всех, кто жил, будучи ввинченным в гигантский механизм власти.

На рассвете следующего дня они отправились к лесным участкам. Лошадьми правил боец-пограничник со смешным рябоватым лицом. От охраны Баенко наотрез отказался.

Захлестывает тайга узенькие полоски человеческих дорог, по которым можно пройти и проехать. Сани легко поскрипывали полозьями по снегу, маленькие лохматые лошади похрапывали на бегу. Кучер в тулупе сидел неподвижно, предоставляя лошадям самим держаться дороги. Иногда он легонько посвистывал, и они ускоряли рысь.

«Я, кажется, распоясался вчера?»

Хриплый голос Баенко показался Марку удивительно ненужным в этой бескрайней тишине; с нею только похрапывание копей гармонирует, скрип полозьев, да легкий посвист кучера.

«Вы ничего особенного не говорили», – ответил Марк.

Баенко сидел нахохлившись, потом откинул огромный воротник своей шубы. У него была потребность разговаривать.

«Каждому человеку случается с хода сбиваться», – сказал он. – «Вот и ты, Марк, тоже не всегда в ногу идешь. Перед отъездом Южный со мной беседу имел. Говорит, что ты на плохом пути, ко многому критически относишься».

Марк усмехнулся. Вчера Баенко был больше, чем критичен, а сегодня уже поучение ему давал о пределах критики, дозволенной коммунисту. Значит, отогнал все сомнения, и опять он твердокаменный большевик. Бойтся своей вчерашней откровенности. Марку было жалко его. Два начала, какие Марк чувствовал в самом себе, борются и в лохматом предкрайисполкома – личное, рвущееся к свободному, может быть анархическому действию, и партийное, сковывающее волю и заставляющее рассчитывать каждый шаг.

«Вот вы, товарищ Баенко, в партии с девятьсот пятого года», – сказал Марк. – «По тюрьмам сидели. Всё это для того, чтобы трудовой люд поднять к человеческой жизни. Стали вы большим человеком – председатель крайисполкома. Но когда вы видите, что трудовой люд гнут в дугу такие сволочи, как Южный, так неужели вы думаете, что надо молчать? И зачем молчать? Разве коммунисту обязательно нужно закрывать глаза? Перестать бороться?»

«Правильно, всё правильно, да только времена другие. Против царизма можно было бороться, а теперь против кого же бороться, когда у власти мы сами?»

«Бороться против беспорядков. Чем Южный лучше какого-нибудь жандарма?» – сказал Марк.

Неожиданно Баенко развеселился. Такие переходы у него были частыми. Он почти крикнул:

«Чудак ты, Марк! Да Южный двадцати жандармов стоит! С жандармом можно было поговорить, а поговори-ка с Южным. Ты пробовал и знаешь».

Бойко бежали лошади. Начинало светать. Крепко морозило. Снег из-под копыт сухими брызгами разлетался в стороны. Вдруг лошади остановились. Навстречу люди. Шли попарно, несли на

плечах пилы, за поясами топоры. Баенко, откинув воротник шубы, смотрел на процессию.

«С какой командировки?» – спросил он.

Вопрос мог быть обращен к заключенным, так как те распределялись по командировкам. Баенко и был уверен, что это заключенные – позади шли два вооруженных конвоира. Люди остановились. Какой-то человек приблизился к саням. Сказал с откровенной насмешкой:

«А мы, дорогой товарищ, не заключенные, а свободные колхозники из колхоза имени нашей дорогой октябрьской революции».

Подошли конвоиры.

«Почему вы ведете колхозников под винтовками?», – спросил у них Баенко. Он опять закипал.

Один часовой выдвинулся вперед и высоким фальцетом сказал:

«Да их, чертей, пусти без охраны, так они моментально разбегутся. И ведь какой подлый народ! Убежит, и старается не домой попасть, а где-нибудь в другом месте отсидеться. Кто вы такой?» – спохватился охранник, сообразив, что он разговаривает с неизвестным человеком.

Баенко всхрипнул от ярости, но вместо того, чтобы обрушиться на охранника, сердито ткнул кулаком в спину кучера и приказал ехать.

Рассвело. Сделав крутой поворот, дорога привела к группе низких строений. Лагерь для колхозников, присланных на лесные заготовки. Сугробы намело почти до самых крыш – бараки-то жалкие, низкорослые. Навстречу вышел поджарый парень, затянутый в новенькую форму ОГПУ. Прыщавое лицо строго хмурилось. Узнав Баенко, расплылся в улыбке. Вошли в тот барак, что выглядел получше, поновее. Стояли кровати с простынями и одеялами. Чисто и тепло. Застали тут охранников. Некоторые, было видно, недавно сменились с постов: укладывались спать. Играл патефон. Из-за перегородки неслись запахи поджариваемого мяса, там была кухня.

«Здесь находится охрана лагеря», – докладывал прыщавый.

«Покажите мне, где живут колхозники», – зло приказал Баенко.

В помещениях лесорубов было дымно, холодно, грязно. Вдоль стен нары в три этажа. Старший охранник говорил без остановки:

«Позвольте доложить, товарищ уполномоченный товарища Сталина. Всего в лагере находится четыреста тридцать два человека из пяти колхозов. И несмотря на это, охрана состоит всего из двенадцати человек. Очень трудно охранять с таким небольшим количеством людей, но мы приняли социалистическое обязательство. Чтобы улучшить нашу работу, я просил прислать сюда несколько мотков колючей проволоки, и мы обнесем ею лагерь. Тогда будет меньше побегов».

«Но ведь это не арестованные!» – цедил сквозь зубы Баенко.

«Совершенно верно, товарищ уполномоченный товарища Сталина. В приказе товарища Доринаса говорится, что мы должны с товарищами колхозниками обращаться вежливо, задача состоит только в том, чтобы не допускать их побегов с лесных заготовок. Строительство социализма требует...»

«Меня не интересует, чего требует строительство социализма», – побледнел Баенко. – «Вы должны показать лагерь, это всё!»

Перешли в помещение, заполненное тяжелым, гнилым запахом. Старший охранник трещал:

«А это, видите ли, товарищ уполномоченный товарища Сталина, мы здесь лазаретик устроили. То есть, не лазарет, так как лечить некому, а изолятор. Выделяем больных. Здесь семь человек, я их освободил от работы. Этот вот совсем плох, и вполне может умереть, этот ранен сегодня ночью, хотел убежать из лагеря. Вот эти двое обморозили ноги».

Охранник наклонился к уху Баенко и зашептал:

«Подозреваю, что обморозились нарочно, чтобы уклониться от работы. Веду дознание».

Баенко опять громко всхрипнул, отодвинулся.

«Остальные больны чем-то непонятным», – продолжал докладывать охранник, похожий на поджарую лягавую. – «Но видно, что больны, иначе я их, конечно, от работы не освободил бы. Как кандидат в члены партии, я понимаю, что лес нужен стране».

Марка пугало лицо Баенко – потное, бледное, готовое вот-вот рвануться криком. Баенко нагнулся над одним больным, приподнял его за плечи.

«Бери!» – хрипло приказал он охраннику.

«Но, товарищ уполномоченный товарища...»

«Бери, мать твою...»

Баенко вдруг изверг такой густой поток матросской брани, что охранник отпрянул назад, побледнел. Больных несли к помещению охраны. Здесь Баенко направился в тот угол, в котором стояла отдельная кровать, покрытая добротным одеялом. Старший хотел было сказать, что это его кровать, но Баенко так на него взглянул, что он не посмел. Спящие охранники были подняты с кроватей и под предводительством Марка и кучера перенесли остальных больных. Баенко, смотря в глаза начальника охраны, яростно хрипел:

«Сукин ты сын, а не кандидат партии. Люди гниют у тебя на глазах, а ты патефончиком балуешься! Чтобы сейчас же ехал к своему... начальству и вез сюда врача. Подавай сюда партбилет, я еще с тобой на обратном пути поговорю».

Охранник раболепно топтался у саней, когда они покидали лагерь. Заискивал, лебезил:

«Прошу верить, кипяточку больным устроим. И для лагеря кипяточек будет. Врача, как вы приказали, я немедленно организую, но только, товарищ уполномоченный товарища Сталина, прошу учесть, что я не виноват. Все приказы исходят от начальства, а я всегда готов исполнять партийные директивы и принял на себя социалистическое обязательство».

Поехали. В портфеле Марка лежала кандидатская карточка прыщавого. В соседстве с ней десяток других партийных билетов, отобранных Баенко по праву, данному ему из Москвы.

«Видел?» – спросил Баенко, повернувшись к Марку и откинув воротник.

Марк молчал. Сказать ему было нечего. Что из того, что он накричал на прыщавого, не в нем ведь дело. А вот потребовать от Доринаса убрать охрану от колхозников – этого Баенко не посмеет сделать. «Молодец среди овец», – зло думал он. С переднего сиденья саней вдруг раздался хохот.

«Ты чего?» – удивленно спросил Баенко кучера.

«Да припомнил, как вы его матюками дербальзнули. У него даже прыщи покраснели», – ответил кучер, давась смехом.

Баенко удовлетворенно хмыкнул в воротник шубы – народное одобрение он ценил.

Начались лесные участки, на которых работали заключенные. Марку было не по себе. Казалось бы, что особенного в том, что кругом работают арестанты – ведь не виноват же он, что люди эти мучатся – но найти успокоение в мысли о своей невинности он не мог; ложь этой мысли чувствовал. Они с Баенко проходили, как всё-одно люди из другого мира. Да, это Лена сказала: «Суров – это уже из другого мира». Конечно, Марк не хватал, не судил, не обрекал на этот проклятый труд всех этих людей, но с кем он? Ведь он с теми, кто хватал, судил, обрекал, и спрятаться от этой правды нельзя.

Заключенные работали группами. Одни валили деревья, и они падали вниз со стоном, скрежетом, треском, словно протестовали против смерти, принесенной им людьми с пилами и топорами. Над упавшим великаном начинали махать топорами другие люди, и скоро дерево – обрубленное от веток, распиленное по мерке на части, оголенное и испускающее острый запах соков – начинало походить на человеческий труп, раздетый и брошенный в снег. Эти деревья-трупы люди перекатывали к дороге-ледянке, здесь грузили их на сани – огромное сооружение, принимающее сразу два десятка стволов. Сани, соединенными усилиями шести лошадей и десятков людей, начинали скользить по двум колеям, в которых замерзшая вода создавала гладкие ледяные полосы. Дорога-ледянка уходила в сторону, к берегу сплавной речки, по которой, весной, бревна пойдут вниз, дойдут до затона, там их свяжут в плоты и по системе сплавных рек приведут к местам погрузки, а там... А там неведомый заграничный рынок поглотит труд и муки тысяч людей, заготавливающих лес для экспорта.

Скорее всего, и Баенко был подавлен теми же мыслями, что и Марк. Он шел, не глядя по сторонам, стараясь не замечать взглядов, которыми их встречали и провожали заключенные. В этот момент Марк ненавидел свое кожаное пальто, свои высокие, кожей обшитые бурки; ненавидел тяжелую шубу Баенко, его каракулеву шапку. Их появление тут казалось ему вопиющей несправедливостью. Всё это очень трудно понять, особенно внезапно, когда каждая приходящая мысль мизерна, ничтожна, а вот то, что перед глазами – значительно и безгранично важно. Кругом оборванные, несчастные люди за тяжелой работой, а здоровенный Баенко, немолодой Марк идут среди них людьми дру-

гого мира. Марку было мучительно смотреть на заключенных. Все в лаптях. Туго накрученные портянки поддерживаются шпагатом. Да и лапти у многих разношенные, рваные и вовсе ни от чего ног не спасают – ни от холода, ни от увечий. Все в тряпье, все измучены, а Марк и Баенко идут среди этих несчастных и прячут глаза, стыдятся.

Баенко остановился и показал пальцем на человека в лохмотьях, стоящего на пне срубленного дерева. Человек на пне низко сгибался, мелкая дрожь потрясала его худое тело, зубы клацали. Стараясь согреться, он поочередно поднимал то одну, то другую ногу. Лесорубная работа тяжела, силы выматывает, но в работе человек хоть согревается, этот же бедолага был лишен и этого – поставлен на пень и замерзал на нем, а охранник стоял в стороне и равнодушно курил.

«Сволочи, придумают же наказание», – сказал Баенко. – «Пойди, поговори с этим барбосом». Он мотнул головой в сторону охранника.

Марк подошел к охраннику. Курносый парень – ничего злого в лице – с любопытством смотрел ему навстречу. Он был в овчинном тулупе, в добротных валенках, но всего этого ему было мало, и он разжег костер и поочередно подставлял теплу перед и зад.

«Человек замерзает», – сказал ему Марк. – «Кто распорядился поставить его на пень?»

«Я распорядился», – очень добродушно сказал парень. – «Он, холера ему в бок, сегодня нарочно два топорища сломал, чтоб, значит, в лагерь его за топорищами отпустили. Один раз я отпустил, вернулся он, смотрю – опять сломал».

«Замерзнет он», – сказал Марк.

«Не замерзнет! Он, холера ему в бок, чуть не каждый день на пень попадает. Тренированный».

Марк указал на Баенко, уходящего вглубь делянки.

«Он просит освободить его от наказания», – сказал он. – «Товарищ Баенко является председателем крайисполкома».

«Мне это за всё едино», – сказал парень добродушно. – «Для меня мой караульный начальник, царь и Бог, а больше никто». Парень подумал, извлек из-под полы тулупа огромную луковицу часов и, посмотрев на нее, свистнул в сторону человека, припля-

сывающего на пне. Тот свалился на землю, поднялся и как-то кривобоко заковылял в сторону работающих.

Когда Марк подошел к Баенко, предкрайисполкома был не один. Теперь его окружали люди упитанные, люди хорошо одетые и вооруженные – лагерное начальство. Им сообщили о появлении Баенко в их царстве, и они поспешили ему навстречу. Главным среди чекистов был коренастый человек в хорошо пригнанном полушубке и в папаше из белой смушки. Повстречай его Марк в другом месте, подумал бы – армейский командир. Человек этот приподнимался на носки, когда обращался к Баенко. Говорил ровным, спокойным голосом. А Баенко кипел, но подавлял в себе кипение и старался говорить сухо, официально. Послав Марка хлопотать за человека, что замерзал на пне, Баенко подошел к группе заключенных, и те ему сказали, что их вывели на работу без чая, не выдали хлеба. Теперь он спрашивал у начальника лагеря, почему это случилось, а тот уклонялся от ответа.

«Я всё-таки не понимаю», – сказал Баенко, когда Марк уже подошел и стал позади. – «Почему люди не получили того, что им полагается. В лагере нет продовольствия?»

Начальник лагеря качался на носках и отвечал, что продовольствие есть, лагерь полностью снабжен всем необходимым.

«Тогда почему же?» – добивался Баенко, стараясь говорить спокойно.

«Я вам всё это объясню наедине, товарищ Баенко», – сказал начальник лагеря. – «Причина секретная. Политическая».

«Какой же тут секрет, когда люди выведены голодными в лес? Они наказаны?»

«Да», – сказал начальник лагеря. – «Я обо всем этом доложу вам наедине. Наказаны в точном соответствии с инструкцией».

Баенко был бледным, вспотевшим, но вместо того, чтобы взорваться криком, как это с ним случалось, он повернулся к Марку и сказал ему:

«В контору лагеря для меня передана сводка, возьми ее и возвращайся».

Марк понимал, почему Баенко вдруг перенес свое внимание на сводку и на него: хотел удержаться от взрыва. Начальник лагеря предложил воспользоваться его санями. Большой серый конь быстро домчал его до лагеря. За колючей проволокой – ряды ба-

раков. Дальше – улица землянок. Из труб валил дым, и когда подъезжали, Марку показалось, что тут огромный и дымный завод. Управление лагерем было в отдельном бараке за пределами лагеря, и Марк вошел в него. Его принял полусонный парень в чекистской форме – начальник какой-то части лагерного управления. Прежде чем вручить пакет для Баенко, он попросил предъявить документы. Проверил, записал имя Марка, номер документа.

Когда Марк вернулся, Баенко уже ждал его. Начальник лагеря приглашал ночевать у него – дело шло к вечеру – но он отказался. На прощанье протянул руку начальнику лагеря.

«Надеюсь, что вы справитесь с заданием», – сухо сказал он ему. – «Ваш лагерь в плане лесозаготовок занимает не малое место. Надеюсь, что не сорвете плана».

«Можете быть уверены – не сорвем», – веско сказал начальник лагеря. Все взяли под козырек. Сани с Баенко, Марком и рябым кучером тронулись с места.

Ехали молча. Остались позади стук топоров, хриплые крики погонял на ледянке, взвизги пил. Снова обступила nepотpeвоженная тишина тайги.

«Ты посмотрел сводку?» – спросил Баенко после долгого молчания.

Марк вынул из кармана пакет, раскрыл его и нашел сводную ведомость заготовки леса. Процент выполнения плана резко пошел вверх. По сравнению с прошлыми сводками, эта была очень утешительной. Баенко повеселел.

«Еще возьмут и орден подкинут», – сказал он. – «Вишь, как дело пошло вперед с тех пор, как я тут появился».

В тоне, каким это сказал Баенко, была насмешка, и Марк знал, почему она. Появление Баенко ничего не изменило, а вот то, что Доринас перебросил на лесозаготовки десятки тысяч заключенных, имело, конечно, значение.

Опять долго молчали. Когда выехали на развилку дорог, Баенко посмотрел на часы и приказал поворачивать не направо, откуда они приехали утром, а налево, в сторону прииска Холодного.

«Тут километрах в пяти-шести село будет, там и заночуем», – сказал он.

Марк на всякий случай посмотрел карту. Да, невдалеке должно быть село. От него до Холодного останется верст тридцать, не больше.

«А знаешь, почему они оставили заключенных без чая и хлеба?» – спросил Баенко. – «Ночью, бедолаги, церковную службу устроили. Тут среди них священники есть, так они богомольствовали. Начальство это восприняло, как демонстрацию, и всех наказало. Одних за то, что в службе участвовали, а других – что не помешали ей и не донесли. Как ты думаешь, правильно это?»

Опять насмешка в тоне Баенко. Марк ничего не ответил. Он вспомнил: Рождество сегодня. Как это было важно и значительно в его детстве. Шли в церковь ко всенощной. Марк сопровождал мать. В овале купола их сельской церкви был Бог-Отец, простерший руки над людьми. У него была такая же могучая борода, как у отца, но только совсем белая. Марк садился на скамейку в стороне. По малолетству ему это позволялось. Он сначала сидел, потом ложился. Бог-Отец был над ним, и ему казалось, что он, так же, как отец, говорит ему:

«Спи, все куры давно уже спят».

Потом возвращались из церкви. Было темно. Отец нес Марка. На широком отцовом плече было бы удобно спать, но очень колдовала борода, и Марк отгораживался от нее ладонями. Как это было важно в детстве, а теперь – такое далекое.

Начинало темнеть. Рябой кучер уже не посвистывал на лошадей, а подстегивал их кнутом. Притомившиеся за день, они с трудом держали вялую рысь. Знай они все – Баенко, Марк, кучер – что происходит вокруг, они не ехали бы так спокойно и безопасно по таежной дороге.

Доринас, когда Марк прислушивался к его словам в кабинете Вавилова, удивлялся, что потомственная казатчина коллективизацию смиренно приняла, а того не понимал, что в таежном народе прирожденная неторопливость живет, обстоятельный подход ко всему в жизни. Коллективизация под самый дых, под сердце устоявшийся вековой уклад ударила. Не приняли ее люди, и с удивлением смотрели, как власть крушит хозяйства, ломает людей, словно человек тростинка – куда ветер дунет, туда она и клониться должна.

Издавна в тех глухих местах природа общность в людях выработала, до разумной границы ее довела. Соединялись люди для совместной охоты, гуртом лучшую цену на пушнину отстаивали, обществом молотилки покупали и мельницы строили. Такое об-

щее оставляло каждому много простора для личного, для своего, ни от кого независимого. А ведь это хорошо, когда человек и в общей упряжке с другими действует, и сам по себе свои таланты и ум к делу прикладывает: при удаче – гордится, при неудаче – молчит. Когда началась коллективизация, таежные люди не столько напугались, сколько удивились и сказали: в городе власть судрела, не может того быть, чтоб не остановилась. Но потом увидели: не остановится. Тогда о другом, о потайном, думать начали и пока думали, Доринас удивлялся: и чего это старозаветная и дремуче-упрямая казатчина так смиренно колхозы приняла? Не знал он, что казатчина семь раз отмеривает и один раз режет, но уже навечно режет.

Тот рождественский день, когда они, держа путь к селу, двигались по таежной дороге, был сроком, на который давно всё было назначено, нацелено, примерено. Вернулись в села лесорубы, а когда ночь на землю пала, какое-то непонятное движение повсюду началось, и всё в одну сторону – к границе. Тамошним людям граница никогда непереходимой не была, издавна через нее множество невидимых мостов переброшено, и с китайцами на той стороне редкий казачина знакомств не водил. Баенко с Марком и кучером ехал ночью, как будто он по своей земле едет, и никто ему не страшен, а между тем земля эта вокруг невидимо горела. В то самое время, когда они путь к селу держали, люди из этого села большим обозом – с детьми, скотом и всем домашним скарбом – в тайгу двинулись под присмотром своих же односельчан, ружьями вооруженных, и вдруг совсем по-прежнему, по казачьи, себя выявивших. Да и не одно это село с места снялось, много людей из других сел путь к границе держало.

А на границе, что по реке тянется, уже намеченное, предуготовленное шло. Зорко она охранялась, но опасность шла не оттуда, откуда ее ждали, а с тыла, со своей земли. К берегу реки выходили вооруженные люди. В малом числе уходили в темноту, бесшумными привидениями появлялись на границе. Нападали молниеносно, действовали безошибочно.

В селах, где находились пограничные комендатуры, возникли тревога и смятение. Выстрелы с границы. Командиры посылали на выстрелы людей, но тут же возвращали их – неизвестно, что вокруг происходит. Взлетали над селами ракеты – зеленые, крас-

ные, белые. По улицам метались жители, и среди них появлялось всё больше людей с охотничьими ружьями. Эти люди ворвались в казармы пограничников. Убиты командиры, перебиты их помощники, а оставшиеся в живых связаны и заперты в холодных складах или привязаны к деревьям.

И в это же время:

На высокое крылечко нарядного домика на прииске Холодном поднялся человек. Дверь перед ним раскрылась, и он вошел. В комнате Ранин. Он сидел у стола, занятый чисткой своего маузера. На нем нижняя рубашка, из-под которой виднеется могучая волосатая грудь. Заслышав скрип двери, приподнял голову. Равнодушие поползло с лица, заменилось выражением удивления. Перед ним высокий человек в полушубке. У него в руке холодно поблескивает вороненая сталь револьвера.

«Владимир... Зачем?»

Остап молчал и только смотрел в маленькие глаза Ранина – смотрел упорно, неотрывно. Ранин понял, пополз со стула на пол. Выстрел. Остап постоял, подождал, пока Ранин затих, потом вышел. На крыльце его ждала Лена. В бараках шум и крики. В доме охраны стрельба. От драги визгливый плач директора. Розоватый свет. Языки пламени выбиваются из дома директора. Загораются бараки, за ними контора.

Когда всё это происходило, сани с Баенко и Марком въезжали в село. Карта обманула, до села оказалось дальше, чем она показывала. Была полночь, когда они добрались до него. Хмурое в ночи, оно встретило их тишиной. Если бы они проехали дальше по улице, увидели бы, что не всё тут ладно – валяются поломанные вещи, раскрыты двери домов, а у колодца лежит человек с разбитым черепом. Но лошади еле тянули, и Баенко приказал вернуть к первому же дому. Из-за ставень пробивался свет.

Марк постучал в окно, перешел к двери. Кто-то подошел к двери с другой стороны, открыл. На пороге старуха с керосиновой лампой в руке.

«Пусти, бабушка, переночевать», – сказал ей Марк.

«Ночуйте!» – шамкнула старуха. – «Места на всех хватит».

Хорошо, что Марк имел с собой провизию, а то пришлось бы им лечь спать голодными. В доме была лишь старуха, открывшая им дверь. На вопрос Марка, где же остальные, она ничего не от-

ветила, ушла за перегородку. Там у нее перед иконой горела лампада, но горящая лампада – это было всё, что могло напомнить: нынче Рождество. Кучер распряг коней, поставил их в конюшню. Баенко раскинул свою шубу на лавке и растянулся на ней, а Марк растопил печку. В доме потянуло теплом.

Наскоро поужинали консервами и хлебом. Баенко захрапел густым протяжным храпом с переливами. Вслед ему стал подхрапывать кучер – этот тоненько, робко. Марк лежал на ворохе соломы, устал, но сон бежал от него. Где делись люди из дома? Почему не слышно собачьего лая? Марка особенно тревожило исчезновение собак. Он начал вслушиваться в тишину, раздраемую богатырским храпом Баенко и тихим носовым подпевом кучера. На всякий случай нащупал винтовку кучера и потянул ее к себе. Переложил револьвер из кармана под голову.

Он начал было засыпать, когда до его слуха дошел лай собак. Сначала Марк подумал, что это происходит во сне, но потом понял: явь. Услышал людские голоса и собачий визг у ворот. Сел и положил к себе на колени винтовку. В ставню начали стучать. Тут же забарабанили в дверь. Марк вышел в холодные сени. Кто-то издалека кричал:

«Здесь они. Сани стоят и лошади в конюшне!»

У самой двери раздался чем-то знакомый голос:

«Правильно! Тут они, холера им в бок!»

Марк подошел к двери и спросил, кто стучит.

Из-за двери:

«Товарищи! Нас послали разыскать вас. Отоприте. Мы из лагерного управления».

Марк сообразил, что голос, произнесший слова «холера им в бок», принадлежит тому самому курносому охраннику, которого он просил о человеке на пне. Отперев дверь, вышел на крыльцо. Холодное, усеянное звездами небо. При свете звезд, снег кругом кажется мертвенно-сизым, очень тяжелым. Голубоватыми были лица трех человек, стоявших у крыльца. У их ног были две собаки. От ворот доносилось похрапывание, там были кони под седлами.

«Начальник лагеря послал, разыскать товарища председателя крайисполкома», – скороговоркой сказал один из стоявших у крыльца. – «Он приказывает, то есть просит, немедленно прибить в лагерь. Я – помощник начальника».

«Что случилось?» – раздалось из-за спины Марка. В свете звезд появился взлохмаченный Баенко.

«Восстание на прииске Холодном и в селах. Начальник лагеря послал обеспечить безопасность товарища председателя крайисполкома», – скороговоркой сказал чекист.

Испуганно задрожал Баенко. Голос сразу стал растерянным:

«Как же так? Неужели восстание?»

Приехавший сказал:

«Самое надежное место – наш лагерь. До выяснения обстановки».

«Но там заключенные, они тоже восстанут! Как на грех, вы их нынче пайка лишили».

Споткнувшись о порог, Баенко вошел в дом. Марк хотел зажечь лампу, но он схватил его за рукав:

«Боже тебя упаси, еще увидят свет и придут», – хрипло сказал он.

Собрались в темноте. На крыльце Марк накинул на Баенко его тяжелую шубу. Выехали. Баенко усадил в сани рядом с собой чекиста, а Марк взял его коня. Небольшой темный конек чем-то напоминал Воронка. Марк был рад, что ему не нужно сидеть рядом с Баенко. Его неприятно поразил испуг того. Никогда не думал, что этот большой лохматый человек так легко впадает в страх. Рядом с Марком ехал тот самый охранник, который любил упоминать холеру в разговоре.

«Как далеко до Холодного?», – спросил его Марк.

«Километров двадцать пять, а по прямой меньше пятнадцати будет», – ответил он.

Марк догнал сани. Он хотел получить у Баенко разрешение отправиться к прииску, но, подъезжая, услышал, как тот спрашивал своего соседа:

«Так вы уверены, что заключенные не взбунтуются?»

«Уверен», – ответил чекист. – «Когда поступили сведения о восстании, мы ввели в действие чрезвычайное положение. Самые опасные расстреляны».

«Это хорошо, это очень хорошо!» – сказал Баенко.

Марк придержал коня, ничего не сказал Баенко. Еще раз спросив охранника о дороге к прииску, он свернул в сторону.

Нелегко было найти тропу, уходящую еле заметной нитью в огромное море тайги – об этой тропе ему сказал охранник. С храпом, натужно, продирался конь меж деревьев. Через пять-шесть километров всё же попали на эту езженую стежку, и дальше конь уже бежал легко. Звездный свет, хоть и слабый, хоть и неверный, позволял видеть. Конь бежал бесшумно – тропа под снегом лежала – вскидывал голову, похрапывал. Легкое покачивание в седле убаюкивало Марка.

А в это время:

«Посты на дорогах расставлены?» – спросил Остап, обращая свой вопрос к людям, окружавшим его.

«Расставлены», – ответил кто-то.

К костру, у которого находился Остап, подошло несколько заключенных. Они тяжело дышали – бежали.

«Многие отказываются», – сказал один из них.

«Почему?» – спросил Остап.

«Некогда выяснять причину. Не желают, вот и всё. Что с ними делать?»

«Вязать к деревьям», – сказал Остап.

«Для чего их вязать? Пусть остаются, и всё тут», – сказал кто-то за его спиной. – «Кривой юшки им и без нас доведется хлебнуть».

«Нет, вязать!» – сказал Остап. – «Если так оставим – их перестреляют. Если связанными, то они скажут, что сопротивление нам оказали».

Люди отошли.

«Все ли посты на дорогах поставлены?» – снова спросил он.

«Поставлены», – сказал кто-то.

Прииск был похож на огненное море. Горели бараки, приисковая контора, дома служащих. Остап повернулся спиной к пожару, всматривался в тайгу. Его помыслы были устремлены туда, к берегу реки, где сейчас решался успех всего их дела. Но между ним и берегом не только тайга, но и квадратный человек, висящий на перекладине драги.

«Уберите его!» – приказал Остап, как будто мертвый директор мешал ему видеть вдаль. Кто-то перерезал веревку. Мертвый с мягким стуком упал на землю.

Сильный конь всё дальше уносил Марка. Вокруг легли нежные розоватые блики. Они крепили, разгорались. И небо приняло розоватый оттенок. Конь взбежал на сопку. Высокий огненный столб вдали. Сердце Марка билось гулко и часто. Он торопил коня. Не знал, что он будет делать на прииске, кого он там встретит, но перед ним стояло бледное лицо Лены. Что бы ни ждало его на пути к ней, он не повернет коня, не замедлит его бега.

Небо над тайгой стало совсем красным, накаленным. На прииске пожар. И там – Лена. Об Остапе как-то не думалось. Тайга должна была вот-вот кончиться, начнется открытое приисковое пространство, там уже близко. Но вдруг резкий, взрывной крик:

«Стой!»

И густая, свирепая матерщина. Марк руку в карман за револьвером, да поздно. Какие-то люди обхватили его с обеих сторон, рванули с седла, вдавили лицом в снег. Он сопротивлялся, напавшие закрутили ему руки назад, связали, рывком поставили его на землю.

«Гад здоровый», – хрипел один из них. – «Чуть было руку не вывихнул».

Приставив к его груди ствол охотничьего ружья, он толкал Марка. Марк отступал спиной вперед, уперся в шершавый ствол дерева. Нападавших трое. Бородатые. По виду колхозники. Они обшарили его карманы. Вынули револьвер, бумажник.

Но что это, игра света или Марк вправду смеется? Он стоял, прикасаясь связанными за спиной руками к холодному дереву, от отблеска пожара лицо почти медное, и на нем странная улыбка. Вглядевшись в него, один бородач всхлипнул от ярости:

«Ты чего смеешься, гадина! Думаешь, что веревка порвется, как мы тебя подвесим?»

Яростное всхлипывание бородача не уменьшило полыхания улыбки на лице Марка; стала она еще более вызывающей, еще более откровенной. Другой бородач раскрыл бумажник. Из него выпала круглая брошь, упала в снег. Он поднял ее, рассмотрел.

«Ишь, цапки с собой возит», – сказал он.

Вынул небольшую книжечку. Отблески пожара достигали их. С трудом читал на обложке: «Билет... члена... Ве-Ка-Пе-Бе».

«Да сразу было видно, что за птица!» – крикнул тот, что направлял в грудь Марка ствол ружья. – «Коммунист. Коммунист, я тебя спрашиваю?» – грозно ощерился он.

Марк не отвечал, только наклонил голову, признавая: коммунист.

«Пальто кожаное, револьвер в кармане, да еще смеется. Пришить его, гада несознательного», – свирепо всхлипывал бородач.

Взметнувшиеся вдалеке языки огня совсем ярко осветили Маркове лицо, и бородач вовсе зашелся от ярости.

«Смеется! Получай же, сволочь!»

Приклад упал на голову, Марк медленно осел, у корневища на снегу затих.

Очнулся и застонал. Казалось, что он всего один миг был в беспамятстве, а кругом него всё переменилось. Развязан. Нет кооряых ветвей, стало чистым небо, и ничто его полыхающего пожарного лика не искажает. Над ним теперь было знакомое женское лицо.

«Что?» – спросил Марк и умолк. Его полуживое сознание имело в себе ответ на все вопросы, которые в нем были в тот момент. Небо, похожее на огневое море – пожар; женское лицо – Лена; люди кругом – враги. Лена стирала ладонью кровь с его виска, а он отводил ее руку, и всё никак не мог решить, что ему нужно делать, хотя знал, что есть у него какое-то важное и неотложное дело. В стороне кто-то говорил:

«Они хотели порешить его, уже веревку на дерево закидывали, да тут я приехал. Взял на седло и привез». Потом голос Остапа: «Голова пробита?»

«Не знаю. Шапка могла спасти», – сказал первый. Марк сел. Для этого надо было очень хорошо, крепко помнить, что есть у него неотложное дело, мысль об этой неотложности во все мускулы вогнать, и только тогда можно оторваться от земли и сесть, предоставляя всему вокруг колебаться, двоиться, кружиться в каком-то тошнотворном хороводе. Он сидел, ожидал, пока всё вокруг остановится, примет привычные очертания. Лена продолжала стирать с его лица кровь и ее голос шелестел над его ухом:

«Марк, я так рада, что ты уцелел».

Мир перестал вращаться, сознание прояснилось, и вместе с прояснением сознания на лицо вернулась та улыбка, за которую его ударили прикладом по голове. Она пришла сама собой, независимо от воли Марка, и имей мы силу понять ее, она многое нам могла бы объяснить. Он уже понимал всё, что произошло. Остап, Лена – там, по другую сторону баррикады, на которую жизнь по-

ставила его в детстве и сказала ему: защищай от тех, что с другой стороны. Ни горечи, ни сожаления в тот миг в его душе не было, это – битва, это – сама жизнь, и Марк знал одно единственное место в этой битве-жизни – то, на каком он стоял.

Подошел Остап. Обвел Марк глазами людей, толпившихся вокруг, заметил – вооружение пестрое, люди пестрые, и Остап вожаком среди них. Расклеил склеенные кровью губы и хрипло спросил:

«Вы как, расстреливать меня будете, или вешать?»

Остап наклонился, заглянул ему в глаза:

«Не смейся, Марк, не ко времени это. Товарищи мы твои».

«Врешь, Остап, не товарищи мы. Мои товарищи от вашей руки на прииске погибли».

«Ранин твой товарищ?» – спросил Остап.

«И Ранин мой товарищ», – сказал Марк.

«Он злодей и другие злодеи, которые нынче ответ дают», – сказал Остап.

«Не вам их судить», – сказал Марк.

«Перестань, Марк!», – крикнула Лена.

Марк отмахнулся от нее и сказал:

«Вы никуда не уйдете. Мы вас из-под земли выкопаем и ответить заставим».

«Я всегда знала, что ты... жестоким можешь быть. Как тогда, с Костей Пряхиным», – сказала Лена.

«Костя честно дрался, а вы? Трусы и подлецы! Восстали! Сколько вас, чтобы восставать, и что вы можете изменить?»

«Нас немало. Много нас», – сказал Остап. – «Мы и уходим потому, что ничего изменить не можем». Он отвернулся от Марка.

«Много!» – Марк словно плевался словами. – «Уходите? Мы найдем вас. Пример! Да о вас ни одной строчки в газетах написано не будет и никто вашего примера не узнает. Поймаются и заплатят за всё. Тогда это будет уже другой пример».

«И чего вы с ним цацкаетесь», – сказал кто-то тонким и сверлящим голосом. – «Пришить, и дело с концом».

Остап опять наклонился над Марком, запустил руку в его волосы и приподнял голову. Что-то понял.

«Ловчишь, Марк?» – вдруг весело спросил он. – «Ты хочешь от самого себя с нашей помощью избавиться? Думаешь – пусть

контрики меня прикончат. Был коммунист Марк, и нет коммуниста Марка. Можно сказать, всю жизнь одной стезжкой прошел, слава ему за это. А то ведь... А то ведь внутри у тебя уже поднимается кое-что, и коммунист вовсе не уверен, что стезжка его правильная. Не уверен, а в глаза правде боится поглядеть. Это я сразу в тебе почувствовал, когда мы ночью разговор вели».

«Не тебе... не тебе судить об этом, Остап», – сказал Марк, но страшная его улыбка сползла с лица, исчезла.

«Привяжите его», – приказал Остап.

«Пойдем с нами, Марк», – шелестела Лена. – «Тебе отец сказал бы, чтоб ты шел с нами. Не место тебе с теми, что душу всем заплевали. Не ты виноват, но ты ошибся, страшно ошибся, Марк!»

«Я ошибся, страшно ошибся», – повторил он слова Лены, но потому, что невольно из него это признание исторглось, он тут же и подавил его:

«Идите. Мы вас повсюду найдем. Из-под земли выкопаем», – хрипло сказал он.

«Привяжите его к дереву», – повторил Остап.

Марк медленно обвел взглядом пожарище, тайгу, звезды и сказал в лицо Лены – сказал с отчаянием в голосе, в глазах:

«Идите. Мое место здесь».

Утром меж деревьев замелькали зеленые петлицы пограничников. У самого прииска, они отвязали от дерева Марка. Его голова была забинтована, руки скручены за стволом дерева, лицо в засохшей крови. Стоять он не мог. Под деревом валялся бумажник. Ползая, он собрал документы. Долго сидел у драги, ждал санитаров. Поблизости лежал мертвый директор, но он старался на него не глядеть. До боли в руке сжимал брошь с птичкой, радостно раскрывшей клюв и раскинувшей крылья.

X ОДИНОЧЕСТВО

Марка отпустили из военного госпиталя, и он скоро в Хабаровск вернулся; от прииска Холодного белый рубец шрама на лбу остался, да память тяжелая о ночи той, пожарной ночи исхода.

В Хабаровске его Синицын перехватил, к себе домой увел и потребовал:

«Рассказывай, как на духу. Ничего не таи. Слухи всякие о тебе ходят».

Марк рассказал. Об Остапе и Лене рассказал, о последней встрече с ними, когда прииск горел. Синицын выслушал, приказал Марку помолчать. Сам сидел и губами шевелил, словно выплюнуть что-то хотел и не мог. Потом сказал:

«Клятвой тебя связываю, Марк. Никому не говори о Лене и Остапе. Всё другое можно, а о Лене и Остапе – намертво забудь. Будут винить тебя, что Баенко ты в опасности бросил, да от этого ты отговоришься: не от опасности ушел, а к ней, по дурасти тебе свойственной, подался. О Лене и Остапе забудь. Намертво!»

Это удивительно, каким изолированным может быть человек среди множества людей! Живет, встречается с другими, разговоры ведет, заседает, пишет письма, а заглянет в самого себя – черная одинокость. К партии многолюдной принадлежит, как будто в братстве великом состоит, а одинокий. И ведь не только Марк, все одиночество чувствуют, неприкаянность, а чувство это в замкнутость обращают, на все крючки души застегивают. Говорят, конечно, много, шумят, да всё это пустой, наигранный шум, и не свои слова люди говорят, а чужие на разные лады повторяют. И ведь знают, что чужие, свои-то в себе глушат, а повторяют, и сил не имеют остановиться, раскрыться. Вот так и с Марком было.

Тогда, Остапу, Марк правду сказал. О происшествии на прииске Холодном и в пограничных селах ни слова в газетах не было написано. Массовый исход людей с родной земли молчанием окутали. Но за этим молчанием многое происходило. ОГПУ всё дело ловко повернуло так, что во всем, мол, повинны партийные и советские органы, которые не доглядели, проморгали, давали поблажки классовому врагу. Вавилов же не хотел напрасных поношений принять, винил во всем ОГПУ, писал в Москву доклады, в которых чекистские перегибы раскрывал, требовал присылки комиссии для расследования, наказания Доринаса и Южного требовал.

В то время, когда напряжение в Хабаровске высшей точки достигло, Марк возвращался из своей неудачной поездки. На Са-

халин его Вавилов послал, а с острова Южный бесцеремонно выставил.

Океан наваливался на землю тяжелыми, словно от лени растолстевшими волнами. Нескончаемый серой полосой тянется дальневосточный берег русской земли; даже сопки по берегу, даже скалы, головы из океана поднявшие, не оживляют безрадостного однообразия этой земли.

Небольшой корабль каботажного плавания, совершающий рейсы между Сахалином и Владивостоком, держался близко к берегу; перелезши через одну волну, он лез на другую, и так без конца – волна за волной. Когда на берегу показывались строения, корабль давал протяжный гудок, поворачивал к пристани, приваливался к ней боком. Приняв грузы и пассажиров, он уходил от берега и опять упрямо лез через волны – от одной волны к другой, от одной к другой.

Марк слонялся по палубе и чувствовал себя так, словно заключили его в клетку, и нет из нее выхода. Когда-то в московском зоопарке он долго стоял у клетки тигра и думал, что непрерывно двигаясь взад-вперед, взад-вперед, тигр старается подавить тоску неволи, владеющую им. Вот так теперь и он: ходил взад-вперед по палубе, смотрел на других пассажиров, озирали темный неприветливый океан, даже отвечал на вопросы, когда обращались к нему, даже угощал матросов папиросами, а сам при всем этом в своих чувствах и мыслях был очень далеко; а где далеко – сказать не мог бы. Просто было ему и мутрно, и тоскливо, и нерадостно, как, может быть, тому тигру, у клетки которого в московском зоопарке он когда-то стоял.

На мостике появился капитан. Он всматривался в ту сторону, где как будто ничего нет, а только океан, тяжело вздыхающий и волнами играющий. Далеко-далеко, у самого горизонта, висело расплывчатое черное пятно, на него-то он и смотрел. Марк стоял под мостиком и слышал, как капитан сказал кому-то, скорее всего рулевому:

«От берега держи. Идет, зараза!»

Повернули в сторону открытых вод, отдалялись от берега. Капитан, как видно, боялся, что в бурю океан может его посудину, как скорлупу ореха, на прибрежные скалы выкинуть. И без того мутный день стал вовсе мрачным. Пассажиры расползлись по

каютам, каждый по-своему бурю переносил. У Марка была крошечная каюта, скорее щель корабельная. По соседству какие-то моряки плыли, на этих буря не действовала – как заложили преферансную пультку на Сахалине, так неотрывно и разыгрывали ее.

Бури бывают длинные и короткие – эта была короткой. Потешился старый океан часа два, и хватит! Пассажиры снова на палубе.

Стоя у борта, Марк скользил взглядом по берегу. Ничего привлекательного, но он стоял долго, смотрел неотрывно, словно серость и однообразие береговой полосы каким-то образом были увязаны с его душевным миром – таким же серым, однообразным и вмещающимся всего лишь в одно понятие: одиночество.

События прииска Холодного тогда еще не были для Марка прошлым – отблеск таежного пожара лег на его мир, по-новому осветил его. Убийства, исход, Лена и Остап с их страшной решимостью – в этом он не видел начала и не видел конца. Большим, чем всё это, было то, что человек, определенного лица не имеющий – вселичный человек – восстал, и этим мгновенно отменил безусловный абсолют их общей правды.

Перед грозной весомостью этого, всё остальное казалось мелким, обычным, не заслуживающим внимания. Газеты ни словом не обмолвились о таежном исходе вселичного человека от тирании их правды, но весть о нем всё равно широко разошлась. Многие люди думают о происшедшем, но от живого, подлинного понимания таежной ночи они отгораживаются междуведомственным спором, не хотят, а может быть, и боятся осмыслить исход вселичного человека во всем его грандиозном смысле. Доринас обвиняет партийные организации – давали, мол, поблажки классовому врагу. Вавилов пробудился от апатии и отражает атаки Доринаса, клянет ОГПУ за перегибы, злоупотребления. Трепещет от страха Баенко. Скорее всего падет не Доринас, а Вавилов, но, Боже мой, как всё это ничтожно перед лицом страшной первичности того факта, что человек взбунтовался, отверг их правду и отверг их самих.

Для Марка всё это жило и в другом. Теперь он был заполнен жгучей тревогой, которую у него не было силы перебороть. «Я уже ошибся!» – сказал он ночью, освещенной пожаром, и с тех пор сознание, что он ошибся, давило его, приминало под со-

бой, словно в ту ночь он самому себе признался, что заблудился в жизни. С необычайной, почти болезненной остротой он теперь видел два начала в самом себе. Одно исходило от того Марка, который рос среди людей в серых шинелях и впитал в себя их жестокую и несокрушимую веру; другое превращало его в ничтожную частицу какой-то чудовищной машины перемалывания всего и вся и повелительно диктовало ему: «Покорись! Молчи! Исполни! Думать, верить, желать – ничего этого от тебя не требуется».

Одиноким, растерянным, он замыкался в себе. Над ним всё еще властвовала инерция движения. Его заполняли теперь сомнения, много сомнений. Но будили они в нем лишь тревогу, а на другой путь не указывали.

Вавилов послал его на Сахалин, так как там возникла опасность. Сахалин был поделен на две части, и южная его часть принадлежала Японии. С недавнего времени посыпались с острова петиции от рыбаков. Если уж эти угрюмые, необщительные люди, сжившиеся с морем, решили жаловаться, значит, дело действительно плохо. Вавилов боялся, что сахалинские рыбаки дойдут до решения бежать с советской части острова на японскую – там бежать даже легче, чем в амурской полосе, где находился прииск Холодный.

Мрачно, недоверчиво встретили рыбаки Марка. Немногословно изложили жалобы. Издавна ловят они рыбу и сдают улов на рыбоконсервные заводы. Так было еще при дедах и при отцах ихних. Осталось так, когда заводы от хозяев перешли государству. Рыбаки ловили рыбу, заводы платили за нее деньги, снабжали провиантом, новыми снастями. Но вдруг заводы объявили, что они не будут больше заключать с ними договор, считают их своими рабочими, переводят на жалованье.

Рыбаки не приняли нового порядка, не вышли на лов. Заводы остановились. Марк в день приезда долго разговаривал с управляющим рыботорста. Тот готов был хоть сейчас подписать договор с рыбаками, но ему запрещено. Послал Марк радиogramму Вавилову, просил дать заводам право заключить договор на прежних условиях. Ночью управляющий приехал в грязную гостиницу, в которой остановился Марк, и сообщил, что им получены новые инструкции. Они исходят от ОГПУ.

«Сам товарищ Южный прибыл сюда», – сказал он. Видно было, что в его представлении товарищ Южный непререкаемый авторитет, против воли которого он никогда не осмелится пойти.

Утром Марк пошел в отделение ОГПУ и застал там Южного. В ответ на вопрос Марка, он лениво сказал:

«Да, это я дал приказ. Никаких переговоров с рыбаками не должно быть. Мы отучим этих морских разбойников спорить с государственными учреждениями. Они должны получать свое жалованье – и это всё».

«Но они отказываются», – сказал Марк. – «Они всегда были рыбачьими артелями, а не рабочими рыбозаводов. Да и какое это имеет значение? Важно только то, чтоб они ловили больше рыбы».

«Нас план рыбозаводов не интересовал, пока мы за его выполнение не отвечали», – всё так же лениво сказал Южный. – «Но подавление сопротивления частника, добитие остатков капитализма, это всегда наше дело. Рыбаки и есть эти остатки. Знаете ли вы, что они грозились разрушить заводы?»

«Слышал, но не верю», – хмурился Марк.

«Ну, ваше дело. Думайте об этом, что хотите, я же собираюсь доказать, что это так именно и было. Они хотели разрушить государственные предприятия, то есть совершить самое тяжкое преступление. Можете быть уверены, что мы эту кулацкую шайку скрутим. Вам же я скажу откровенно – Вавилону не надо вмешиваться в этот спор. Я понимаю, конечно, партия и всё прочее, но только там, где действует ОГПУ, партийные интересы полностью защищены».

«Видите ли, товарищ Южный, я отвечаю вам откровенностью на откровенность», – сказал Марк. – «Вавилов мог бы и не вмешиваться, но если случится что-нибудь подобное приску Холодному, то товарищ Доринас и вы, товарищ Южный, докажете, что в бегстве рыбаков на японскую часть острова виновато не ОГПУ, а партийная организация».

Южный вдруг улыбнулся. Он явно издевался над Марком, когда сказал:

«Партия знает, кто виноват. Товарищ Сталин никогда не ошибается». А потом громче: «Или вы в этом сомневаетесь, Суров?»

«В вашем присутствии не могу сомневаться», – пробурчал Марк. – «Но дело сейчас в том, что предпринять, чтобы успокоить рыбаков и дать сырье заводам?» – сказал он.

«А это уж предоставьте мне. Для того я и на Сахалине, чтобы успокоить рыбаков и пустить в ход заводы. Можете быть уверены, я успокою их так, что у них надолго пропадет охота ставить требования пролетарскому государству. Рыбозаводы переходят в ведение ОГПУ, а мы-то уж заставим рыбаков понять, что нам с ними заключать договор не пристало. Никаких претензий, потому что претендовать на что-нибудь в нашем государстве является контр-революцией».

Южный городил чушь.

«А если всё-таки рыбаки не пожелают ловить рыбу на этих условиях, что тогда?» – спросил Марк.

«Какой вы, Суров, въедливый», – уже сердясь сказал Южный. – «Если не захотят ловить, ну, мы поступим очень просто. Отберем у них снасти и запретим ловить рыбу. Выселим их куда-нибудь с Сахалина. На их место привезем заключенных, с которыми, как вы знаете, мы очень быстро договариваемся... Вам я рекомендую бросить заниматься этим делом, которое может для вас окончиться вовсе не весело».

«Спасибо за совет, но мне Вавиловым дана инструкция, и я должен ей следовать».

«Я больше не имею времени... и желания разговаривать с вами», – зло сказал Южный, вставая.

На другой день Марку вручили радиogramму Вавилова. Ему предписывалось с первым пароходом покинуть Сахалин и делами рыбаков и рыбозаводов больше не заниматься. Так, ничего не сделав, он отправился в обратный путь.

Марк всё еще был на палубе, когда пароход сменил курс и начал приближаться к берегу. Показались дома, разбежавшиеся полукружием у небольшой бухты. Деревянная пристань, на ней люди.

«Геологическую партию принять приказано», – крикнул кому-то капитан.

Матросы спустили сходни. На корабль погрузились какие-то люди. Среди них – высокая женщина со строгим красивым лицом. Она держала на руках спящего ребенка. Годовалый мальчонка уткнулся ей лицом в шею.

Марк рассматривал ее. Где-то он видел эту женщину с гладко зачесанными волосами, сплетенными в косы, которыми она дважды опоясала голову. Словно испуганные, неулыбчивые глаза. Мягкий овал подбородка. Марк был уверен, что он видел ее раньше. Родинка на левой щеке чуть повыше уголка рта. Черная юбка оставляла открытыми крепкие, загорелые ноги. Просторный жакет, из-под которого выглядывала белая кофточка, не скрывал линий молодого тела, вероятно, такого же загорелого и крепкого, как и ноги.

Пароход снова медленно перебирался с волны на волну, и опять вдали полз пустынный берег. Женщина ушла вниз. Марк так и не вспомнил, где он видел ее.

Медленно, тягуче тянулось время, но вот вдали возник маяк, венчающий вершину высокой скалы – до порта оставалось часа четыре плавания. Марк спустился в каюту-щель, собрал вещи. Может быть, удастся попасть на вечерний поезд, идущий в Хабаровск. Потом опять вышел на палубу. Женщина теперь стояла у борта. Держала ребенка за ручку. Он требовал, чтобы она взяла его на руки, но она смотрела вдаль. Мысль, что они уже встречались, была Марку назойливой и неприятной. Он решил спросить. Подошел к ней и увидел: на лице жгучее волнение. Глаза широко раскрыты. Устремлены в ту сторону, где по курсу корабля возникал остров. Он знал – тот остров, что исключен из общего управления краем, нанесен на карту расплывчатым белым пятном. Ничейный остров, давно объявленный международной территорией. Рядом остановился матрос. Он всегда находил Марка на палубе, чтобы закурить у него. Марк протянул папиросу. Закурив, матрос сказал то, что Марку было известно и без него:

«Лепрозорий тут, на чертовом этом острове. Колония прокаженных, значит. Со всего света сюда заразу свозят, и тут она догнивает. Паршивый остров, не дай Бог в бурю к нему прибиться».

Затянувшись несколько раз подряд, он продолжал:

«Прокаженные тут всех народов гниют – японцы, русские, китайцы. Англичане имеются. Богатые те англичане, и много товаров привозится за их деньги».

Остров приближался. Стала видна роца высоких хвойных деревьев; под ними белели маленькие домики. Матрос опять подошел, получил папиросу и заговорил:

«Это вот есть первый поселок», – сказал он. – «Всего там их три. В этом, под деревьями, живут те, у кого еще болезнь себя не проявила. На вид здоровые. Не хотят они, чтобы другие, какие вида такого не имеют и на лицах раны и язвы обозначились, приближались к ним и о страшной той болезни напоминали. За поворотом другой поселок будет. Там уже люди с язвами живут, однако же, не совсем, чтобы страшными. И опять и этим не охота, чтобы вместе с теми жить, какие уже догнивают и на людей не похожие. Таких в третий поселок перегоняют, там они и доходят до точки. Третий Львиным прозывается. Это потому ему такое прозвище, что в нем те живут, кого болезнь напоследок делает похожими на львов. Те уже скоро умирают».

Затянувшись, он сказал:

«Рассказывали мне как-то люди, хоть может то трепотня была, что какой-то русский на этот треклятый остров перебрался по своей воле. Да только я не верю. Кто ж захочет гнить там? Лучше уж смерть».

И вдруг, Марка осенило. Страшная тетрадь в черном коленковом переплете. Женщина, бегущая по перрону, придерживая руками живот. Большие, не улыбочивые голубые глаза.

«Петр Новиков... Мария!» – тихо сказал Марк.

Женщина не услышала его слов. Она плакала. Смотрела на остров. Там было пусто. Мальчику надоело стоять около матери, он пошел от нее, но корабль качнуло. Малыш сел на палубу и очень горько заплакал. На Марка он смотрел с таким выражением, словно говорил – возьми меня, а то зареву еще сильнее! Марк взял его на руки, и он сразу же перестал плакать. Он гулял с ним по палубе до тех пор, пока остров остался позади, потом понес его к матери. Она приняла его, не взглянув на Марка. Глядела назад, где в тумане уже таяли очертания острова. Марк увел ее вниз – дрожащую, словно охваченную ознобом. У нее не было отдельной каюты, и он предложил ей воспользоваться его щелью. Уложил на койку. Она очень быстро заснула. Малыш привалился к боку матери, начал засыпать. Марк вышел на палубу. Да, это всё могло бы объяснить. Петр Новиков на острове прокаженных. Неужели он это сделал? Марк помнил, что какой-то намек на это содержался в тетради.

Часа два он бродил по палубе. Были уже близко к порту. Стаясь не шуметь, он вошел в каюту. Женщина проснулась. Смотрела на Марка строго и вопросительно, словно только теперь заметила его.

«Порт?» – спросила она.

«Да, Мария, скоро порт», – ответил он.

Потом они стояли в сутолоке, всякий раз возникающей на пристани с приходом пассажирского парохода. Кричали носильщики. Шныряли оборванные китайчата, размахивающие ящиками с принадлежностями для чистки обуви. Грохотали лебедки, извлекающие из трюмов груз. Сидя на руках у матери, маленький сын Марии был так поглощен происходившим, что ни матери, ни Марку не уделял ни малейшего внимания.

«Откуда вы знаете меня?» – тихо спросила женщина, покачивая ребенка. – «Там, на пароходе, вы назвали мое имя. Откуда вы знаете?»

Она стояла высокая и строгая. Ветер с моря туго ударялся о ее ноги. Юбка плотно облегла их. Он опять подумал, что она чем-то напоминает Колибри. Та была такой же длинноногой, упругой, сильной, но только у той была улыбка, кипень зубов, звезды в глазах, эта же смотрела строго, словно ее голубые глаза не умеют улыбаться.

«Я тогда принес вам тетрадь Петра Новикова», – сказал Марк. Он назвал себя. Не знал, протянуть ей руку или это будет выглядеть смешно. Не протянул. «Это правда, что он ушел на этот остров?» – спросил он.

«Да», – тихо сказала Мария, и непонятно было, отвечает она на его вопрос или хочет сказать другое. – «Может быть, это были вы. Я не помню, что я делала тогда и с кем говорила. Может быть, это были вы. Петр ушел, он не мог жить после всего, что видел. Так он написал. Куда? Я не знаю. Мне потом сказали, что он сошел с ума и ушел на этот остров. Но может быть, это и не так. Может быть, сказали, чтоб хоть что-нибудь сказать. Может быть, его давно нет в живых».

Марк сам думал, что это скорее всего легенда. Но если легенда, то хорошая. Марии легче жить с мыслью, что Петр жив. Пусть даже на этом ужасном острове, но жив. Малыш теперь тянулся к Марку, лопотал свое, взрослым непонятное.

«Это его сын?» – спросил он.

«Да», – ответила Мария. «Это – маленький Петр, а тот был большой».

Подошел пожилой человек, с которым она разговаривала на палубе корабля. Она познакомила их. Сказала, что профессор – ее начальник, вместе были на геологических исследованиях. Спросила Марка, когда он уезжает из города и он, вовсе для себя неожиданно, сказал, что уедет завтра.

«Если вам негде ночевать», – сказала она, – «поедьте к нам. У нас постоянное общежитие, и место для вас найдется».

Корабельный гудок ворвался в раскрытое окно. Марк не спал. Находился в каком-то притупленном состоянии. За окном была молочная, из тумана сотканная ночь. Комната тонула в голубой полутьме. Притушенная лампа под голубым абажуром. Ребенок во сне что-то мурлыкал, чмокал ртом. Рядом с Марком – горячее женское тело. Волна темных волос. Округлые загорелые руки. Он видел лицо спящей. Полно голубого счастья. Женщина спала, но и во сне ее полные, почти черные губы складывались в улыбку. Он поежился при мысли об обмане, в который они сами себя погрузили. Словно встревоженная его мыслью, из темной волны волос вынырнула рука Марии – мягкая, ласковая. Обвилась вокруг его шеи. Шепот – умиротворенный, радостный – прошелестал в полутьме:

«Петя, родной мой!»

Марк опустил голову на подушку. Это тихое восклицание опять больно ударило его. Он чувствовал близость женского тела – покорного, напоенного лаской – и всё-таки был совсем один. И женщина эта, обнимающая его и даже во сне тревожная, одна. А голубой свет, комната с открытым окном, в которое глядится наползающий туман, жаркая и какая-то болезненная ласка Марии, стоящая на грани страдания, — всё это обман. Рассеется с первыми проблесками дня. Увидит Мария, что с нею не тот, чье имя она произносила страстным шепотом, и, может быть, завтрашний день покажется ей еще более горьким и ненужным, чем день вчерашний.

Иллюзия возникла как-то незаметно. Завладела ими обоими. Может быть, они принесли ее с собой с морского берега, кто мо-

жет сказать, как возникают и где возникают такие самообманы? С пристани они пришли в маленькую комнату Марии. Профессор ушел, пригласил Марка ночевать у него. Привезли и оставили у подъезда два тяжелых чемодана. Марк принес их наверх. Мария была с маленьким сыном за занавеской. Слышался плеск воды. Протестуяще плакал ребенок. Потом он успокоился. Она вынесла его – смешного, мокрого. Ловко вытерла полотенцем, закутала в простыню.

Потом, когда маленький Петька уже спал, они в мягкой полутьме пили чай. Марк видел лицо Марии – печальное и растерянное. Она скупно бросала тяжелые, безрадостные слова. Жизнь, обещавшая вначале так много, оказалась вдруг пустой и ненужной. Она и совсем была бы ненужной, эта жизнь, если бы большой Петр не оставил после себя маленького Петра. Теперь ее переводят, она больше не увидит острова. Может быть, там не было и нет Петра, но она привыкла к мысли, что он там, близко от нее и сына. Останется у нее только маленький, для которого надо жить. И больше ничего. В двадцать пять лет – и больше ничего.

Вот в этот миг Марк и впал в самообман. В тоске Марии была его Колибри. Нет, он мог бы и не думать так, но ему хотелось думать: «Это – Колибри». Тоскующая и печальная птичка, которой обломали крылья. Подошел он к ней и положил руки на ее плечи. Почувствовал – сильная, напряженная дрожь прошла под пальцами. Голова запрокинулась назад. Робкая, где-то у глаз рождающаяся улыбка появилась на запрокинутом лице. Она окрепла, раздвинула плотно сжатые губы, обнажила ровный ряд зубов. Потом разлилась по лицу горячей, всё смывающей волной. Он поднял ее на руки, понес. Она не сопротивлялась, жадно целовала его. Они принадлежали друг другу. Встретились лишь в этот день, но принадлежали друг другу. Тут жестокие моралисты могут заговорить. Встретившись лишь в этот день, они принадлежали друг другу. Когда радость близости и страдание сплелись вместе, как сквозь сон, услышал Марк почти безумный вскрик Марии:

«Петя, родной мой!»

Колибри улетела. Марку стало стыдно и нехорошо, а Мария уснула и крепко прижималась к нему своим разгоряченным телом. Это был обман, Марк хотел его. Поддаваясь ему – «это –

Колибри» – он всё-таки знал, что это обман. О том, что обман может захватить и Марию, не думал. Он захватил, но поверила она в него сильнее, чем мог поверить Марк. В тревожной любви, она была с Петром, с ее Петром. Боль долгой разлуки, неудовлетворенная страсть молодого тела – требовательного и жадного – всё это излилось из нее вскриком:

«Петя, родной мой!»

«А что будет завтра?» – думал Марк. – «Завтра она увидит, что нет Петра, а кто-то другой украл то, что ему не принадлежит, воровски овладел ею и ушел, чтобы разметать память о такой ночи на всех перекрестках дорог. Поймет ли она, простит ли?».

Завозился в своей кровати маленький. Марк осторожно отвел оплетающие его руки, поднялся, склонился над ним. Малыш торопливо чмокал губами, начинал уже кривить их в досаде, готовился заплакать. Марк повернул его на другой бок. Стараясь не шуметь, оделся. Под голубым абажуром он оставил записку. Писал в ней, что он украл не принадлежащее ему, но счастлив и благодарен. Писал, что оба они одиноки, и если она согласится соединить их одиночество, то он постарается быть хорошим отцом маленькому Петьке. Писал, что она знает, где его найти, и он будет ждать ее.

На рассвете он сел в поезд, покидающий Владивосток.

На другой день утром Марк стоял перед Вавиловым и, наклонив подбородок, упрямо твердил:

«Нет, я не могу так скоро уехать. Личные дела требуют, чтобы я пробыл здесь еще две недели. По крайней мере, две недели».

Он доложил Вавилову о сахалинской поездке, но секретарь крайкома был теперь занят другим. Он приказал Марку сдать дела и ехать в Москву. Нет, Марк не мог уехать так скоро, как этого требовал Вавилов.

«Две недели», – вскрикнул Вавилов. – «Да за две недели, дорогой мой, они из тебя отбивную котлету сделают. Или ты не знаешь, как выглядит снятие с работы секретаря крайкома? Не знаешь, что бывает с теми его сотрудниками, которые остаются на месте и не заручились благоволением нового начальства?»

Пока Марк находился в поездке, окончательно выяснилось, что Вавилова отзывают из дальнего края. Влиятельные друзья в Москве защитили его от слишком уж суровой кары, и его перево-

дили «овец пасти», как он мрачно сказал Марку при встрече. Когда Марк вернулся, Вавилов не столько был озабочен своей судьбой, сколько судьбой своих помощников, которые могли в будущем заплатить горькую плату за сотрудничество с ним. Некоторых из них уже отправили из края. Уехал Синицын. Теперь нужно было удалить и Марка. Вавилов извлек старый запрос о Марке из Москвы – его тогда предполагали назначить работать в центральный аппарат. Когда этот запрос был сделан, Вавилов отверг его, но теперь он хотел им воспользоваться, чтобы перекинуть Марка в Москву.

«Ты понимаешь, что возможность покинуть край висит на волоске», – сказал Вавилов. – «Мой преемник может решить, что ты нужен здесь, и сообщит об этом в Москву. Можешь быть уверен, что там не пожелают отказать новому секретарю крайкома – без Сурова в Москве как-нибудь обойдутся. Останешься ты тогда тут, начнется ошельмование старого руководства, то есть меня, а так как меня здесь уже не будет, то начнут вытрясать душу из тех, кто мне помогал».

«Всё это я понимаю», – сказал Марк. – «После вашего отъезда начнется раскрытие ваших преступлений. А так как преступлений, надеюсь, найдено не будет, то их придумает Доринас. И ответственность за них ляжет на шестистепенных работников, таких как я. Я всё это понимаю».

«Понимаешь и упираешься», – сказал Вавилов. Он заговорил сухо, официально: «Так вот что, товарищ Суров. Пока я еще секретарь крайкома. Я не знаю, о каких личных делах ты говоришь, не спрашиваю о них, но в порядке партийной дисциплины предлагаю тебе покинуть край и отправиться в Москву в распоряжение отдела кадров ЦК. Для устройства личных дел разрешаю остаться на одну неделю. Но через неделю – выехать. Понятно?»

Потом Вавилов провел рукой по щетинистому подбородку и потеплевшим голосом сказал:

«Вот так и расстаемся мы, Марк. Хочу тебя поблагодарить. Ты всегда был дельным помощником».

«Я старался работать», – ответил Марк. – «Не всегда хорошо получалось».

«Знаю», – сказал Вавилов. – «Результат от тебя не зависел. Время наше такое, что из самых хороших дел черт знает что

выходит! Скотское время. Кстати, мне передавали, что ты назвал Баенко гамлетизированным поросенком. Теперь он сидит дома и читает Гамлета, хочет знать, почему ты так сказал».

«Это не мои слова», – сказал Марк, – «но они к нему подходят. Когда ему ничего не грозит, он слезу о малых мира сего пускает, а как опасность появляется, он готов на всё, только бы себя обезопасить. Гамлет исчезает, поросенок остается».

«Для ясности, и чтобы не утруждать его мозгов, ты мог бы его просто свиньей назвать», – усмехнулся Вавилов. – «Ему это понятнее, и к правде близко. Все его доклады в Москву помогли ему, как мертвому клизма. Снимают его вместе со мной и посылают на самый что ни на есть захудалый пост. Да и то еще хорошо. Вот такие люди и создаются в тех обстоятельствах, в каких мы сейчас находимся».

«Принято считать, что человек должен властвовать над обстоятельствами, а не покоряться им», – сказал Марк.

«Теория, дорогой друг, теория. В теории это звучит хорошо, а на практике, особенно когда речь идет о политических обстоятельствах, человек – раб их. Он может желать, даже страдать от невозможности что-то там совершить, но делать он будет только то, что соответствует обстоятельствам. Только очень смелые и решительные пытаются действовать наперекор, но где они и сколько их?»

Вавилов ходил вокруг стола, о чем-то тяжело думал. Старейший человек, более несчастный, чем хочет показать. Небрежность в одежде, небритый подбородок – всё это от опущенности.

«Я надеюсь», – сказал Вавилов, – «что мы еще встретимся, если только обстоятельства не раздавят кого-нибудь из нас. Ты, наверное, будешь работать в правительственном аппарате. Волков давно хлопочет, чтобы тебя перевели к нему. Не думаю, что тебя там ждет много радости. О Волкове не спрашивай – мало знаю. Член правительства, но почти незаметен. Ведает какими-то второстепенными аппаратными делами».

Никаких личных причин, которые задерживали бы отъезд, у Марка не было, кроме одной: он ждал Марию. Знал, что она должна покинуть Владивосток, но проедет ли безостановочно через Хабаровск, или... Или сойдет на перроне.

Мария молчала.

Когда срок ожидания, данный ему Вавиловым, истекал, Марк вызвал к прямому проводу геологическое управление во Владивостоке. Спросил о Марии. Ему ответили, что уже три дня, как она выехала к новому месту работы. На Алтай.

Значит, уехала. Не захотела видеть его. Уехала, не остановилась, не дала знать.

Марк покинул город и край, к которому привязался накрепко, полюбил надолго, хоть эта суровая земля и отсыпала ему горя без меры и счету.

Много еще чего придется испытать братьям Суровым.

Марк, поработав некоторое время в Кремле, после убийства Кирова окажется в тюрьме, откуда его вызовет старший брат генерал Корней и мать – тетка Вера. Затем и сам Корней, командовавший восточным округом, окажется в лапах НКВД, но будет чудом спасен своим фронтовым побратимом. Иван Суров отличится в боях с японцами, а возвращенный в армию Корней со своими войсками захватит укрепленные позиции белофиннов.

Второй том книги М. Соловьева будет посвящен Отечественной войне с ее трагизмом: народным героизмом и продолжающимся людобойством. Марк Суров, возглавивший отряд конников, будет отправлен в тыл врага; выполнит особое задание по спасению оказавшегося в окружении маршала; попадет в немецкий концлагерь. Сбежав от фашистов, окажется в партизанском отряде, где вместе с его командиром попытается воплотить в жизнь утопическую мечту о России, одинаково противостоящей немецким оккупантам и сталинским сатрапам. Как и в романах Б. Ширяева и Л. Ржевского, попытка эта окажется «между двух звезд» закончится крахом.

Избежав выдачи советским репатриационным органам, Марк много размышляет о судьбах человечества и приходит к выводу, что боги долго молчат, но не оставляют человека, не прекратят его жизнотворчество. В твердом убеждении, что он не умрет, а растворится в будущем, уходит из жизни Марк Суров.

Но род Суровых не прекратится. Его продолжит старший брат Корней, его родные и приемные дети.

В.В. Агеносов

О КНИГЕ «ЗАПИСКИ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА»¹

«Записки...» М. Соловьева состоят из отдельных автобиографических рассказов-эссе. Как автор преподавал историю находящимся на Курсах переподготовки высшим советским военачальникам («Генеральский инкубатор»), как он стал свидетелем голодомора в деревне («Вознесенский полк бывалый...»²) и уничтожения непокорных казацких станиц («Джунгли»). Судьба свела Соловьева не только с глубоко неприятными ему С.М. Буденным, О.И. Городовиковым, «Левушкой Прохвостовым» Л.З. Мехлисом, но и с подлинными народными полководцами-самородками С.К. Тимошенко, П.С. Рыбалко, Н.И. Крыловым, И.Р. Апанасенко, А.И. Еременко, В.И. Книгой. По долгу службы будущий писатель присутствовал и живо описал военные маневры в Туркестане («Огненный вал»). В каждой из этих новелл присутствует и драматизм, и юмор, и ирония, и мастерское описание как людей, так и ситуаций. Но – что особенно важно – автор всегда и везде с уважением говорит о русском солдате (рядовом или генерале).

Возможность увидеть многое из того, что было скрыто за семью печатями секретности, в сочетании с высоким писательским мастерством позволили автору записок создать, пусть и не эпическую, но достаточно яркую картину до сих пор малоизвестной Финской войны.

Именно этот фрагмент книги мы и предлагаем читателю.

¹ *Соловьев М.* Записки советского военного корреспондента. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. Полный текст книги имеется на нескольких сайтах в Интернете. Наиболее точный: <https://biography.wikireading.ru/205645>.

² Рассказ опубликован в «Антологии писателей Ди-Пи и второй эмиграции» В.В. Агеносова «Восставшие из небытия». – М.: АИРО-XXI, 2014.

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ

**ЗАПИСКИ СОВЕТСКОГО
ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА**



МАЛАЯ ВОЙНА

Ухабы бытия

Зима 1939 года застала меня в Калинин (быв. Тверь), где я отбывал наказание за несовершенные мною, или, во всяком случае, неведомые мне грехи. В мире преследуемых мера наказания, отмеренная мне, почиталась чем-то вроде легкого насморка и всерьез не принималась. Люди, получившие «минус шесть», то есть запрещение на известный срок жить в шести крупнейших городах страны, попадали в какое-то промежуточное положение: не свободны, но и не лишены свободы. Я в эту категорию людей попал тогда, когда Сталин решил, что наступило время Бухарину положить голову на плаху. Бухарина повлекли на казнь, а нас всех, сотрудничавших с ним в «Известиях», где он был редактором, разместили по тюрьмам, чтобы посмотреть, не вложил ли в нас Бухарин своих антисталинских настроений и в соответствии с этим определить наше место под солнцем. В беду после Бухарина попали мы все, начиная от редакционных уборщиц и кончая заместителями Бухарина.

После кратковременного пребывания в Лубянской тюрьме, нас разместили по тем местам, где нам, по мнению власти держащей, быть надлежало. Несколько человек исчезли в концлагерях, кое-кого отпустили на свободу, а большинству, к которому принадлежал и я, было назначено быть людьми, помеченными «минусом шесть». Так попал я в Калинин <...>

Осенью 1939 года моя судьба сделала еще один крен <...>

Меня вызывали в областное НКВД, а это не могло предвещать ничего доброго. Что меня ждет? – спрашивал я снова и снова. Расстроенное воображение рисовало новые кары, которые обрушатся на меня.

<...> У ворот с будкой меня задержали. Собралось нас человек пятнадцать: все явились по вызову. Часовой стоял в будке, а мы

мокли на дожде и тщетно пытались укрыться под деревьями. Наконец, за нами явился дежурный и, проверив по списку наши имена, повел нас гуртом в барский дом с колоннами. В каком-то темном закоулке дома нам приказали ждать <...> Одного за другим нас вызывали из темного закоулка, но вызванные больше не возвращались. Их могли отводить в тюрьму, помещавшуюся тут же, в саду, но могли и домой отпустить. Кто мог это знать?

Дошла очередь и до меня. Дежурный выкрикнул мое имя и, даже не взглянув мне в лицо, повел в конец коридора и молча указал на дверь. В небольшой комнате, за грубым письменным столом, сидел костлявый человек с равнодушными, почти сонными глазами <...> Сухое лицо со склеротической краснотой на скулах было повернуто в мою сторону, но человек, как мне казалось, не видел меня. Я остановился у стола и ждал <...>

Наконец, чекист заметил меня, и его взгляд приобрел осмысленное выражение <...> Сидящий протянул свою немощную руку к кипе желтых папок, порылся в ней и извлек папку с моим именем. Он быстро просмотрел бумаги и, не поднимая на меня глаз, равнодушно произнес несколько слов. Эти слова привели меня в удивление, и я неожиданно для самого себя свистнул. Откровенно говоря, сказанное чекистом заслуживало свиста. Своим деревянным голосом он сообщил, что срок моего «минус шесть» кончается сегодня, так как решение по моему делу пересмотрено. Мой свист вывел чекиста из состояния сонного равнодушия. Он стал кричать, грозно ударяя кулаком по столу. Но потух так же быстро, как загорелся <...> и вялым своим голосом сказал:

– Мы вами больше заниматься не будем. До поры до времени. Вам надо немедленно отправиться в военный комиссариат. Через час вы должны там быть, я проверю.

Финская война

<...> А на другой день я уже сидел в теплушке воинского эшелона, направлявшегося на север в сторону Ленинграда. Командир полка, развеселый человек лет тридцати пяти, объяснил мне ситуацию:

– Финны, понимаете, шебуршить начинают. Наше правительство им добром говорит: «Потеснитесь!», а они вопят. «Некуда,

вода кругом». А сигать в воду не хочется. Так вот, мы и двинулись поближе к ним. Как завидят, что мы на них прем, так, не раздумывая, в воду сиганут, и «Правда» напишет, что ультиматум они приняли и энтузиазму при этом было предостаточно.

В это время особого движения к границам Финляндии еще не замечалось. Стягивались, главным образом, войска Ленинградского военного округа, в состав которого входила и та дивизия, куда я попал. У всех была уверенность, что предстоит лишь военная демонстрация, до стрельбы дело не дойдет. Странно было представить себе, что Советский союз начнет вести войну с Финляндией. Слон против мухи! Боец Воронов, здоровенный детина откуда-то из-под Курска, весельчак и заводила, так разглагольствовал, сидя в теплушке:

— Нам, мущинам, значит, совсем не к чему воевать с этой Хвинляндией. Мы вполне можем препоручить это бабам. В Хвинляндии всего-то три миллиона людей. Прикажем мы нашим бабам: «Рожай». В единый тебе год они столько народят, сколько усах хвинов на свете есть.

Однако, еще по пути к Финляндии узнали мы, что пушки уже стреляют и ведутся бои. Поезд шел всё так же медленно, и тот же Воронов уверял товарищей, что пока доедем «наши уже хвинской сметаны поедят и хвинских девок пошшупают».

Дивизия наша была введена в состав войск, предназначенных для движения на Выборг. Полк расположился в небольшой деревне. По ночам в той стороне, где была Финляндия, горизонт озарялся вспышками. С каждой ночью этих вспышек становилось больше. Шли бои.

Военная прогулка не удавалась. Все мы, более или менее, страдали самоуверенностью, переданной нам отцами. Нам казалось, что Финляндия не может выдержать и одного дня войны с нами. Однако, проходил день за днем, а сопротивление маленькой страны не только не прекращалось, но требовало с нашей стороны всё больше войск. В газетах, правда, избегали говорить о том, что Советский Союз воюет с Финляндией, но мы-то знали, что воюет. По официальной версии ленинградский военный округ проводил что-то похожее на полицейскую акцию по усмирению непокорного соседа, а между тем в боях уже принимали участие войска не только ленинградского, но и многих других округов.

В декабре нашу дивизию выдвинули на линию фронта. Стояли лютые морозы. Нужно было маршировать по снежному бездорожью через леса на место, обозначенное на карте ничего не значащей цифрой «68.1» – высота, долженствующая стать центром боевого порядка нашей дивизии. Колонна нашего полка двинулась в пешем строю по еле заметной проселочной дороге.

С полуротой бойцов меня откомандировали в помощь полковым артиллеристам и пулеметчикам, которым предстояло добраться до ж. д. станции, погрузить в эшелон пушки, пулеметы, лошадей и доставить всё это по железной дороге до полустанка, недалеко от того места, куда направлялась наша дивизия.

Путь к железной дороге был не легким. Пушки вязли в снегу и приходилось вытаскивать их соединенными человеческими и лошадиными силами. Тяжелая работа согревала, бойцы расстегивали полушубки, откидывали концы трюхов. Кое-как до станции добрались. На этом, однако, наши испытания не кончились. Станция, имеющая четыре рельсовых пути, была забита воинскими эшелонами. Дымили паровозы, переругивались машинисты и составители поездов. Пронзительно скрипел снег под ногами, когда мы направлялись к вокзалу, разыскивая коменданта. Гул людских голосов доносился из вагонов, плотно закрытых и похожих на ульи с укладывающимися на зимовку пчелами.

Коменданта мы нашли у водонапорной башни. Под его наблюдением несколько железнодорожников укутывали в тряпье трубы, по которым подается вода в паровозы. Был это человек в летах и явно из запасных. Новая шинель с петлицами капитана плохо грела коменданта, он всё время пританцовывал, что в сопоставлении с его мрачным лицом и испуганными глазами выглядело довольно забавно. Выслушав нас, комендант снова запрыгал от холода, разводя при этом руками. Ему сообщили по селекторной связи, что порожняк для нас прибудет, но когда?.. И потом, если прибудет, то куда его можно поставить, – все пути забиты эшелонами, а следующая станция отказывается принимать их.

Договорившись с комендантом, что в случае прибытия порожняка, он даст нам знать, мы отправились в пристанционный поселок и «оккупировали» его для стоянки. Стали прибывать батареи и пулеметные роты из других полков нашей дивизии, и нам

пришлось потесниться. Маленькие домики железнодорожных служащих заполнились бойцами и командирами. Хозяйки приносили солому, закрывали ее ветхими покрывалами, устраивая постели для измученных бойцов. У печей сушились солдатские портянки и валенки.

Тем временем я опять отправился на станцию. Надо было следить за тем, чтобы порожняк, когда он придет, не был кем-нибудь перехвачен. На путях стояло с дюжину эшелонов, все вагоны были заполнены людьми, а станция казалась безлюдной. Цепкий холод держал людей в теплушках. Худощавый, несколько дней не брившийся комбат с острым решительным взглядом, остановился рядом со мною, когда я стоял на краю перрона.

– Какой части? – спросил он зычным голосом. Ответив на его вопрос, я продолжал:

– Вот стою и не понимаю. В вагонах тысячи бойцов, а на станции совсем не видно людей. Неужели мороз такую панику навел?

– Не столько мороз, сколько интендантство, – ответил комбат, и злая гримаса исказила его лицо. Одет комбат был не по сезону, и поеживался от холода в своей длиннополой шинели и хромовых сапогах в обтяжку.

– Хотите посмотреть? – спросил он.

Мы подошли к ближайшей теплушке, и комбат постучал кулаком в ее широкую дверь. Гудение человеческих голосов пошло на убыль, дверь чуть-чуть отодвинулась в сторону, образовав узкую щель в вагон, и в эту щель выглянула круглая солдатская голова в лихо сдвинутой на затылок шапке. Увидев нас, голова исчезла из щели, и из вагона донесся свистящий шопот: «Ребята, комбат тут!». В вагоне стало тихо, заскрипела дверь, отодвигаемая в сторону несколькими парами рук.

В центре теплушки дышала жаром раскаленная чугунная печь, а вокруг нее, плотным кольцом, размещались бойцы. Лица были красные, распаренные, гимнастерки расстегнуты. На ногах у всех были одинаковые грязно-белые носки. В то время, как в центре теплушки было жарко, по углам скоплялись снежные хлопья. Вагон был старый, много перевидавший на своем веку, и тепло в нем не удерживалось.

– Опять сожгли нары! – произнес комбат, окидывая вагон взглядом. Ни строгости, ни осуждения в его голосе не было. Действительно, в вагоне, заполненном полусотней бойцов, совсем не было нар, хотя прибитые по бокам планки свидетельствовали, что нары тут недавно были. Солдаты молчали. Потом чей-то притворно-жалобный голос от печки произнес:

– Да, как же, товарищ командир, морозище такой, что селезенка екает, а топки не выдают. Комбат повернулся ко мне.

– Вот, полюбуйте. В пятый раз снабжается эшелон досками для нар, и в пятый раз их жгут.

– Да вы не о нарах, а об угле позаботились бы, товарищ командир, – раздался тот же голос. – Немыслимо же в такой холод без топлива выдержать.

– Нет угля, – проговорил комбат. – На каждой станции заказываю и не могу получить. И дров нет. Одни только доски для нар. Товарищ отделенный командир Сергеев...

– Есть! – приподнялся с места молодой, гигантского сложения солдат.

– Пройдите к начальнику штаба и передайте приказание во всех вагонах проверить наличие нар и заказать недостающие для них доски. И топливо пусть опять закажет. Топлива, впрочем, не дадут, поэтому пусть закажет двойной комплект досок.

Отделенный Сергеев подошел к двери, поеживаясь. Он был похож на купальщика, подходящего к краю трамплина для прыжка в холодную воду. Распахнув дверь, Сергеев выпрыгнул из теплушки и помчался куда-то в сторону. Я в это время рассматривал длинный ряд резиновых сапог. Бойцы поставили их вдоль стен, и они поблескивали оттуда своей глянцевитой поверхностью. При одном лишь взгляде на эту резиновую обувь становилось холодно, но другой в вагоне не было. В эти холода солдаты имели только резиновые сапоги да грязно-белые «шерстяные чулки», о которых в интендантствах шутили, что они изготовлены из бумаги с шерстью – вагон бумаги и моток шерсти, оставшийся от бабушки.

Мы шли с комбатом, направляясь к поселку железнодорожников, воодушевленные перспективой выпить чаю из настоящего самовара. По дороге встречались наши бойцы, и комбат с откровенной завистью рассматривал их зимнее обмундирование. Я в ту

минуту был преисполнен чувством благодарности к нашему командиру дивизии, задержавшему отправку полков, пока интендантство не доставило полный комплект зимнего обмундирования.

— У вас, видно, позаботились, а наша дивизия мается. Обещали по пути снабдить валенками и полушубками, да обещанного надо три года ждать. Нет, определенно всех интендантов надо к стенке поставить. Комбат ускорил шаги, подгоняемый холодом. Поздно ночью от станции донеслись звуки сигнала.

Горнисты трубили боевую тревогу. Издали доносились редкие винтовочные выстрелы. Тьма была кромешная, и я дважды натыкался на телеграфные столбы, пока добрался до станции. На время боевой тревоги, мы все должны были поступить в распоряжение старшего начальника, имеющегося в пределах досягаемости. Поиски старшего начальника, предусмотренного уставом, и были причиной, по которой я пробирался во тьме к станции.

В комнате военного коменданта было шумно. Тут бушевал маленького роста, почти квадратный комбриг со свирепыми серыми глазами. Это был командир той самой дивизии, что растянулась в эшелонах по станциям в ожидании зимнего обмундирования.

Я стоял позади других командиров, стараясь понять, что же произошло и почему горнисты проиграли боевую тревогу.

— Где же ваше боевое охранение, я спрашиваю, — кричал комбриг в лицо командиру полка, стоявшему перед ним навытяжку. — Финны вас могут, как мокрых кур, перерезать, а вы даже не успеете глазом моргнуть. Каждую минуту нужно ждать нападения <...>

Было маловероятно, чтобы финны оказались поблизости от станции, но комбриг почему-то уверовал в нападение и занят был организацией круговой обороны станции. Всё это делалось с руганью, похожей на стон. Мороз ночью еще усилился, и выводить людей из теплушек в резиновых сапогах и шинелях второго срока походило на преднамеренное убийство. От вагонов неслись крики и брань. По перрону торопливо проходили роты, направляясь на отведенные им участки круговой обороны.

Комбриг долго не понимал, кто я, и что хочу от него, но, наконец, уразумел, что со мною до двух сотен бойцов, и я явился, чтобы стать под его команду на время боевой тревоги. Быстро окинув меня глазами, комбриг спросил:

- Две сотни, говорите?
- Так точно.
- И все в зимнем обмундировании?
- Да.
- Да вы из какой дивизии?

Выслушав мой ответ, комбриг возмущенно всхрипнул, и в его глазах почему-то появилось недружелюбие.

– Командир вашей дивизии, Варфоломеев, всегда пронырой был. Черт его знает, как он умудрился получить комплект зимнего обмундирования. Послушайте, вы правду говорите, что вся дивизия имеет полушубки и валенки?

Я подтвердил, что это правда, не понимая, что вызывает ярость комбрига. Он вдруг распахнул дверь и громовым голосом стал кричать:

– Послать ко мне дивизионного интенданта. Немедленно пусть явится, я с ним поговорю. Повернувшись ко мне:

– Ваша команда должна выйти на северо-западную сторону поселка и на расстоянии шести километров, на опушке рощи, занять боевой порядок. С левой стороны от вас будет третий батальон... Впрочем, и справа, и слева никого не ищите. Все другие части будут расположены ближе к станции, так как они не обмундированы в зимнее, а ваша команда, поскольку Варфоломеев приделал вас всех, может и дальше от станции прогуляться.

Комбриг еще не закончил давать мне указания, как в дверь поспешно вошел офицер с интендантскими нашивками. Одет он был, как и другие офицеры дивизии, в шинель и хромовые негреющие сапоги. При виде интенданта комбриг снова впал в ярость.

– Нет, ты видишь? Видишь, я спрашиваю? Говоря это, он тыкал меня пальцем в грудь. Вопросы относились не ко мне, а к интенданту. Комбриг даже присел на корточки и похлопал ладонью по моему валенку.

– И валенки видишь? Смотри хорошенько, как настоящие интенданты о своих частях заботятся. Комбриг забежал по комнате.

– Нет, ты скажи мне, когда обмундирование будет? Ты мне шарики не закручивай, а говори прямо, когда и где будет обмундирование для дивизии? Не можешь сказать? Не можешь?..

Голос комбрига упал до шепота.

– Расстреляю! Расстреляю, и всё тут. Вон в тридцать шестой дивизии расстреляли интенданта, так обмундирование немедленно появилось.

Интендант стоял бледный. Он, конечно, ни в чем виноват не был. Базы снабжения оказались полупустыми, и зимнего обмундирования нехватало. Его везли из других военных округов. Но комбригу в тот момент казалось, что во всем виноват его интендант, и я не был уверен, что он не расстреляет его. Заметив, что я всё еще стою и, вероятно, находя неуместным разговор с интендантом в моем присутствии, комбриг сухо бросил в мою сторону.

– Исполняйте приказ.

Я вышел на перрон, а за моей спиной снова поднялся крик комбрига. На минуточку я остановился на заснеженной платформе. Свет, падавший из окна комендантской комнаты, пересекал перрон и, изогнувшись острым углом, падал на рельсы. Через полосу света проходила рота. Резиновые сапоги вспыхивали холодным блеском. Солдаты сгибались от холода, прятали руки в рукавах шинелей. Когда рота прошла, на перроне остался соломенный след. Чтобы защититься от обжигающей холодом резины, бойцы всовывали в сапоги солому, и теперь она высыпалась на ходу из широких голенищ.

Неся на руках пулеметы, наш отряд отправился в указанном ему направлении и добрался до опушки рощи.

Не было никакого смысла развернуться в боевой порядок, никто из нас всерьез не верил, что поблизости есть финские войска. Солдаты пустили в ход саперные топоры и лопаты, и вскоре в темноте выросли шалаши, а в них загорелись костры.

Как-то незаметно ночь перешла в серое, окутанное морозным туманом утро. Проходили час за часом, а никаких известий мы не получали. Подняв воротники полушубков, солдаты сидели в шалашах, протянув к огню руки.

Командир пулеметного эскадрона Тихонов отправился к поселку. Вернулся он лишь под вечер, сопровождаемый бойцами, несущими мешки с хлебом и мясными консервами. Не в силах скрыть раздражения, Тихонов сообщил, что командир дивизии, маленький комбриг, от которого я ночью получил приказ, попросту позабыл о нашем отряде. Тревога оказалась ложной, и он снял свои части еще ночью, а нас оставили на опушке рощи.

Может быть, Тихонов ошибался. На обратном пути мы подобрали четырех замерзших солдат, обутых в резиновые сапоги. Не были ли они посланы на поиски нашего отряда? Мы принесли их с собою в поселок и долго ковыряли землю, чтобы вырыть для них могилу.

Комендант лично явился в поселок, чтобы сообщить, что эшелон для нас пришел.

У линии Маннергейма

Оставайся я в той части, куда меня направил военный комиссариат, и вся финская кампания сузилась бы для меня до пределов боевого участка моего полка. А так как дивизия очень долго находилась в резерве главного командования и приняла участие лишь в последних боях советско-финской войны, то мне и рассказать бы было нечего о тех днях.

Но обстоятельства сложились иначе, и в полку я пробыл совсем недолго.

Располагался наш полк в лесу. В семи километрах лежало село, населенное угрюмыми лесорубами, постоянно носящими топоры за поясами. Все мы были в те дни заняты поисками спасения от морозов. Изю всех сил зарывались в землю. Замерзшая земля сопротивлялась нам. Она звенела при ударе, словно мороз превратил лесную почву в металл. Надо было оттаивать землю дюйм за дюймом. Даже кухни постепенно исчезали с поверхности и их трубы грозно дымили из-под земли. Шла обычная прифронтовая жизнь. По утрам политруки разносили по землянкам газеты, созывали короткие беседы. Люди привыкли к ровному гулу стрельбы, не умолкавшему ни днем, ни ночью. Наши наступавшие части уперлись в финские укрепления. Среди нас циркулировали фантастические рассказы о линии Маннергейма, о ДОТах (долговременные огневые точки) несокрушимой прочности, о подземных городах под ними.

Приходящие к нам московские и ленинградские газеты укрепляли нас в мысли, что линия Маннергейма трудно проходима, и только это в наших глазах могло служить каким-то объяснением

того неожиданного факта, что наша армия не может сломить маленькую Финляндию.

В полк пришел обо мне запрос. Политотдел дивизии требовал от командира и комиссара полка сведения обо мне. Не думает ли политотдел, что я сбегу к финнам? Полковое начальство отписалось на запрос обычным манером: командир взвода имя рек проявил себя дисциплинированным волевым командиром, пользуется авторитетом у подчиненных и ни в чем предосудительном замечен не был. Я надеялся, что на этом интерес политотдела ко мне угаснет, но не тут-то было. Вскоре пришел приказ откомандировать меня в политуправление штаба округа.

Снабженный документами и тронутый ласковыми проводами, устроенными мне бойцами моего взвода, отправился я на полковом грузовике к железной дороге и втиснулся в первый попавшийся поезд, идущий в тыл. В это время могло показаться, что вся страна двинулась к северным границам. Вдоль железнодорожного полотна тянулись колонны войск. Лошади с трудом волокли пушки. Крестьянские телеги везли к фронту боеприпасы и продовольствие. На станциях торопливо и неряшливо кормили проезжавших перловым супом. К фронту двигались эшелоны со снаряжением и боеприпасами, а в обратном направлении – санитарные поезда, переполненные обмороженными. То и дело в нашем поезде разыгрывалась ставшая уже обычной картина. Эпилептики бились на полу, а мы наваливались на них, держали их головы, руки, ноги, не давая им покалечить самих себя. Почему-то их отправляли в тыл без сопровождения. Мне вторично приходилось видеть массовую эпилепсию. Первый раз это было на вокзалах во время гражданской войны. Тогда это были в большинстве матросы, теперь – пехотинцы.

Кое-как добрался до Сестрорецка, где было размещено политуправление Округа, но там мне дали новый маршрут, и опять я стал колесить в поисках высокого начальства, к которому мне надо было явиться. Наконец, оказался я на небольшой захламленной станции, заполненной людьми. Больше всего тут было людей с интендантскими петлицами. На этой станции временно размещалось интендантское управление.

В небольшом деревянном доме меня встретил старый наш знакомый, Карелов. Он за эти годы изрядно постарел и потуск-

нел, стал еще сумрачнее и напряженнее. На этот раз он сделал для меня исключение, и на его лице появилось что-то, отдаленно напоминающее улыбку. После самоубийства Гамарника Карелов некоторое время был не у дел, и его судьба висела на волоске. Но каким-то образом он избежал грозы и даже вернул утерянный было пост главного сотрудника в политическом управлении. Спас его Мехлис, ставший после Гамарника фактическим главой комиссарского корпуса советской армии.

– Я доложил Льву Захаровичу, что вы где-то тут обретаетесь, и он сказал, что вам надо дать возможность исправить ошибки вашей биографии, – говорил Карелов.

Почему вдруг Мехлис воспылил желанием помочь мне выйти из положения опального, для меня до сих пор непонятно. Впрочем, даже у людей очень злых бывают иногда добрые побуждения и желание покровительствовать малым мира сего. В глазах таких людей маленькое добро способно прикрыть большое зло. А в данном случае и добра-то никакого не надо было творить. Я охотнее остался бы в полку и предпочел бы с Мехлисом вовсе не встречаться. К этому времени сложилось у меня весьма тяжкое представление о таких, как он.

Но приказ есть приказ.

– Лев Захарович приказал причислить вас к числу своих порученцев, – продолжал Карелов. – Он всегда хорошо к вам относился и считает, что вы сблизились с Бухариным больше по молодости и неразумию, чем по внутреннему убеждению.

Не было смысла говорить Карелову, что никакого особого сближения с Бухариным у меня не было. Невозможно было работать в редакции и не иметь отношений с главным редактором. Бухарин, живший под страхом расправы, был очень заботлив и со своими сотрудниками не вступал в политические беседы. Он хотел их предохранить от опасности слишком близкого общения с опальным членом политбюро. Но говорить о том, что Мехлис, например, имел несравненно больше встреч с Бухариным, чем я, не стоило. Такое напоминание содержало бы в себе что-то оскорбительное для казненного Бухарина, а у многих из нас, работавших с ним, выработалась привычка о Бухарине думать, но не говорить.

Итак, стал я порученцем при Мехлисе, выполнявшем на финском фронте роль специального уполномоченного Сталина и наводившего страх на командование. В то время, когда я прибыл на маленькую замусоренную станцию, Мехлис был занят «наведением порядка» в интендантской службе, хотя вряд ли это помогало снабжению войск. Принял меня Мехлис в станционном помещении. Несмотря на то, что в комнате было жарко натоплено, он был в длинной, до пят шинели и в меховой офицерской шапке. На боку у него висел маузер в деревянном футляре. Таким оружием в годы гражданской войны вооружались старшие командиры, особенно же любили их комиссары. Ношением этого устарелого оружия Мехлис словно хотел напомнить о своей роли в гражданской войне, которую он всегда непомерно преувеличивал, вызывая злые насмешки.

Кивнув мне головой, Мехлис продолжал разговаривать с полковником интендантской службы, разложившим перед ним карту фронтового района. Я ждал и с каким-то самому мне непонятным недружелюбием прислушивался к строгим начальственным замечаниям Мехлиса, которого я несколько раз встречал в Москве и, признаться, побаивался. Было известно, что он близок к Сталину. Мне трудно сказать, почему, но Мехлис, сам еврей, был люто нелюбим евреями-журналистами. Несколько моих товарищей, евреев, иначе не называли Мехлиса, как Левушка Прохвостов.

В газетном мире Мехлис был полновластным хозяином. Единственным человеком, которого сам Мехлис побаивался, был Артем Халатов, соревновавшийся с Карлом Радеком в изобретении острых шуток и почему-то избравший Мехлиса объектом насмешек. Побаявывая Артема Халатова, Мехлис предпочитал не показываться в Московском Доме Печати, где бородатый и буйный Артем, тоже имеющий свой вход к Сталину, был долголетним председателем правления.

Особенно злые шутки пускал Халатов по поводу воинственности Мехлиса и его роли в гражданской войне. Однажды Мехлис, состоявший редактором «Правды», имел неосторожность пропустить в газете несколько строк, посвященных ему лично. Отмечалась годовщина каких-то боев на Волге, и в исторической справке было сказано, что в самый критический момент боев прибыл Лев Мехлис и лично повел в атаку кавалерийские отряды.

Это еще было ничего, может быть, и правде соответствовало, но составитель справки, в неудержимом стремлении услужить Мехлису, написал, что Мехлис прибыл на белом коне. Этот-то белый конь и стал источником многих несчастий для Мехлиса. По рукам ходила злая сатира, несомненно, принадлежавшая Халатову и называвшаяся «Исследование о белом коне и всаднике под ним». Среди газетных художников было устроено негласное соревнование на изображение описанного в «Правде» эпизода. Особенным успехом пользовалась серия из четырех маленьких рисунков, сделанная по идее самого Халатова. На первом рисунке дебелая женщина усаживает на белого коня плачущего Мехлиса. На втором конь брыкается, и Мехлис еле удерживается на нём, вцепившись в гриву. На третьем – конь скачет, а Мехлис постепенно сползает к хвосту и с ужасом смотрит назад, словно желая видеть, как длинен конь. На четвертом Мехлис повис на самом хвосте скачущего коня и кричит: «Этот конь уже кончился, давай другого».

Говорили, что Мехлис обращался к Сталину с жалобой на Артема Халатова, но тот опередил и повеселил «хозяина» рисунками.

Но то, что было позволено Артему Халатову, не было позволено всем другим. Мехлиса боялись и старались не вызвать его гнева, зная, что одного его слова достаточно, чтобы судьба каждого из нас стала сомнительной.

Полковник свернул карту и ушел, а Мехлис утомленно закрыл глаза. Это была его особенность, подчеркнуто демонстрировать свою усталость. Но на этот раз Мехлис был и вправду утомлен. Покрасневшие веки, мутный взгляд, серый цвет лица – всё подтверждало это. Вероятно, Мехлис мало спал в эти дни, тревожные и напряженные. Молчал Мехлис, молчал и я, думая о том, что этот курчавый человек с хищным носом снова идет вверх. Перед войной с финнами его положение очень пошатнулось. Ему не хватало выдержки и расчетливой сноровки Гамарника, и поэтому в батальных с генералитетом он подорвал свой личный престиж. Гамарник, при всех его выдающихся качествах, вынужден был пустить себе пулю в лоб. А как справится с задачей Гамарника Мехлис? И восстановит ли он свое пошатнувшееся положение? Назначение его на роль чрезвычайного уполномоченного Сталина как будто дает ему эту возможность.

Мехлис вздохнул, провел ладонью по глазам и, поднявшись со стула, стал ходить по комнате. Маузер в деревянном футляре неуклюже болтался на боку.

– Карелов сообщил вам причину вызова вас ко мне? – спросил Мехлис. Не дожидаясь ответа, продолжал: – мне нужна группа культурных и исполнительных командиров для выполнения поручений. Я думаю, что вы подойдете для этой роли. Самая главная ваша задача будет состоять в том, чтобы донести до надлежащих лиц точный смысл моих приказаний. Повсюду происходит чудовищная путаница и приходится принимать экстренные меры. Вы должны наблюдать за тем, чтобы смысл приказов воспринимался точно... Для начала вы отправитесь в штаб...

Мехлис назвал штаб корпуса, куда я должен был отправиться. Мне предстояло побывать в полках этого корпуса и потом доложить Мехлису, как обстоит дело с продовольственным и вещевым снабжением.

– Начальник контрольного отдела интендантства, которого вы только что здесь видели, утверждает, что в этот корпус доставлен полный комплект зимнего обмундирования, а я в этом сомневаюсь. Несколько дней назад я имел донесение, которое совершенно иначе рисует картину. Я хочу знать, кто прав и как снабжен корпус обмундированием и продовольствием.

Так попал я на участок фронта, где в это время происходили бои за овладение линией Маннергейма.

В замороженном мире

В бесплодных попытках потеснить финнов прошел декабрь и наступил январь. Ожидаемая военная прогулка превратилась в затяжную позиционную войну. Финская армия мужественно защищала свою маленькую страну. Громада советской армии уперлась в непроходимую линию финских позиций и неуклюже топталась на месте.

Вскоре был я в полках 45-й горно-кавалерийской дивизии, привезенной сюда из горячих полупустынь Туркестана, где она

имела постоянную стоянку. Хотя дивизия и продолжала именоваться горно-кавалерийской, но ничего горного и ничего кавалерийского в ней уже не было, кроме шпор на сапогах некоторых командиров. Она была переброшена из Туркестана без своего конского состава, что было лучше для людей, и, особенно, для лошадей. Ее «с ходу» выдвинули на передовые позиции, штурмовала она финские укрепления, понесла существенные потери и, отойдя на исходные позиции, пристыла на них. Единственным ее занятием стал обстрел финских позиций из горных пушек. Их способность бросать снаряды по сильно изогнутой траектории причиняла финнам сильное беспокойство.

В ту пору суток, когда нельзя определить, наступил уже день или всё еще продолжается ночь, мы отправились на боевой участок одного полка горно-кавалерийской дивизии. Командир полка прислал за мной троих бойцов. Днем мы говорили с ним по телефону, и хоть разделяло нас расстояние всего километров в пять, но пройти к полку не было никакой возможности. Ближайший тыл кишел финскими снайперами, а дорожки, протоптанные в снегу, были засечены на картах финнов и методически обстреливались их артиллерией. Связь с полком поддерживалась только ночью, да в ранние утренние часы, когда морозный туман делает всё вокруг невидимым.

Мы шли по лесной тропинке, находя ее скорее не зрением, а чувством. Впереди меня еле мерещилась широченная спина солдата, и надо было держаться ему в затылок, чтобы не сбиться с протоптанной тропинки и не влезть в сугроб. Иногда это не удавалось, и тогда идущий впереди и двое других сзади приостанавливались и молча ждали, пока я выберусь из сугроба. Один из идущих сзади при таких остановках смачно отплевывался и высоким женским голосом говорил: «Ну, и природа, растакую твою». Было непонятно, говорит он об окружающей нас природе или обо мне, не умеющем ходить в темноте по лесной тропе и попадающем в сугробы. «Сейчас светать будет», – откликнулся тот, что был впереди. Опять было непонятно, почему он это говорил. То ли затем, чтобы подбодрить меня, так как при свете мне легче будет пробираться лесной дорогой, то ли торопил, так как с наступлением дня всё движение по этой дороге замрет.

Изредка, то впереди, то сзади нас, рвались снаряды, но мои провожатые никакого интереса к ним не проявляли. Только в одном случае тот, что шел впереди, проговорил:

– Это они, чтобы по дороге не ходили. Да ведь ночью им не видно и стреляют наугад. А днем у них колбаса поднимается, и с нее всё видно. Днем тут не погуляешь.

Ночная муть становилась прозрачнее, и солдаты заторопились. Стала видна спина идущего впереди, обозначилась узенькая ленточка тропы. По сторонам высились деревья, но это были деревья-мертвецы. Тропа вилась через огромное лесное кладбище. Снаряды превратили лес в частокол обрубленных осколками, расщепленных до самого корня обезображенных стволов. В рассветной полутьме всё это выглядело чем-то фантастическим, перенесенным из страшных сказок.

В истерзанном лесу располагался полк. Командир полка, Нестеров, которого я встречал в Средней Азии, когда он еще командовал эскадронам, ждал меня в закопченной землянке, вырытой в небольшом лесном овраге.

– А я уже думал, что вам на хвост сели финские кукушки, – весело проговорил он, пожимая руку. Кукушками прозвали финских снайперов, пробравшихся в советский тыл.

До полудня я сопровождал Нестерова по эскадронам. В траншеях, отрытых на опушке леса, оставались только дозоры, а основная часть полка отсиживалась по землянкам, где горели костры и было хоть и дымно, но тепло.

После обхода полка Нестеров отправился в штаб, находившийся тут же, в землянке, а я пошел вслед за бойцами, пробравшимися с котелками куда-то вглубь расстрелянного леса. Меня мучил голод, и я знал: куда солдат с котелком пошел, ищи там полевую кухню. Так оно и было. На небольшой полянке в лесу дымили несколько полевых кухонь.

Получив от кашевара котелок супа и ложку, я стал оглядываться, ища место, где бы можно было присесть.

По краям полянки сидели бойцы, и я направился к ним. Какой-то молодой солдат с лицом, укутанным полотенцем так, что оставался видным только кончик носа и рот, услужливо приподнялся и предложил мне свое место. Я опустился на короткое

бревно, но в тот же миг понял, что подо мной не бревно, а что то другое.

– Да вы садитесь, товарищ командир, – раздались голоса, когда я вскочил. – Они этого не чувствуют, и им всё равно.

То, на что я опустился, было трупом, смерзшимся и присыпанным снегом. Бойцы сидели и ели суп на трупах своих товарищей, замерзших или убитых. Голод сразу пропал, и я отдал котелок с супом бойцу, уступившему мне место. Он снова опустился на смерзшийся труп и погрузил ложку в котелок, а я стал обходить опушку. Трупы образовали круг и ими были отмечены границы полянки. Они лежали, устремив замороженные лица в небо, или уткнувшись ими в землю. Я перчаткой стряхивал снег с мертвых лиц. Смерть всех делает одинаковыми, но тут было много мертвых, сохранивших черты восточных людей. В горнокавалерийской дивизии отбывало службу много жителей средней Азии Узбеки, таджики, туркмены. Жители теплых стран, они должны были пасть первыми жертвами суровой северной природы.

У трупов, к которым я направился, пересекая полянку, копошился какой-то боец. На нем был огромный полушубок, носивший следы ожогов у костра. Из дыр высовывался мех, грязный и обгорелый. Боец запускал руку в карманы мертвых и что-то искал в них. Я остановился около него. Он поднял ко мне свое маленькое, обтянутое коричневой кожей лицо с птичьим носом и ждал. На мой вопрос, что он делает, он ответил вопросом же:

– Что ж, и покурить уже нельзя, что ли?

В его словах сквозила откровенная враждебность. Боец, видно заядлый курильщик, обшаривал карманы мертвых в поисках махорки. Я хотел было сказать ему, как это в самом деле нехорошо, так бесцеремонно обращаться с мертвыми, но боец вскочил на ноги и вытянулся. К нам подходил Нестеров.

– Опять мертвых потрошишь? – сердито спросил он. – Ведь третий раз застаю тебя за этим занятием, приказывал мертвых не обшаривать, а ты всё-таки тревожишь их.

Боец стоял навывтяжку, и видно было, что слова командира полка на него никакого влияния не оказывают. Да и сам Нестеров не придавал им значения, так как, сказав это, пошел в сторону дымящихся кухонь. У меня в кармане была пачка махорки, и я извлек ее. Руки бойца, сложенные ковшиком, словно он прини-

мал благословение, дрожали, когда я отсыпал ему махорки, и он скороговоркой старался оправдать свое поведение:

– Я мертвяков боюсь, будь они неладные, да что ж делать, когда курить совсем не выдают? А так бы я с полным почтением к ним, мне что? Однако же пустое это занятие, табаку не найдешь даже у мертвых. Наши всё по карманам у них шарят. А попадаюсь командиру полка я один. Всю жизнь не везет...

– Человек с сотню перемерзло, – рассказывал мне Нестеров. Я ждал, пока он покончит с котелком супа. Ему, как командиру полка, кашевар оказал особую честь и подставил пенек, на котором рубилось мясо. Не будь этого пенька, и я не поручился бы, что Нестеров, по примеру других, не уселся бы на мертвое тело. Говорил он о замерзших равнодушно.

– Помните, в нашем полку было два эскадрона, укомплектованные узбеками, таджиками и туркменами. Народ к зиме никак не приспособленный. Когда нас привезли сюда, стали они нестерпимо страдать от холодов. Мы их старались получше одеть, выдавали по две и по три пары теплого белья, не посылали в дозоры. Однако же, замерзали. Только когда человек с сотню перемерзло, разрешили нам отправить туркестанские эскадроны в тыл. Собственно, и отправлять-то к тому времени было почти некого, многих в госпиталь увезли обмороженными, других на эту поляну.

Пермский полк

Трагикомический эпизод, связанный с именем пермского полка, был широко известен на финском фронте.

В состав войск, сражавшихся на Карельском перешейке, находилась стрелковая дивизия из Перми, а к этой кадровой дивизии был приписан 111-й стрелковый полк, весь состоящий из колхозников, призванных из запаса. Я попал в этот полк лишь по той причине, что поступало из него необычайно много жалоб и просьб. Мехлис приказал «изучить» обстановку в полку, а тут и изучать-то было нечего. Достаточно было взглянуть на бородатых пермяков, чтобы сразу решить, что у этих людей множество

дел, которые зовут их домой. Всё это были люди в летах, полармейским, конечно понятиям. Завидят бойцы из других частей тридцати-тридцатипятилетних пермяков и обращаются к ним не иначе, как «эй, деды!». Другие части молодежью регулярного призыва были укомплектованы, а этих зачем-то из запаса извлекли, да на фронт послали. У иного из них в деревне куча детей осталась. В колхозах трудно было крестьянским семьям. Без главного кормильца дети голодали.

Вот и писали пермяки жалобные прошения об отпуске из армии, слали их «по инстанции», попадали они в штаб дивизии и дальше не шли, а в штабе их рассматривать было некому и некогда.

В 111-й Пермский я приехал как раз тогда, когда новая забота стала одолевать полк – снайперы. Они пробирались в тыл полка, и такого страха нагнали, что днем всякое движение по тылу прекращалось, питание не подвозили, почта не приходила. Полк был расположен на спокойном участке фронта и особой боевой активности не проявлял. Командир полка, пожилой офицер из подпоручиков царской армии, не скрывал, что вверенный его командованию полк мало приспособлен для боевых операций. Показывая мне видимую вдаль темную лошину, он рассказывал, что дальше этой лошины полк не смог наступать. Наступали четыре раза, и всё только до этой лошины.

– Как дойдут до нее, так и поворачивают назад. Никакими приказами не остановишь, – сетовал командир полка.

Оказалось, что пермяки и сюда, на финский фронт принесли свое особое отношение к явлениям. Когда их в первый раз повели в наступление, они пошли. Но когда приблизились к лошине, финны ударили по ним из пулеметов и минометов и заставили торопливо отступить к лесу.

– Отступать-то, собственно, незачем было, но как их удержишь? Бежит такой боец, борода от ветра по груди стелется, из-под валенок, как из-под конских копыт, снег летит – останови его, попробуй!.. После каждого наступления посылаю младших командиров брошенные винтовки собирать, – говорил командир полка.

За первым наступлением было второе и третье. Но дальше лошины – ни ногой. В последнем наступлении, бывшем за три

дня до моего приезда в полк, финны шутку над пермяками сыграли. Полк наступает, а финны молчат. Дошли до лощинки и пермяки стали назад поворачивать. Командиры пистолетами грозят, а пермяки вперед не желают идти. Дальше путь для них незнакомый. А в это время страшный вой вокруг поднялся и так этот вой бойцов напугал, что они в двадцать пять минут на свои исходные позиции вернулись.

– До лощины наступали три часа, а обратный путь покрыли меньше, чем в полчаса, – иронически говорил командир полка. – Да еще при этом отчаянно кричали, что противник «новую оружку» применил.

Посланные командиром полка разведчики из числа младших командиров доставили «новую оружку» финнов. Это были обычные ручные сирены, если крутить их ручку, они издают пронзительный вой. Десятком таких сирен финны отбили наступление пермского полка. Надо думать, что веселились они при этом немало.

И вот этот полк был облюбован финскими снайперами. В этом тоже ничего особенного не было – по всему фронту снайперы проникали в наш тыл и приносили беспокойство. Но расстроенное воображение пермяков наделило снайперов какими-то особенными, почти нечеловеческими качествами.

Что меня поразило, так это деловитость, с какой полк устроил свою стоянку. Окопы были укреплены бревнами, землянки имели два входа, а внутри довольно удобные нары из бревен, покрытые толстым слоем веток и кусками брезента. Повсюду были шалаши, землянки, высились пирамидки аккуратно напиленных и наколотых дров. Дальше, в глубине леса, пермяки даже баньку в яме устроили.

Одним словом, вполне можно было бы жить, не появившись в тылу полка снайперы-финны, которые отравляли жизнь пермяков. Прежде всего, они перестреляли все кухни, не в чем стало не то, что суп, даже чай согреть. Передвигаться в расположении полка стало опасно. Боец портянки снегом отстирает, на дерево проморозить повесит, а подойти потом не может. Как сунется за портянками, снайпер начинает пули в дерево всаживать. По лесу команда охотников за снайперами бродила, да найти никого не могла. Снайперы бездымным порохом стреляли и в ветвях

деревьев прятались. Одетые в белые халаты, они становились неприметными.

Напуганные снайперами, пермяки как-то не замечали, что хоть и стреляют те, а убитых нет, только несколько легко раненых. Обыкновенно, снайпер, заметив кого-нибудь на тыловой дорожке, начинал класть пули под ноги идущему, и тому приходилось с большой скоростью искать укрытия. При этом иногда и ранили бойцов, но в количестве, которое должно было бы почитаться небольшим, так как соседним полкам снайперы причиняли значительно большие потери. Однако же, в пермском полку заговорили о том, что, почитай, половина полка снайперами уже перестреляна.

В первый день моего пребывания в полку совершилось нечто из ряда вон выходящее. Рано утром, еще до рассвета, трое бородатых пермяков отправились в баню, вырытую в лесу. Они рассчитывали до наступления дня попариться и вернуться. Натопили баню. Раздеваться надо было снаружи, а потом голым в яму лезть и там из ковшика горячей водой поливаться. Одеваться опять наружу вылезай и, надо сказать, одевание на морозе всегда было молниеносным.

Не рассчитали бойцы времени и, когда закончили париться, уже было довольно светло. Полезли они, было, наружу, да не тут-то было. Как кто голову из ямы высунет, так пуля рядом снег фонтаном поднимает. Приметил снайпер любителей бани. Держал он их в яме часа два. Бойцы орали дикими голосами, да банька далеко в лесу вырыта была, и голоса до расположения полка не доносились. А тем временем вышли все дрова, и яма стала остывать. Мороз был трескучий, и предстояла бойцам лютая смерть в могиле-бане. Тогда бросили жребий, кому вылезать и пытаться вызвать помощь. Тот, кому ради товарищей приходилось жизнью рисковать, выпрыгнул из ямы, но в это время пули стали у его ног ложиться. Не до одевания тут было, и ударился боец нагишом в сторону расположения полка. Он бежал, а снайпер пулю за пулей ему под ноги клал, и каждая пуля повышала резвость голого бегуна.

С диким ревом промчался голый бородатый человек по расположению полка и со всего разбега прыгнул в землянку, до смерти напугав ее обитателей. Сотни бойцов видели бегущего, и это им

показалось признаком надвигающейся на всех беды. Побежали бойцы в тыл, а те, которые ничего не видели, увидев бегущих, помчались вслед. Началась паника. Бородатые бойцы скакали на конях, принадлежавших пулеметной роте. Дико хлестали бока коней кашевары, бросившие свое хозяйство.

Я находился в штабной землянке, когда всё это произошло. Мы слышали крики и топот многих ног. Командир полка, а за ним и мы все, выбежали наружу. Перед нами предстала совершенно новая картина. За четверть часа до этого, когда я шел в штабную землянку, вокруг было безлюдно. Люди прятались от мороза и от снайперов, которые могли оказаться поблизости. Теперь же я видел толпы убегающих бойцов. Все направлялись в тыл. На меня набежал бородатый пермяк с налитыми безумием глазами.

– Всех под чистую-та вбивают, – прокричал он. Командир полка и командиры рот пытались задержать бегущих, но паника охватила бойцов и они, услышав крики командиров, только подбавляли скорость.

Километров пять мы бежали вслед за полком и, наконец, настигли его на большой лесной поляне. Бойцы стояли сгрудившись, а вокруг них цепью расположились автоматчики из отряда войск НКВД. За день до этого я ночевал в расположении отряда, который, как мне говорили, находится в резерве корпусного командования. Теперь ясно стало, для чего стоял тут этот отряд.

Полк был разоружен. Винтовки были свалены горой в стороне. Командир отряда НКВД, по-видимому, серьезно считал, что в данном случае имеет место бунт полка, и по его приказу на сгрудившийся полк были направлены пулеметы.

Появилось напуганное дивизионное начальство. Выслушав доклад командира полка, оно повеселело. Не бунт, а паника, это уже не было так страшно для начальства, которому, случись настоящий бунт, было бы несдобровать.

Комиссар дивизии устроил митинг.

– Как же это, товарищи, родина в опасности, а вы покинули боевой пост! – кричал он с пенька. А бойцы в это время орали ему в ответ:

– Половину полка у нас, чай, перебили.

– Мы-то воюем-воюем, а другие в тылу стоят. Какой-то бородатый боец взобрался на пенек и загудел басом в сторону комиссара дивизии:

– Как же, товарищ, Рассея вон она какая большая-то, а воюют одни пермские.

Пермякам и на самом деле казалось, что вся война сконцентрировалась на участке их полка, а так как их участок был изолированным, то откуда же пермякам было знать, что не одни пермские воюют?

Полк вернули на позицию, и случай постарались предать забвению, но с тех пор на всём фронте можно было услышать шутовское утверждение, что воюют одни пермские.

Пока разыгрывался весь этот эпизод, два бойца, оставшиеся в бане, замерзли насмерть.

Но снайпер был пойман в тот же день. Комиссар дивизии приказал послать несколько отрядов на его поимку, и перед вечером его всё-таки нашли. Он пристроился на дереве и выдал себя неосторожным движением, при котором с дерева посыпался сухой снег. Сдался он без сопротивления, и его привели в пермский полк.

Оказался он совершенным юнцом, лет восемнадцати. В Выборге остались его мать и сестра. Готовился к мирной профессии дантиста, а когда началась война, напросился в снайперы, и после трехнедельной подготовки был послан в тыл красной армии. Я увидел его, когда он стоял у полевой кухни и с аппетитом поедал разогретые мясные консервы. Молодое, худое лицо с резко выделяющимися скулами, поросло рыжеватой порослью. Оно было настолько обычным, что многим бойцам становилось не по себе от мысли, что этот мальчишка наводил страх на весь полк. Пленный уверял, что ни одного другого снайпера в тылу этого полка нет, а всё делал он один. Юнец довольно хорошо говорил по-русски, во всяком случае, много лучше, чем пермяки. Извлекая из банки консервы, он дружелюбно озирался вокруг, и в его глазах светилось любопытство. Бойцы окружали его тесной толпой.

– Да невжели же этот шпингалет?

Этот и другие возгласы раздавались вокруг, а «шпингалет» с явным удовольствием ел консервы и вежливо говорил ближайшим к нему бойцам:

– Вы знаете, господа, я две недели не имел горячего.

– Ишь ты, господами именует нас, – с каким-то удивлением прокричал высокий костлявый солдат.

– А чего же, он вполне нас господами может называть, раз он из капиталистического окружения. Он этим господам, можно сказать, две недели скипидарил под хвостом, так что господам небо в овчинку казалось. Контра разнесчастная.

Это проговорил тот солдат, которому пришлось утром бежать голым от бани. Но в ответ сразу раздалось несколько голосов.

– Ты его не трожь!

– Он-та салдат, и его дело-та сопливое. Куда послали, туда-звать и идет.

Когда снайпер покончил с консервами и вытер грязные пальцы о свой белый маскхалат, к нему протянулось несколько солдатских рук с кисетами. Это уже было знаком особого уважения, так как табак был в то время самым дефицитным товаром.

Снайпер отрицательно покачал головой, давая понять, что он не курит.

Через неделю я видел в наших газетах портрет юноши-снайпера. Сообщалось, что он обратился к финским солдатам с призывом прекратить сопротивление. Я не поверил, что этот юноша предал своих. Я помнил, как он ответил политруку, подошедшему к нему в Пермском полку и сказавшему:

– Страна наша передовая, социалистическая. Мы растем, а ты против нас сражаешься.

– Ну, и росли бы куда вам угодно, а нас оставили в покое, – ответил тогда юноша, и в глазах его я увидел холодность и решительность. Нет, такой легко не мог быть сломлен. В этом я был убежден.

Жизнь и смерть Сергея Стогова

Воина и связанные с ней лишения, беды, усталость притупляют чувства людей, вселяют равнодушие ко всему на свете и даже собственную жизнь делают не столь уж значительной.

Сергей Стогов, солдат 92-го саперного батальона, как могло показаться, мало дорожил собственной жизнью, и потому про-

славился он храбростью. Под огнем финнов, волоча за собой са-лазки с взрывчаткой, подобрался он к финскому ДОТУ и взорвал бы его, если бы не помешала собственная артиллерия, открывшая в это время огонь по финским позициям и ранившая смелого сапера-подрывника. Ночью приполз он назад к своим позициям. После недельного пребывания в госпитале, вернулся он в строй. На груди его красовался орден красного знамени.

Но если Сергей Стогов был, более или менее, равнодушен к собственной своей жизни, то жизнь его родителей, жены и детей, оставшихся в селе Кривое Колено Воронежской области, переполняла всего его жгучей тревогой. Из села приходили письма, повергавшие солдата в великое смятение. Отправители писем, за неимением конвертов, посылали их сложенными треугольником и обернутыми в газетную бумагу. Каждое такое письмо заставляло Стогова снова идти к командиру роты, к политруку всё с той же просьбой – отпустить его на побывку.

Но все просьбы бойца разбивались о несокрушимое упорство политрука роты.

Это был молодой коммунист, студент Института красной профессуры. В начале финско-советской войны напросился он на низовую политическую работу в армии, принадлежал он, следовательно, к редкой уже в то время породе коммунистов-энтузиастов. Молодой политрук слыл в дивизии образцовым работником, неутомимо «воспитывал» бойцов и потому вызывал к себе неприязнь и вражду. Справедливости ради, надо сказать, что был он не лишен личной храбрости и неизменно в наступлениях был впереди своей роты. А саперный батальон, о котором идет речь, занимал участок передовой линии и выполнял роль обыкновенной пехотной части. Саперных работ на фронте было мало.

Я в то время был занят непривычным для меня делом расследования. В частях той дивизии, к которой принадлежал 92-й батальон, солдат убил младшего командира. Такие случаи происходили и до того. Мехлис заинтересовался происхождением такого рода убийств и приказал своим порученцам изучить вопрос.

Солдат, убивший младшего командира, был арестован и содержался при штабе дивизии. Мне позволили ознакомиться с делом и несколько раз беседовать с убийцей. Ко мне приводили неуклюжего, похожего на медведя великана. До войны он был рабочим

судоремонтной мастерской в Ростове на Дону, но, насколько я мог понять, это была лишь часть его биографии. Сидел он в тюрьме за ограбление кассира. Потом был арестован по подозрению в убийстве. В разговоре он пользовался жаргоном и слова «блат», «мокрое дело», «шмара» постоянно срывались с его языка. Медведеобразный гигант принадлежал к обширному миру урок, это было совершенно ясно. Достаточно было посмотреть на его огромный череп с узким лбом и приплюснутыми ушами, чтобы все сомнения на этот счет отпали.

Даже при моей неопытности в такого рода исследованиях, я мог сделать безошибочный вывод, что в данном случае имеет место убийство уголовного характера. Беседа с бойцами того взвода, в котором был Симоненко – это фамилия убийцы – лишь укрепила меня в этом выводе. Убитый им отделенный командир пользовался уважением бойцов. Колхозник из Ленинградской области, он ничем не отличался от бойцов своего отделения. Но Симоненко люто возненавидел отделенного командира. Родилась эта ненависть после того, как отделенный командир обнаружил в вещевой сумке Симоненко ручные часы, украденные у другого бойца. Случай ничтожный, часы были старые и испорченные, но Симоненко почувствовал в отделенном своего личного врага и называл его не иначе, как лягавым.

Вражда развивалась, а в солдатской жизни, если она уже завелась, причин для нее всегда найдется много. Отделенный командир посылал в наряд, Симоненко спорил и поносил отделенного последними словами. Долго терпел отделенный, а потом доложил по начальству. Дали Симоненко пять дней ареста, отбываемого при части. Командир батальона посылал Симоненко на самые тяжелые работы и в самые тяжелые наряды. Жизнь в отделении должна была показаться ему раем. Потом его вернули. Затаил Симоненко лютую ненависть к отделенному командиру. Когда батальон был послан в наступление, отделенный командир погиб. Его убил Симоненко выстрелом в спину. Разъяренные бойцы, на виду у которых это произошло, связали Симоненко и доставили в штаб батальона, а оттуда его перевели в штаб дивизии.

Казалось бы, дело Симоненко совершенно ясное. Налицо было убийство своего командира, вызванное личной ненавистью к нему. Убийство вероломное, отвратительное по своей природе. За

это преступление в условиях войны, когда оружие в руках преступника становится страшным для окружающих, следуют только одно наказание: расстрел. Но тут обнаружилось, что такого простого подхода в этом случае не может быть. То ли кто-то научил Симоненко, то ли сам он додумался, но на следствии он стал уверять, что убил отделенного командира, так как тот хотел увести их в плен к финнам.

Устав красной армии тогда представлял любопытную аномалию. Требуя от бойца безусловного послушания приказам командира, он в то же время, делал оговорку: кроме случаев, когда командир отдает контрреволюционное приказание.

У Симоненко не было никаких доказательств, что убитый им хотел увести бойцов в финский плен, но он упорно стоял на своем и уверял, что отделенный отдал ему приказ перебежать к финнам и предупредить их, что всё отделение сдастся в плен. Эта неуклюжая выдумка парализовала военно-следственные власти, и они не знали, как им поступить. Военно-полевой суд над Симоненко назначен не был до получения инструкций.

Только что я закончил ознакомление с делом Симоненко и еще не написал рапорта о нем, как в штабе дивизии получилось донесение, что в 92-м саперном батальоне боец Сергей Стогов убил политрука роты. Так как такие донесения молниеносно доходят до самых верхов армии, то в тот же день я получил приказ Мехлиса ознакомиться и с этим случаем.

Стогов был привезен в штаб дивизии и содержался отдельно от Симоненко. Его привели ко мне в лесную сторожку, занятую начальником штаба дивизии. Два часовых остались за дверью. В лесном домике было почти темно. Растущие у самых окон ели затемняли внутренность домика. Стогов стоял у двери и молча ждал, а я силился рассмотреть его. На мое приглашение подойти поближе, Стогов сделал несколько шагов в мою сторону и опять остановился. Теперь мне было видно его тонкое, измученное усталостью лицо. Беловатые волосы и брови как бы еще сильнее подчеркивали бледность молодого солдата. Он был худощав, мал ростом, узкоплеч.

– Садитесь, Стогов, – предложил я, подвигаясь на скамейке, чтобы освободить для него место.

– Ничего, я постою, – тихим голосом откликнулся Стогов.

Пришлось взять его за рукав полушубка и усадить рядом с собой.

Тихим голосом Стогов рассказывал, а я слушал, и передо мной раскрылась пропасть потерянной жизни. Сергей Стогов, всё образование которого закончилось в школе первой ступени, скромный и застенчивый деревенский паренек, рано женился. Есть люди, у которых неутолимая жажда любви преобладает над всеми другими чувствами. Сергей был из таких. В каждом его слове звучала боль и тревога за родных. Родила ему жена двоих малышей. Чтобы лучше было жене, детям, родителям, работал Сергей в колхозе не покладая рук и числился ударником. Прошлым летом призвали его на военную службу. Ушел он встревоженным за семью. Его несколько успокаивало лишь то, что в колхозе он заработал три сотни трудодней. Осенью семья получит по ним хлеб от колхоза, и как-нибудь перебьется до его возвращения.

В тот год в Воронежской области произошла одна из обычных неурядиц. Государственный комитет заготовок наложил такие налоги, что, после их выполнения, для колхозников ничего не оставалось. Ошибка была вскрыта, но, вместо того, чтобы вернуть крестьянам неправильно отобранный у них хлеб, областное начальство решило выдавать в ограбленных деревнях по полкилограмма хлеба в день на едока. Выпекать хлеб было негде, мука разворовывалась, и в ряде районов начался голод. Особенно в тяжелом положении оказался родной район Сергея, Кривоколенный.

Жена писала Сергею письма, и из них он знал, что семья голодает. Эти письма я читал еще до того, как увидел Сергея. Они были у него отобраны при аресте и приобщены к делу.

«А еще отписываю тебе, родной Сергуня, что Ксюша засовсем распухла и уже не плачет. А сегодня она спросила, чи приедет батя, чи не».

Эта фраза из письма жены Сергея мне запомнилась на всю жизнь. В письмах малограмотной крестьянки описывалась трагедия крестьянской семьи. Сообщалось сначала о смерти матери. Потом умер отец. За ним следом письмо принесло весть о смерти сына. Ксюша было последним, что привязывало Сергея к жизни.

Сергей был уверен, что получи он отпуск хоть на один месяц – и семья будет спасена.

– На коленях просил политрука, не помогло, – тихо и печально рассказывал он.

Студент Института красной профессуры был очень хороший политрук. Поэтому всё человеческое ему было чуждо. Он видел в Сергее не страдающего человека, а заблуждающегося гражданина Советского Союза, который в минуту «грозной опасности» смеет думать о своем личном. Для него бойцы были прежде всего исполнителями высшей воли, и выразителем этой воли был он, политрук роты и коммунист. Все обращения к нему Сергея шли вразрез с усвоенными политруком книжными представлениями. Когда командир роты, внемля мольбам солдата, обратился по начальству с просьбой дать Стогову отпуск, политрук не только не допустил, чтобы эта просьба была исполнена, но и добился смещения командира роты.

Сергей Стогов стал искать подвига. Он думал, что за проявленный им героизм, его обязательно отпустят в отпуск, и семья будет спасена. Он даже не возражал против того, чтобы быть раненым, но только рана должна быть «подходящей», дающей право уехать на родину для излечения.

– Они думают, что я за орден старался, а в самом деле я думал, что после того, как храбрость покажу, домой меня отпустят, – рассказывал Сергей.

Но не повезло. Рана оказалась такая, что не давала права бойцу домой попасть, а вместо отпуска наградили его орденом.

Стогов тихим своим голосом рассказывал, а я мучительно искал для него выхода из мертвого круга. И не находил. Мелькнула было мысль, рассказать ему о Симоненко и о его способе самозащиты, не воспользуется ли этим приемом Стогов? Но мысль эту пришлось отбросить. Примерный политрук, убитый Стоговым, проверенный коммунист, и никто не поверит, в то, что он отдавал «контрреволюционные приказы».

– Конечно, убивать нельзя, и я жалею, что сделал это, – говорил Стогов, поникши головой. – Однако же, должен был политрук внять моему горю или нет?

Стогов строго смотрел на меня своими ясными, печальными глазами, словно ждал ответа на его вопрос.

– Расстреляют меня, – еще тише произнес он, снова поникая головой.

Да, выхода не было. Единственное, думал я, что могло бы спасти солдата, это признание его психически ненормальным. В моем рапорте Мехлису я, словно утопающий, держался за соломинку этой надежды. Я высказал в рапорте два соображения. Первое: семья, погибающая от голода, должна была бы дать солдату право на отпуск для ее спасения. Если нет, тогда должны были быть приняты другие меры для спасения семьи. Политрук обязан был обратиться в политотдел дивизии, а тот – к местным властям в Воронеже, которые должны были помочь семье солдата. Политрук этого не сделал, как не сделали и другие командиры и политработники, к которым обращался Стогов.

Второе мое предположение было совсем уже шатким. Я высказывался в том смысле, что письма семьи могли привести Стогова в состояние невменяемости, и прежде, чем предавать его военно-полевому суду, следует устроить врачебно-психиатрическую проверку.

Мой рапорт я вручил Мехлису лично. Пока он читал, я сидел и чувствовал, как во мне всё дрожит от нервного ожидания. Судьба Стогова как будто стала моей собственной судьбой. Всё зависело от Мехлиса, который равнодушно читал мой рапорт.

– Я с вами не согласен. Боец не виноват в убийстве, – проговорил Мехлис, откидываясь на спинку стула.

На какую-то долю мгновения во мне вспыхнула радость. «Боец не виноват в убийстве», – сказал Мехлис. Но радость, не успев вспыхнуть, погасла. Я так был взволнован судьбой Стогова, что совершенно не думал о первой части рапорта, относящейся к делу Симоненко. Мехлис продолжал читать. Перевернул последнюю страницу. Барабанил пальцами по столу. Долго молчал.

– Вы мало осмыслили это явление, – проговорил он. – Вы не уяснили принципа нашей армии, построенной на взаимном контроле. Командир отдает приказы, но бойцы их контролируют. Боец Симоненко типичный случай советского патриотизма, вы же в нем усмотрели лишь мелкого убийцу. И, напротив, Стогов, убивший политрука, совершил тягчайшее преступление, за которое... Вы понимаете?

– Но ведь многое говорит за то, что Стогов совершил убийство в невменяемом состоянии, – попытался я возразить.

– Это деталь, не заслуживающая внимания, – равнодушно махнул рукой Мехлис. – В военно-полевых условиях мы не можем заниматься такими тонкостями, как психиатрия. К тому же существует потребность показать всей армии, что жизнь политработников неприкосновенна. Я жалею, что поручил это дело вам. Вы совершенно ложно истолковали оба случая.

Через несколько дней в фронтовой газете появился рассказ о бойце-патриоте Симоненко. С газетного листа нагло ухмылялась рожа убийцы с узким лбом и приплюснутыми ушами. А на последней странице газеты было помещено короткое сообщение о том, что боец М-ного саперного батальона Сергей Стогов за убийство политрука, приговорен к расстрелу, и приговор приведен в исполнение.

Мне довелось потом встретить командира комендантского взвода той дивизии, где был Сергей Стогов. Он командовал нарядом бойцов при расстреле Сергея.

– Я виноват, товарищи, но только я прошу партию и правительство спасти Ксюшу.

Это были последние слова Сергея Стогова.

Был ли он виноват?

Последнего этапа финской кампании я не видел. Мотоциклист, везший меня в одну из дивизий, не заметил предупреждающего сигнала, и мы вкатили в пределы видимости финской батареи. Снаряд разорвался вблизи от нас. Мотоциклисту раздробило осколком ногу, а я отделался контузией. К тому времени, когда в военном госпитале в Москве меня избавили от болезненного подергивания головой и непрерывной тошноты, финская кампания была закончена.

Сорошинельный поток устремился назад, растекаясь по стране и разнося славу о маленьком, но героическом финском народе, который имел силу и мужество противостоять лавине наших полков, дивизий, корпусов и армий.

Издания АИРО в 2017 г.

- Б.В. Соколов.* Цена войны. Людские потери России/СССР в XX–XXI вв. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 576 с.
- А.М. Рыбаков.* Искусство принятия экономических решений. Доклады, статьи и интервью / Сост. и ред. Г.А. Бордюгов. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 424 с.
- Образовательная деятельность и историко-культурное наследие Отчего края. Коллективная монография / Под ред. Е.П. Белозерцева. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 352 с.
- Е. Н. Шталь.* Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835–2015. – М.: «АИРО-XXI». 2017. – 1056 с.
- Е.А. Котеленец.* Битва за Ленина. Новейшие исследования и дискуссии. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 256 с. – (АИРО – Монография»).
- Международный форум «Примаковские чтения». Сборник материалов. 2016. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 176 с. + 12 с. илл.
- Грузия в пути. Тени сталинизма. Составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч, Даниель Мюллер. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 512 с.
- Вожаки и лидеры Смуты. 1918–1922 гг. Биографические материалы / Под ред. А. В. Посадского. – М.: АИРО–XXI. 2017. – 584 с.
- Октябрьской революции – 100 лет. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI. 2017. – 304 с.
- Чой Чжун-Хюн.* Проповедь как жанр литературы Древней Руси. – М.: АИРО-XXI, 2017. – 320 с.

С этими и другими изданиями
вы можете подробнее ознакомиться и приобрести их на нашем сайте
www.airo-xxi.ru

Михаил СОЛОВЬЕВ

КОГДА БОГИ МОЛЧАТ

МАЛАЯ ВОЙНА

(Записки советского военного корреспондента)

Дизайн обложки – Валерий Руденко

ISBN 591022378-X



Научно-исследовательский центр АИРО-XXI
тел. +7 (917) 547-84-24
E-mail: andmak@airo-xxi.ru
Заказ книг: <http://www.airo-xxi.ru/lavka>
www.airo-xxi.ru

Подписано в печать с оригинал-макета 24.02.2014
Формат 60×84/16. Усл. изд. л. 21,0
Тираж 1000 экз. Зак.